

Владимир Зазубрин
ДВА МИРА





НОВОСИБИРСК
1988


ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА В СИБИРИ

Владимир Зазубрин

ДВА МИРА

Роман

НОВОСИБИРСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1988

ББК 84 Р7
З 16

Текст печатается по изданию:
В. Зазубрин. Два мира.
Иркутск: Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1980 г.

Зазубрин В. Я.
З 16 Два мира. — Роман. — Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1988. — 336 с., 4 ил.

В. Я. Зазубрин по праву считается автором первого советского романа. Его книга «Два мира», в которой рассказывается о борьбе трудящихся Сибири с кровавой диктатурой Колчака, получила высокую оценку В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького.

З $\frac{4702010200-013}{М143(03)-88}$ 23—88 ББК 84Р7

ПРЕДИСЛОВИЕ
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Книга эта написана в 1921 году.

В то время я был армейским политработником (редактировал ежедневную газету пуарма 5 — «Красный стрелок»). Начиная работать над книгой и работая над ней, я ставил себе определенные задачи — дать красноармейской массе просто и понятно написанную вещь о борьбе двух миров и использовать агитационную мощь художественного слова.

Политработник и художник не всегда были в ладу. Часто политработник брал верх — художественная сторона работы от этого страдала.

Профессия и должность ко многому обязывали и отнимали много времени. Книга вышла до известной степени сырой...

Я решил переработать ее. Прошло два года — книга не закончена, не вполне переделана. Не было времени.

Не знаю, когда смогу обработать книгу, но рассчитываю, что и, несколько сырая, она все же сможет дать уральским рабочим некоторое представление о колчаковщине в Сибири, и согласился на издание ее в прежнем виде в издании «Уралкниги».

В. Зазубрин.

19 декабря 1923 г.
Новониколаевск.

ПРЕДИСЛОВИЕ
К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Нельзя исправлять записей, сделанных по свежей памяти и по рассказам очевидцев в то время, когда автор и все его добровольные «корреспонденты» буквально еще не успели износить ботинок, в которых они месили липкую и теплую грязь полей сражения.

Я не исправляю свою книгу, не искажаю текста первых записей, отдаю ее читателю в том виде, как она была издана в 1921 году (мелких поправок — исключение «пролога», замена французского, английского и немецкого текста русским и т. п. — я не считаю).

Для меня теперь эта книга — только материал, только ступень к новым работам. Может быть, переделывая, я испорчу книгу, может быть, у меня никогда не будет времени для такой работы...

В. Зазубрин.

13 февраля 1928 г.
Новосибирск.

ДВА МИРА

Рабоче-крестьянской Красной 5-й Армии;
Ее 27-й, 26-й, 5-й, 35-й и 51-й дивизиям;
Ее бойцам — питерским, московским, тверским, брянским, смоленским, поволжским, уральским, сибирским рабочим, курганским, кустанайским крестьянам, тасеевским, минусинским, алтайским партизанам;
Ее вождям, командирам, комиссарам, политическим и культурным работникам;
Ее мозгу — штабу;
Ее душе — Революционному военному совету с Политическим отделом;
Ее совести — Военно-революционному трибуналу;
Ее оку недремлющему — Особому отделу;
Ее героям, тлеющим в могилах от берегов Волги до скал Байкала на всем необъятном пространстве Поволжья, Урала, Сибири и Монголии, на равнинах Польши и в жарких степях Крыма.
5-й Армии, огненными письменами начертавшей свое имя на страницах истории революции, —
ПОСВЯЩАЮ

1. КОГОТЬ

Земля вздрагивала.

Тела орудий, круто задрав кверху дула, коротко и быстро метали желтые, сверкающие снопы огня. Тайга с шумящим треском и грохотом широко разносила гул выстрелов, долго, визгливо и раскатисто звенела стальным воем снарядов, лопавшихся далеко на улицах, на земле и над крышами Широкого.

Прислуга на батарее, молодые краснощекие, скуластые солдаты, работали с будничио спокойными лицами, изредка равнодушно ругались, перебрасываясь грубой шуткой. Противник был не страшен: он не имел артиллерии. Сидевший на наблюдательном пункте поручик Громов в бинокль, не отрываясь, следил за селом и часто кричал в трубку телефона короткие, холодные слова команды. Ветра не было. Сухой, горячий воздух висел над тайгой, напитываясь запахом душистой смолы,

игольчатой зелени и пороховым дымом. На дереве сидеть было неудобно и жарко. Ноги у офицера затекли, руки устали держать тяжелый бинокль. Толстые губы, с подстриженными черными усами, засохли и потрескались. Фуражка надвинулась на самый лоб, из-под козырька текли теплые, липкие струйки пота, грязными каплями висли на сухом, горбатом носу, на гладко выбритом четырехугольном подбородке, капали на зеленый френч.

Мертвые стеклянные глаза бинокля, поблескивая, сверлили зеленую даль большой таежной поляны, на которой скучилось Широкое, бегали по улицам села, щупали густую цепь противника, лежащую у поскотины.

— Прицел!.. Трубка!..

Толстые губы дергались, и по тонкому стальному нерву телефона бежали отрывистые фразы, слова, цифры, полные скрытого смысла.

— Прицел!.. Трубка!.. — повторял телефонист на батарее.

— Прицел!.. Трубка!..— кричали бегающие у орудий солдаты в грязных гимнастерках, с расстегнутыми воротами и красными погонами на плечах.

— Готово!

— Первое!.. Второе!.. Третье!..

Орудия судорожно подпрыгивали, давясь, с болью, оглушающе харкали и плевались длинными кусками огня и раскаленными, воющими сгустками стали. Верхушки деревьев гнулись, как от ветра.

— Прицел!.. Трубка!.. — кричала натянутая жила телефона.

Спокойно поблескивал черный бинокль. Послушно, с точностью заведенного механизма, солдаты щелкали замками, совали в орудия снаряды, стреляли.

На опушке тайги стоял сухой треск ломающегося валежника. Серо-зеленая цепь белых вела частую стрельбу из винтовок, четко стучала длинными очередями пулеметов. Партизаны, окопавшись у самой поскотины Широкого, молчали. Вооруженные более чем наполовину дробовиками, почти не имея патронов, они берегли каждую пулю, не стреляли, выжидая, пока противник подойдет ближе и можно будет бить его, беря на мушку, без промаха. Пули со свистом сочно впивались в жерди и колья поскотины, зарывались в черные бугорки окопов, тысячами визгливых сверл буравили воздух. Бойцы лежали сосредоточенно, спокойно. Глубокие складки залегли у

каждого между бровей, и глаза, потемнев, резко чернели на напряженных, чуть побледневшнх лицах. Когда в цепи пуля задевала кого-нибудь и слышался стон или крнк, то все молча обертывались в сторону ранеиого и быстрыми, тревожными взглядами следили, как возились с ним саиитары.

Снаряды рвались далеко за цепью, в селе. Белые облачка шрапнели клубнлнсь над Шнрокнм, и тяжелый дождь крупными каплямн картечи с треском иизал дощатые крышн, дырявил заборы, ворота, звенел осколкамн выбитых стекол. На улицах в прыгающнх, крутящихся столбах черной пыли огиенными красиыми лоскутами рвалнсь гранаты. Клочья огня вспыхивали и тухлн спереди и сзадн десятка запоздалых подвод, спешивших к севериому концу села. Поручик Громов ие мог взять верного прнцела. Крестьянскне телеги, тяжело скрипя, медлеино ползлн между домов, трещавших от взрывов. На возах в беспорядке, иаспех высоко были навалены сундукн, самовары, цветные половнки, подушки; иа самом верху металнсь н громко плакали ребятнишки, охали, крестились, всхлипывали женщиины.

Гранаты давалн нлн перелет, нлн недолет. Шрапнель рвалась слишком высоко, и ее пули, ослабев, сыпались иа обоз, иикому не причиияя вреда. Круглый кусок горячего свинца упал на белеиькую головку семилетнего Васн Жаркова. Мальчнк вскрнкиул, испугаиные большие черные глаза, шнроко раскрывшись, остановились. На полные розовые щечкн брызнули искрящиеся капли слез.

— Мамка, больиа! Ай-яй! — Вася заплакал, схватился за голову.

Полная женщнна в белом платке, с вытянувшимся землисто-серым лицом прнжала к себе дрожащего сына.

— Матушка-владычнца, богороднца пресвятая, спаси и помилуй нас, — громко, навзрыд причнтала мать.

Старнки с трясущнмнся коленями шнроко шагали возле возов, дергались помииутно всем телом в сторону от рвущнхся сиарядов, подгоняли храпевших и бнвшнхся лошадей.

Поручик Громов стал иервничать. Его бесило, что семьи партизан безнаказаино уходнли из села. Офицер менял прицел, промахивался, раздраженно ерзал на сучке, ругался.

Граиата с воем лопнула в самой середине обоза. Задние колеса телеги Жарковых прыгнули вверх. Мать и

сын, молча, не вскрикнув, свалились, обнявшись, на дорогу. Рядом тяжело рухнула большая туша лошади с оторванной головой. Пыль вокруг убитых сразу стала красной.

Черный бинокль радостно дернулся в руках Громова и, блеснув на солнце, остановился, стал ощупывать теплую кучу костей и мяса. Офицер с легким волнением весело уронил в трубку:

— Хорошо! Два патрона! Беглый огонь!

— Бах-бах! Бах-бах! Бах-бах! Бах-бах! — быстро бросила батарея восемь снарядов. Разбитые телеги сгрудились в кучу; лошади, издыхая, дергали ногами; с вырванными животами, оторванными ногами и руками, с разбитыми черепами валялись люди. Кто-то стонал. Мертвые руки Жарковой сжимали маленькую головку Васи. Русые, пушистые волосы ребенка слиплись, стали красными. Головки убитых детей среди груды разломанных телег, дохлых лошадей, мертвых и раненых людей пестрили нежными цветками голубеньких, черных, синих глазенок, сверкающих еще не высохшими слезами.

Красное пятно росло, расползалось по дороге.

Батарея перенесла огонь. На улицах стало тихо. Дома молча смотрели черными слепыми дырами выбитых окон. Едва приметный, легкий парок струнлся над убитыми. Крестьяне сидели с семьями в подпольях.

Снаряды стали рваться над поскотиной. Белая цепь, усиленно треща винтовками и пулеметами, поползла вперед. Партизаны молчали. Лохматая голова с вьющимися черными волосами, в фуражке набок поднялась над окопчиком.

— Товарищи, без моей команды не стрелять! — отчетливо и резко прозвенел голос отца Васи Жаркова.

Энергичный, изогнутый подбородок командира повернулся вправо и влево, глаза быстро и внимательно скользнули по цепи. Партизаны, слегка повертываясь на бок, передавали приказание вождя.

— Передача! Без команды не стрелять! Без команды не стрелять!

Пестрая цепь повозилась немного, стрелки осмотрели затворы у винтовок и бердан, курки у шомполок и централок и опять затаились.

Белые, не встречая сопротивления, продвигались быстро. Офицеры стояли в цепи во весь рост, громко командовали. Батарея перестала стрелять, боясь задеть

своих. Не дойдя до противника шагов полтораста, белые поднялись, бросились в атаку.

— Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а! — громче всех ревел высокий, худой командир батальона и, подымая в руке большой черный кольт, бежал впереди цепи. Жарков встал, метнул быстрый взгляд на клочок луга, отделявший партизан от белых, коротко бросил:

— С колена! Крой!

Зеленые гимнастерки, черные, синие, белые рубахи, серые деревенские самотканые кафтаны, шляпы, фуражки, шапки поднялись с земли. Четко щелкнули затворы, мягко хрустнули курки.

— Тр-р-р-а-а-а-х! Ба-ба-ба-а-а-х! Р-р-р-а-х! — разноголосо и гулко хлестнул залп.

Длинноногий командир батальона уронил кольт, согнулся дугой, упал лицом в траву и завизжал. Целый заряд ржавых гвоздей и толченого чугуна угодил ему в живот. В белой цепи, сомкнувшейся почти вплотную, зазияли огромные дыры. Неподвижная, твердая, как камень, темная линия красных ударила снова из сотен ружей. Едкий, рвущий визг свинца и железа стегнул еще раз атакующих. Редкие, расстроенные кучки белых повернули назад, побежали к тайге. На лугу стонали раненые, громко визжал и катался по траве командир батальона с разорванным животом.

— Ложись,— удержал Жарков свою цепь, порывавшуюся преследовать отступавших.

Белые снова пустили артиллерию, под ее прикрытием стали спешно подтягивать резервы.

Красные лежали спокойно, отдыхая от напряженных минут атаки. Белые оправились и привели в порядок свои части только к вечеру, но боя не завязывали. Командир карательного отряда, полковник Орлов, решил наступать на Широкое ночью. Как только стемнело, Жарков, сняв с позиции своих стрелков, повел их в село. На улицах было безлюдно и тихо. Раненых подобрали. Только темная куча убитых лежала на месте. Около пахло горелыми тряпками, порохом и кровью. Жарков еще в цепи узнал о смерти жены и ребенка. Усилием воли он удержал самообладание и теперь, торопясь, обходил, не останавливаясь, разбитый обоз. Минуты были дороги. Белые могли окружить. Беззвучно ступая в мягких броднях, угрюмо опустив головы, молча оставляли партизаны Широкое.

Около двенадцати часов ночи белые сразу открыли по всей линии пулеметный и ружейный огонь. Ответа не было. Наученные днем, красильниковцы двигались вперед медленно, осторожно. В атаку поднялись и пошли нерешительно, шагом, часто стреляя на ходу. Огненная петля с двух сторон охватила молчавшее село.

Крикнули «ура» и побежали уже у самой поскотины. Шумно топая, паля из винтовок, с ревом ворвались в тихие улицы. Задыхаясь, наткнулись на остаток обоза, спугнули мертвый покой убитых, кучей затоптались на месте. Луна осветила два ряда домов с темными дырами окон. Из обломков, валяющихся среди дороги, смотрели на победителей опухшие, перекошенные смертью, почерневшие лица женщин, стариков и маленькие личики детских трупиков, подернувшиеся пылью. Старик Федотов, выставив вперед острый клин седой бороды, широко оскалив зубы, колол толпу тусклым взглядом мертвых глаз.

Толстый полупьяный поручик Нагибин брезгливо морщился и, широко растопырив ноги, разглядывал убитых. Заметил детей, жену и сына Жаркова.

— Со щенятами, значит. Всех угробили. Правильно, поручик Громов. О-д-о-б-р-я-ю.

Офицер повернулся к толпившимся сзади солдатам.

— Стана-а-вись!

— Становись! Стройся! Третий эскадрон! Первая рота! — кричали по селу офицеры.

Нагибин стал выстраивать свою роту. Отряд собирался в одно место.

Полковник Орлов с эскадроном гусар в конном строю и батареей въехал в Широкое. На главной улице стояли стройные шеренги солдат. Лиц в тени нельзя было разобрать. Концы штыков маленькими звездочками поблескивали на луне, искрящейся цепочкой связывали темные колонны отряда.

Капитан Глыбин поскакал навстречу Орлову, прижимая руку к козырьку.

— Смирна-а! Гаспада офицеры!

Орлов круто осадил свою белую кобылу, тонкие ноги ее дрогнули, жирный круп подался назад.

— Здорово, молодцы!

— Здрай желай, гсдин полковник!

— Поздравляю вас с победой! Спасибо за службу!

— Рады стараться, гсдин полковник!

Дружный ответ красильниковцев прокатился по селу. В дальнем конце улицы эхо дважды повторило: «Рады! Рады!» — и все затихло.

Белые блестящие погоны полковника и кривая казачья шашка, вся в серебре, отливали голубоватым светом. Высокая кобыла неспокойно перебирала тонкими ногами, фыркала нежными, розовыми ноздрями, поводила ушами, косила глаза на кучу убитых. Орлов, слегка пригибаясь к луке, щекотал шпорой бок лошади, заставляя ее подойти ближе, наступить на труп.

— Дура, испугалась. Вот так боевой конь,— улыбаясь, обертывался полковник к адъютанту.

Мертвецы молчали. Жаркова лежала ничком, лица ее не было видно. Вася спрятал свою голову у нее на груди. Старуха Николаевна перегнулась через сундук, черные щеки ее и открытый рот резко выделялись на белой подушке. Окровавленная, разбитая голова Прасковьи Долгушиной тяжело давила живот трехлетнего Пети Комарова, лежавшего с широко раскинутыми ручонками около большого самовара. Из-под опрокинутой телеги торчали желтые, босые ноги Степаниды Харитоновой, на ее груди, придавленный острым углом ящика, застыл шестимесячный ребенок.

Темное облако закрыло луну. Блестящая цепочка штыков, погоны полковника и его шашка потухли. Черная лопата бороды Орлова поднялась кверху. Офицер несколько секунд смотрел на небо.

— До рассвета еще часа два,— вслух подумал он и, нагнувшись с седла к солдатам, крикнул:

— Господа, до утра село в нашем распоряжении. К восходу солнца чтобы здесь не осталось ни одного большевика!

Темные колонны зашевелились, колыхаясь, стали пропадать в темноте.

Орлов со штабом отряда расположился в доме священника. Толстая попадья, с простоватым широким лицом, гладко причесанная, в длинном сером платье, накрывала на стол. Денщик полковника из походного сундука вынимал бутылки с водкой и коньяком. Орлов со скучающим лицом, позевывая, слушал своего помощника капитана Глыбина. Глыбин говорил что-то о сторожевом охранении, о большевиках, об убитых и раненых солдатах. Полковник едва схватывал обрывки фраз, концы мыслей. Сегодня он весь день провел на жаре, в седле,

основательно устал. Его взгляд, тяжелый, подернутый налетом безразличия, следил за пухлыми руками попадьи, ловко расставлявшей на чистой скатерти тарелки с солеными грибами, огурцами, с ворохами белоснежного хлеба, сдобных шанег, сметаны. Орлов взял большой, холодный, сочный груздь, помял его немного во рту и жадно проглотил. Налил чарку водки, выпил и опять потянулся к грибам.

— Пейте, капитан!

Глыбин оборвал деловой разговор, басом кашлянул в кулак, пододвинул к себе рюмку. Черное, давно не бритое лицо капитана с жирными, трясущимися щеками расплылось в довольную улыбку. Глаза растянулись узкими щелочками. Жесткие усы оттопырились.

На улицах кучками бродили солдаты. Кованные железом приклады винтовок с треском стучали в двери темных, молчаливых домов. Высокий, рыжий фельдфебель из роты Нагибина со своим шурином, маленьким, кривоногим унтер-офицером, и двумя солдатами ломился в ворота Николая Чубукова.

— Отпирай, сволочь! Перестреляю всех. Язви вас в душу.

Ворота под напором четырех мужиков трещали, скрипели. Хозяин дома выскочил на двор.

— Погодите маленько, братцы, я мигом открою,— голос Чубукова от страха дрожал и обрывался.

— Какие мы тебе, большевику-собаке, братцы,— орал фельдфебель.

— А я знаю рази, кто ж вы? — оправдывался хозяин, распахивая ворота.

— Вот знай теперь, кто мы!

Круглый, тяжелый кулак унтер-офицера стукнул в подбородок старика. Чубуков щелкнул зубами и замолчал. Фельдфебель, широко распахивая дверь, первый вломился в избу.

— Большевики есть? — стукнула о пол винтовка.

Посуда зазвенела на полке. Проснулся и заплакал ребенок. Молодая женщина, бледнея, затрясла люльку, хотела запеть, но голос у нее осекся, язык тяжело завяз во рту. Старуха, жена Чубукова, вышла из-за печки.

— Господь с вами, ребятушки, какие у нас большевики.

— А это кто? Чья жена? Партизанка?

— Что вы, господа, какая там партизанка. Дочь она

моя, а зять здесь же дома, никакой он не партизан, не большевик,— робко говорила сзади Чубукова.

Мужик с черной бородой, в потертой гимнастерке без погон слез с полатей.

— Я, господа, не большевик, я солдат-фронтовик, георгиевский кавалер, ефлейтур.

— Ага! Ну, а жена-то у тебя все-таки большевичка!

Фельдфебель нагло засмеялся, оскалив ряд кривых черных зубов. Зять Чубукова попробовал было ухмыльнуться, но у него только скривились губы, лицо побледнело, на глазах навернулись слезы. Фельдфебель шагнул к женщине, оторвал ее руку от люльки и потянул к себе. Женщина взвизгнула, заплакала, стала вырываться.

— Не дело задумали, господин,— загородил дорогу чернобородый.

— Дело не дело, не твое дело,— крикнул унтер и больно ткнул в лицо ефрейтору дулом нагана.

Фельдфебель тащил рыдавшую женщину в сени. Ребенок звонко плакал.

— Господи, что же это такое? Матушка пресвятая заступница.

Старушка упала на колени, с отчаянием стала креститься на передний угол, кланяться низко до полу. Чубуков тяжело сел на постель. Серые, большие глаза старика были полны тоски и отчаяния. В сенях на полу слышался глухой шум возни.

— Вася, помоги! Ой, не могу я! Вася, не дай опозорить!

Фельдфебель злобно ругался и затыкал разорванной кофтой рот женщины. Чернобородый метнулся к выходу. Унтер-офицер развернулся и сильно стукнул его револьвером по щеке. Мужик со стоном упал на пол. Дуло нагана воткнулось ему в рот.

— Только пошевельнись, сокрушу!

— Толкачев, иди-ка подержи ее, не дается, сука,— позвал рыжий из сеней.

Молодой солдат с тупым, равнодушным лицом, громыхнув винтовкой, вышел за дверь. Чернобородый рычал и громко всхлипывал, катаясь по полу. Старуха молилась. Ребенок взвизгивал охрипшим голосом.

Несколько солдат ворвались в школу. Молоденькая учительница с белокурой головой и большими голубыми глазами встретила краснльниковцев на пороге.

— Что вам нужно, господа?

Глаза девушки смотрели с недоумением и страхом. Восемнадцатилетний доброволец Костя Жестиков, быстро схватив учительницу за руки, громко поцеловал. Солдаты захохотали. Жестиков нагнулся немного и, быстрым движением разрывая юбку девушки, повалил ее на пол.

— Стой! Что здесь такое?

В школу забежал поручик Нагибин. Доброволец бросил учительницу, вскочил с пола. Поручик увидел на секунду белое нагое тело девушки, разорванное платье, огромные, полные ужаса глаза.

— Вон отсюда! — Офицер затопал ногами.

Солдаты неохотно повернулись к двери, стали выходить. Учительница с трудом поднялась и, пошатываясь, пошла в другую комнату. Перед глазами офицера снова манящей белизной блеснуло нагое женское белое тело.

— Подождите, куда же вы?

Учительница ускорила шаги, почти побежала. Сильное, дурманящее, хмельное желание наполнило мозг Нагибина. Он быстро догнал девушку и, не слыша ее отчаянного крика, жадно схватил за талию. Теплота обнаженной кожи пахнула в лицо поручику.

Гибкое, как ветка, тело забилось в крепких руках мужчины.

Солдаты в соседней комнате разломали прикладами и штыками сундучок с вещами учительницы. Костя Жестиков, топча сапогами подушку в чистой наволочке и белое одеяло, сброшенное с постели, шарил руками под матрацем.

— Нет ли у нее оружия, у стервы, — ворчал доброволец.

Солдаты, разломав сундук, смеясь выбрасывали на пол женское белье.

— Ишь, Нагибин-то наш, хорош гусь, нечего сказать. Нам не дал, а сам взялся, брат.

— Ни черта, ребята, останется и нам, — утешал Костя, сбрасывая с этажерки книги.

По улице свистели пули, хлопали выстрелы. Солдаты по малейшему подозрению стреляли в первого встречного. В домах плакали женщины, трещали разламываемые сундуки, скрипели засовы амбаров и кладовок.

Победители расправлялись.

К Орлову через каждые десять-пятнадцать минут

приводили арестованных, заподозренных в большевизме. Полковник сильно охмелел. Разбираться долго ему не хотелось. После двух-трех вопросов он свирепо таращил пьяные глаза, рычал:

— Большевики, мерзавцы! Отправить их в Москву!

Арестованных выводили на двор и, быстро раздевая, рубили шашками. С одной из последних партий привели женщин. Попадья, плакавшая в углу, подошла к Орлову.

— Господин полковник, это не большевички, я знаю.

— Молчать! Я лучше знаю, кто они. Мои молодцы зря не арестуют. Может быть, ты сама большевичка? А? Я почем знаю?

Попадья испуганно попятилась и вышла в другую комнату. Полковник посмотрел на плачущих женщин, махнул рукой.

— В Москву!

На дворе, пока их зарубали, они боролись, визжали, кусали гусарам руки. Полковник и Глыбин пили коньяк. Четырехугольники окон стали светлеть. Кончая последнюю бутылку, Орлов крикнул вестового.

— Шарафутдин, позови мне начальника комендантской команды.

Прапорщик Скрылев явился быстро и, вытянувшись, остановился в дверях. Произведен он был недавно, с новым положением своим еще не освоился, перед полковником трепетал больше, чем всякий рядовой.

— Скрылев, кажется, рассвет близко?

— Так точно, господин полковник, уже светает.

— Гм-м! Зажигайте село.

Полковник сказал это спокойно, как будто дело шло о кучке старого хлама, а не о богатом Широком, о том самом Широком, в котором были две начальные школы, одна высшая начальная, библиотека в десять тысяч томов, народный дом и лесопилка. Попадья упала в ноги офицеру:

— Господин полковник, не разоряйте нас, не губите.

Щеки попадьи тряслись, она ловила грязные сапоги Орлова и целовала их. Лампадка перед иконой Христа потухла и зачадила. Полковник встал. В комнате было почти совсем светло.

— Шарафутдин, коня!

Капитан Глыбин, адъютант, корнет Полозов и еще несколько офицеров, пивших с полковником, звеня шпо-

рами, пошли к выходу. Садясь на лошадь, Орлов приказал адъютанту:

— Корнет, передайте Скрылеву, чтобы тушить не давал. Всех, кто будет мешать поджогу или спасать свое имущество, расстреливать на месте.

Учительница очнулась. Лежала она на полу совершенно голая. Рядом валялись лохмотья ее разорванного платья, окурки. Пол был истоптан десятками ног, заплеван зеленой, зловонной слюной. Небольшой квадратный листок бумаги с портретом какого-то офицера привлек ее внимание. Девушка приподнялась на локте и, не отдавая себе отчета, не приходя вполне в сознание, стала читать текст, помещенный под литографией.

К НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ

18-го ноября 1918 года Временное правительство распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал ее мне — адмиралу русского флота Александру Колчаку.

Тело учительницы было все в синяках, кровоподтеках. Грудь ломило. Голова еле держалась. Мозг работал слабо. Девушка еще не чувствовала всей глубины ужаса своего положения, не отрываясь, быстро читала, не понимая содержания прочитанного.

Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю:

Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру.

Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к труду и жертвам.

Верховный правитель адмирал Колчак.

18-го ноября 1918 г.
Г. Омск.

Подпись под манифестом была слитографирована с оригинала. Девушка задрожала, увидев хищный росчерк начальной буквы фамилии диктатора. Верхний крючок острым концом загибался над всей строчкой, и на конце его брызги чернил были похожи на почерневшие, засохшие капельки крови. Черный коготь стал расти, краснеть, кровь потекла с него ручейками. С листка бумаги

он забрался в голову девушки, вонзился в мозг, раздирающей, острой болью наполнил оскорбленное тело. Учительница захохотала, вскочила на ноги. Коготь проколол ей череп, проткнул потолок, крышу школы, остроконечной дугой седого дыма загнулся над селом. Школа начинала загораться. Девушка ничего не видела. Острый, кровавый коготь проколол ее насквозь, едкой болью рвал грудь, живот и голову. Комната стала наполняться дымом. Учительница с хохотом и воем бегала из угла в угол, сбрасывала с полок библиотеки книги, махала руками. Коготь выколол ей глаза. Слепая, она упала на груду книг, корчась от жару, хватала и рвала толстые тома Толстого. Село было все в огне. Огромный столб черного дыма ветер гнул в сторону, и он похож был на хищный коготь — росчерк начальной буквы страшной фамилии.

2. МЫ ОФИЦЕРЫ

В притоне китайской, японской, еврейской и русской спекуляции, в городе, где кровавый диктатор Сибири изготовлял свои деньги, где процветали два питомника и рассадника контрреволюции — два военных училища, — сегодня было особенно весело. Сегодня колчаковцы ликовали. Сегодня состоялся выпуск из обоих военных училищ. Более полутысячи юнкеров было произведено в офицеры. Большинство произведенных были старые юнкера, сбежавшиеся к гостеприимному и хлебосольному адмиралу со всех концов России. Тут были гордые павлоны, «тоные», спесивые тверцы и елисаветградцы, «шморгонцы», владимирцы, лихие рубаки — юнкера царской сотни — и славные сподвижники атамана Семенова. Были среди выпущенных и невоенные, шпаки, шляпы, шпаки, гробы, как называли их кадеты, считавшие себя военными с пеленок. Шпаки были большей частью из студентов-белоподкладочников. Почти все они — военные по призванию, военные со дня рождения и военные случайные — одни открыто и смело, другие молча, в мечтах стремились к одним идеалам, верили в старых, несокрушимых китов черносотенного миросозерцания — в православие, самодержавие и русскую народность. Людей, настроенных оппозиционно к существовавшему в Сибири порядку, среди юнкеров почти не было. Надеж-

ные бойцы влились в армию. Было чему радоваться контрреволюционерам.

Город ожил.

Улицы, кабачки, рестораны, кафе и бульвар на берегу Ангары в этот день пестрнли группами нарядных офицеров. Синие, красные, черные, с лампасами, с кантами галифе и бриджи, английские френчи, тонкие шевровые сапожки на высоких каблучках, большие белые кокарды, лихо примятые фуражки, звон шпор, бряцание оружия, золото новеньких погон. Золото, золото, блеск без конца. Шутки, смех. Медовые месяцы конгрреволюции.

Компаиия вновь произведенных расположилась в небольшом ресторане на бульваре. Миниатюрные рюмочкн были полны тягучего, сладкого и крепкого бенедиктина. В чашках дымился черный кофе. Настроение у всех было приподнятое. Безусый подпоручик Петин бнл себя в грудь кулаком и тонкнм срывающимся голосом кричал:

— Я офицер! Я офицер! Ха-ха-ха!

Потягивая маленькими глотками кофе, пожилой студент Колпаков рассуждал:

— Да, подпоручик,— это хорошо. Две звездочки. Не капитан с гвоздем, прапоришка несчастный. Подпоручик — настоящий офицер.

Все смеялись, громко разговаривали, стараясь перебить друг друга. Каждому хотелось высказаться, поделиться чувством какой-то особенной радости, так знакомой людям, только что выдержавшим долгий и трудный экзамен. Никто не отдавал себе отчета в том, что через несколько дней или недель все они могут очутиться на фронте, стать лицом к лицу со смертью. Фронт был далеко, о нем мало думалн. Все былн пьяны сознанием своей самостоятельности н независимости.

Прежде чем стать офицерами, десять месяцев провели юнкера в стенах училища. Десять месяцев пробыли они в тисках страшной, железной дисциплины. Юнкер был тем козлом отпущения, на котором многие офицеры срывали свою злость, вознаграждали себя за все неприятности, какие им приходилось получать в солдатской среде. Солдаты держали себя довольно свободно: перед офицерами не дрожали и не тянулись так, как при старом режиме. Офицерам хотелось видеть армию во всем блеске прежней царской палочной дисциплины, и что им не удавалось ввести в ротах, батальонах, то они с осо-

бым рвением насаждали в стенах военных училищ. Что невозможно требовать с солдата, то легко взыскать с юнкера. Юнкер должен быть образцом исполнительности, аккуратности, дисциплинированности. Юнкер — это идеальный солдат-автомат. Юнкер — это будущий офицер. Придирка и капризы офицеров, «цуканье» начальства из юнкеров — все должен был вынести на своих плечах питомец военного училища.

Десять месяцев учебы, муштры и цука. Для многих они не прошли даром, многие совершенно обезличились, стали блестящими, шлифованными, послушными винтиками жесткого механизма армии.

Подпоручик Мотовилов хлопал по плечу Петина и смеялся раскатисто-громко, сверкая крепкими здоровыми, белыми зубами.

— Андрюшка, ты подумай только, мы офицеры! Ха-ха-ха! Мы офицеры! Раньше были разные господа фельдфебели, полковники Ивановы, перед которыми нужно было тянуться, а теперь — к черту всех! Сами с усами!

Петин обнял Мотовилова за талию.

Нам и дня ведь не осталось
Производства ожидать.
С высоты аэроплана
На все теперь нам начихать.

Оба смеялись, смеялись долго, до слез, как школьники. Вспомнили своего ротного командира, полковника Иванова, прозванного Нудой за его нудный характер, за нудную бестолковую муштровку, которой он изводил юнкеров, за его привычку всегда говорить: «Ну да, ну да, таким образом».

— Андрюшка, помнишь, как Нуда мою лошадь заставлял пешком ходить? Ха-ха-ха!

Петин улыбнулся.

— Чего ты мелешь, Борис? Как это лошадь пешком?

— Не мелю, а факт, это было. Не помню, чего-то сделал я на маневрах. Нуда решил наказать меня. Подлетает он ко мне и орет: «Ну да, ну да, Мотовилов, таким образом, вы пойдете пешком». Помнишь, он спешивал юнкеров в наказание? Я говорю: «А как же, мол, лошадь, господин полковник? Кому ее сдать?! А он, балда, подумал и говорит: «А-а-а, таким образом, вы пешком и лошадь ваша пешком».

Офицеры смеялись. Тягучими, хмельными струйками лился ликер и, смешиваясь с крепким, горячим кофе,

сильно туманил головы. В ресторане стало тесно и скучно.

— Господа офицеры, предлагаю сделать перебежку в направлении на «Летучую мышь»,— поднялся Колпаков.

Загремели шашки, зазвенели шпоры, зашумели отодвигаемые стулья. Мелкими, ровными шажками подбежал лакей и, почтительно вытянувшись, остановился. Петин небрежно бросил на стол несколько тысячных билетов.

— Сдачи не нужно. Возьми себе!

Лакей отвесил глубокий поклон.

Смеркалось уже, когда шумная компания офицеров пришла в шантан. Окна зрительного зала были завешены плотными, темными шторами. Горело электричество. На сцене, кривляясь, визжала шансонетка:

Когда чехи Волгу брали,
Вспомни, что было.
Комиссары удирали, —
Наверно, забыла.

Зрители ревели, в пьяном восторге аплодировали. Толстые, короткие, волосатые пальцы в тяжелых золотых кольцах комкали бумажки, небрежно бросали на сцену. Зал был полон. Лысые головы. Красные шеи. Шляпы с широкими полями и яркими перьями. Фуражки с офицерскими кокардами. Золотые, серебряные погоны. Глаза слипшиеся, мутные, с жирным блеском. Обрюзгшие, слюнявые кончики губ. Спирт. Пудра. Табак. Пот. Офицеры разместились за одним из свободных столиков. Потребовали вина. К столу подошла цыганка-хористка с лукавыми глазами.

— Офицерики, молоденькие, золотенькие, угостите шоколадом.

Черный кавказец Рагимов взял хористку за руки, усадил рядом с собой на стул.

— Садысь, садысь, дюща мой. Каифэт будэт. Ходы на мой квартыр, все будэт.

— Нет, нет, на квартиру нельзя!

Цыганка затрясла кудрями. Подошла старуха, мать хористки.

— Подпоручики, сахарные, медовые, золотые, положите рублик серебряный на ручку, всю правду скажу, всем поворожу.

Петин порылся в портмоне, отыскал серебряный полтииник, бросил его цыганке.

— Голубчик ясный, офицерик молодеиький, добреиький, счастливый ты. Второй раз уж надеваешь золотые погоиы.

— Верно, я старый юнкер. При Керенском носил погоиы, большевики сияли, теперь опять надел.

— Второй раз одел, второй раз и снимешь!

Петин побледиел. Злая усмешка мелькнула в глазах цыгаики.

— То есть как сииму?

— А так и сиимешь. Попадешь к красным в плен, снимешь, солдатом назовешься. Потом убежишь от них. Чего испугался? Говорю, счастливый ты.

Подпоручик успокоился, дал цыгаике розовую бумажку. Офицеры пили. Мотовилов глядел на хористку маслеиыми глазами, напевал вполголоса, покачиваясь на стуле:

По обычаю петроградскому
И московскому
Мы не можем жнть без шампанского
И без табора без цыганского.

Молодая цыгаика пила коиьяк, громко щелкала языком, щурила глаза, закусывая лимоном. К офицерскому столу иачали подсаживаться иакрашениые дамы, бесцеремоино требовать фрукты, вино, коифеты. Подпоручики прииимали всех. Шансонетка визжала:

Костюм английскнй,
Погон россннскнй,
Табак японскнй,
Правнтель омский.

Пьяными голосами, вразброд весь зал орал:

Ах, шарабан мой,
Шарабан.
А я мальчншка —
Шарлатан.

Спекулянт-китаец кричал иа картавом, ломаиом языке:

— Это халасо! Халоса песиь! Англий костюма, япоиска лузья, наса тавала. Шипка халасо! Луска капитаиа одна иеможна большевик ломайла. Все помогайла большевик ломайла.

Недалеко от офицеров, в полутемиом углу, за малеиьким столиком пили ликер худой, желчный штабс-капи-

тан из контрразведки и тучный спекулянт. Штабс-капитан был раздражен. Его сухие, тонкие губы дергались, кривились под острым носом, глаза вспыхивали нетерпеливыми огоньками.

— Да говорите же вы коротко, толком, что вы имеете мне предложить? Не тяните ради бога!

Спекулянт, не торопясь, спокойно пил вино, излагал свои соображения.

— Я вам говорю, что с сахаром у нас дело не выйдет. Нет расчета. Японцы и семеновцы в этом отношении непобедимые конкуренты. Посудите сами, куда нам тут соваться, когда в каждом японском эшелоне или у любого семеновца цена на сахар ровно в два раза ниже объявленной омским правительством. Вы ведь отлично знаете, что они никакой монополии не признают, торгуют, как заблагорассудится.

— Ну, что же вы предлагаете?

— Я уже говорил вам, что самое удобное это будет сахарин. Вы, капитан, на этом деле заработаете ровно миллион. Поняли? Миллион. Ха-ха-ха!..

Мясистый рот широко раскрылся, глаза потонули в жирных лучистых складочках кожи. Живот трепыхался, как студень.

— Ха-ха-ха! Недурно, господин капитан. Идет! А?

— Ваши условия? В чем выразится мое участие?

— О, очень немного, капитан. Капитан даст нам только маленькую бумажку от своего авторитетного учреждения, и все. Очень немного, капитан.

Табак густыми клубами вис над головами. Тапер барабанил на пианино. В зале стоял гул. Подвыпившие гости шумели. Хлопали пробки. Офицеры пили бутылку за бутылкой. Колпаков встал, поднял бокал.

— Господа, выпьем за нашу победу. Выпьем за разгром Совдепии, за то время, когда на обломках коммунизма, на развалинах комиссародержавия мы воздвигнем царство свободы, законности и порядка. Да здравствует великая единая Россия! Ура!

— Ура! — крикнули Рагимов и Иванов и подняли свои бокалы.

По лицу Мотовилова пробежала тень.

— Не люблю я, Михаил Венедиктович, ваших завиральных идей и всего этого либерального словоблудия. Какое там к черту царство свободы! Кричите царство Романовых, и кончено. Вот это дело, я понимаю.

— Не будем спорить!

Колпаков махнул рукой, стал пить. Рагимов шептался с Петиным, бросая на дам жадные, откровенные взгляды.

— Валяй, валяй, какого черта,— кивал головой Петин.

Рагимов встал, быстро выхватил шашку, рубанул по электрическому проводу. Свет погас. За столом поднялась возня. Дамы визжали притворно испуганными голосами. Скатерть сползла со стола, зазвенела разбитая посуда. Буфетчик волновался за стойкой, нетерпеливо крича кому-то:

— Ах, давайте же скорее свечи! Да где у нас свечи, черт возьми?

По телефону был вызван дежурный офицер из управления коменданта. Подпоручиков переписали, составили протокол. Потом у дверей встали солдаты. Начался повальный обыск, осмотр документов. Тех, у кого не оказывалось удостоверений личности, офицер отводил в сторону и, пошептавшись, отпускал, шурша кредитками. Молодые офицеры из «Летучей мыши» выбрались утром совершенно пьяные. Дорогой шумели, орали песни, останавливали извозчиков, стреляли в воздух. У Колпакова был недурной баритон.

Мне все равно —
Коньяк или сивуха.
К напиткам я уже привык давно.
Мне все равно.

Мальчик Петин пытался поддержать:

Готов напиться и свалиться —
Мне все равно.

Тонкий голос перешел в бас и сорвался.

Мне все равно —
Тесак иль сабля.
Нашивки пусть другим даются,
А подпоручики напьются.

Колпаков, Мотовилов, Рагимов, Иванов пели, идя по середине скверной мостовой, покачиваясь и спотыкаясь в выбоинах.

— А плоховато мы все-таки, господа, обмываем погоны,— оборвал песню Мотовилов.

— Эх, вот старший брат у меня в Павлондии[1] кончал. Вот где они ночку так ночку устроили офицерскую.

— Черт возьми, а у нас ведь и ночи-то офицерской не было,— отозвался Петин.

— Да, все это как-то скоропалительно случилось. Мы ждали производства через два месяца, а тут вдруг телеграмма — в подпоручики, готово дело. Э, какое у нас училище: ни традиций, ни обстановки, казарма, солдафонщина. Ах, Павлондия, Павлондия!

Мотовилов с завистью стал рассказывать, какие офицерские ночи устраивались в Павловском училище.

— Вы знаете, господа, это делается так. Сегодня, скажем, вечером начальство заседает, обсуждается вопрос о производстве в офицеры такого-то выпуска юнкеров. А юнкера, завтрашние подпоручики, в эту же ночь встают и, надев полное офицерское снаряжение на нижнее белье, босиком, под звуки своего оркестра, торжественно, церемониальным маршем обходят училище, дефилируют и по коридору офицерских квартир. Училищные дамы, ничего, любили подсматривать из-за занавесок в щели приоткрытых дверей, любовались на молодцов. Когда обойдут все училище, возвращаются в роты, тут уж начинается потеха. Младшему курсу перпендикуляры восстанавливают — кровати на спинки со спящими ставят. Расправляются со шпаками. Морду кому ваксой начистят, кого в желоб умывальника шарахнут и ошпарят ледяной водой, кого просто поколотят. Тут уж никто не подступайся. Стон стоит. Офицеры гуляют. А в кавалерийском, в Николаевском, так там еще интереснее. В Павлондии фельдфебеля в своих кальсонах маршируют, а там вахмистры в дамских панталончиках, со шпорами на босую ногу.

Мимо проезжали три извозчика. Офицерам надоело идти пешком.

— Стой! — крикнул Петин.

Извозчики хлестнули лошадей, хотели ускакать.

— Пну, пну! — взвизгнули два револьвера.

Извозчики испуганно остановились.

— Сволочи, офицеров не хотят везти.— Тяжело садился в пролетку Мотовилов.

---

[1] В Павловском военном училище в Петрограде. (Здесь и дальше примечания, за исключением особо оговоренных, авторские.— *Ред.*).

— Пошел! Через все иерусалимско-жидовские улицы, иа Петрушинскую гору!

На улицах было уже совсем светло. У казармы N-ского сибирского полка стоял дневальный.

— Остановись! Стой! — закричал Мотовилов.

Извозчики встали. Офицер выскочил из экипажа, подбежал к солдату:

— Ты почему это, сукин сын, честь не отдаешь? А? Не видишь, мерзавец, офицеры едут!

Солдат дернулся всем телом назад, стукнулся от сильного тычка в зубы головой об стеиу.

— Доложи своему взводному командиру, что подпоручик Мотовилов тебе в морду дал. Понял?

— Так точно, понял!

Глаза солдата горели огненной ненавистью, рука у козырька дрожала.

3. МОЛЕБЕН

Красные языки хищного зверя лизали Широкое. Черный дым затянул все улицы. С треском обрушивались постройки. Скот ревел, мычал, метался в пылающих дворах. Разбитые телеги среди села горели ярко, как сухая лучина. Убитые вспухли от жара, дымясь и шипя, корчились. Глаза у Васи Жаркова вылезли из орбит, выпятились сваренными, слепыми белками. Русая головка совсем почернела. От желтых босых ног Степаниды Харитоновой остались черные головни. Борода у Федотова сгорела, лицо стало круглым, как сковорода, щеки лопнули, мертвая кровь кипела в рубцах горелого мяса. Крестьяне огромной толпой со стоном и слезами топтались беспомощно за селом. Женщины и дети громко плакали.

Полковник Орлов со штабом стоял за поскотиной и смотрел на пожар. Спокойно, развалившись в седле, говорил, ни к кому не обращаясь:

— Да, иного пути нет. Верховный правитель прав, говоря, что большевизм нужно выжечь каленым железом, как язву. Адмирал прав, давая нашему атаману полномочия спалить, стереть с лица земли, в случае надобности, всю эту губернию.

Молодой гусар, с погонами вольноопределяющегося

подскакал к Орлову, подал ему небольшой клочок бумаги. Полковник пробежал донесение своего помощника:

> Аллюр... Медвежье. 9 час. 30 минут пополуночи... Доношу, что Медвежье занято нами без боя. По показаниям местных жителей, красных у них нет и не было. Сторожевое охранение мною... Разведка в направлении...
>
> *Капитан Глыбин.*

— Отлично! Господа, новость!

Белая кобыла круто повернулась.

— Медвежье занято нами без боя. Красные удрали.

Лошадь полковника засеменила тонкими ногами, танцуя пошла по дороге на Медвежье. Штаб отряда и эскадрон с трехцветным знаменем двинулись за командиром. Копыта четко били пыльную дорогу. Серые качающиеся столбы взметывались следом, долго клубились в воздухе. Ехавший в последних рядах Костя Жестиков оглянулся назад. Толпа крестьян молча, долгими, тяжелыми взглядами провожала всадников. Полковник нетерпеливо поднял лошадь на галоп. Пыль поднялась выше, целой тучей. Толпа исчезла, только зарево и дым пожара были видны ясно.

Въезжая в Медвежье, Орлов подозвал к себе адъютанта.

— Корнет, немедленно прикажите собрать все село на площадь. Оповестите народ, что сейчас будет отслужен благодарственный молебен по случаю победы над бандами красных.

Полковник со штабом остановился в школе. Штабные офицеры и канцелярия заняли все классы и квартиру учительниц. Учительницы запротестовали, стали просить Орлова не выселять их. Полковник нагло улыбался и возражал, шепелявя, скандируя и кривляясь:

— Ска-ажите пжальста, они не могут спать где-нибудь в коридоре, на полу. В них, видите ли, течет три капли благородной крови. Хе-хе-хе! Хотя, впрочем, я человек добрый, если вам будет жестко...

Полковник сказал сальность.

— Не правда ли, корнет? — обратился он к адъютанту.

Адъютант вытянулся, щелкнул шпорами, почтительно улыбнулся.

— Так точно, господин полковник!

— Разговор кончен, вопрос решен,— обернулся полковник к учительницам.— Вас я выселяю, можете по-

меститься у сторожихи. Школу, определенно, закрываю. Во-первых, потому, что она нужна мне для канцелярии, квартир; во-вторых, я полагаю, что детей разной красной дряни учить грамоте не стоит. Ведь она им годится, когда они подрастут, только для того, чтобы писать прокламации, разводить антиправительственную пропаганду, это неинтересно нам. Итак, я кончил. Вон отсюда!

Учительницы пошли к дверям.

— Виноват, одну минутку,— снова обратился к ним Орлов.— С завтрашнего дня вы готовите мне обед, понятно?

— Нет, не понятно,— ответила невысокая, крепкая Ольга Ивановна.— Обед готовить мы вам не обязаны и не будем!

— Ну, конечно, конечно, разве можно сделать что-нибудь для честного защитника родины? Разве можно сварить обед старому офицеру? Вот какому-нибудь красному негодяю, своему любовнику, вы, пожалуй, бы все сделали, не только обед, но и ужин бы состряпали, а после ужина...

Полковник снова сказал гадость. Ольга Ивановна побледнела.

— Я попрошу «благородного» полковника быть повежливее! — запальчиво бросила она ему.

Полковник расхохотался:

— Корнет, корнет, ха-ха-ха! Слышите? Эта вот учителка, эта мужичка, хамка, ха-ха-ха, учит меня вежливости, меня, дворянина, полковника, воспитанника кадетского корпуса. Ха-ха-ха! Да вы, оказывается, оригинальная штучка? Ну-ка, я вас посмотрю поближе.

Он вскочил со стула, хотел схватить учительницу за талию. Ольга Ивановна сделала шаг назад, подняла руку.

— Еще одно движение, и вы получите по физиономии.

Полковник покраснел, злоба мелькнула у него на лице. Но он моментально овладел собой, улыбнулся с деланной любезностью.

— Ой-ой, какие мы сердитые! Мы, оказывается, кусаемся!

И вдруг снова стал серьезным.

— Ну-с, медмуазели, или как вас там, шутки в сторону. Больше уговаривать вас я не намерен. Приказы-

ваю вам завтра же приготовить мне обед. Не приготовите — выпорю. А теперь — марш на место!

Полковник принадлежал к числу тех офицеров, которые работали в армии не за страх, а за совесть. Он был ослеплен ненавистью к красным, его жестокость не знала рамок. Он принялся искоренять большевиков со всем рвением фанатика-черносотенца.

Почти все село собралось на площадь. Женщины, дети, старики, старухи, взрослые и молодежь. Красильниковцы оцепили площадь, загородили выходы пулеметами. Звонили колокола, неслось молитвенное пение; священник набожно и истово крестился, поднимая глаза к небу, просил у бога ниспослания мира всему миру и многолетия верховному правителю. Народ пугливой толпой колыхался на площади. Предчувствие чего-то страшного и неотвратимого томило массу. Многие плакали. Полковник, опираясь на эфес кривой сабли, простоял почти весь молебен на коленях. Свита не отставала от начальства. Люди в блестящих мундирах, с золотыми и серебряными погонами, вооруженные до зубов, тщательно крестились. После молебна полковник встал на сиденье своего экипажа.

— Мужики! Разговаривать долго с вами я не буду. Говорить нам не о чем. Вы знаете хорошо, что я — верный слуга отечества, враг изменников и грабителей — большевиков. Среди вас много есть этих извергов рода человеческого, не признающих ни бога, ни правителя. С ними я и думаю сейчас же расправиться.

Лица вытянулись. Глаза резко обозначились сотнями черных больших точек на бледно-сером лице толпы. Безотчетный, смертельный страх колыхнул массу. Люди попятились назад. Предостерегающе щелкнули шатуны пулеметов. Пулеметчики заняли места у машин. Площадь застыла. Полковник улыбнулся, зычно бросил:

— Спасибо, молодцы-пулеметчики!

— Рады стараться, господин полковник!

— Что, боитесь, канальи? — заорал Орлов на толпу.— Видно, совесть-то у вас не совсем чиста. На колени, прохвосты, все на колени, сию же минуту!

Многоликая пестрая масса женщин, детей и мужчин потемнела, с плачем и стоном опустилась на колени. Платочки, шапки, фуражки закачались на минуту и остановились. Площадь снова стала мертвой, тихой.

— Шапки долой!

Головы обнажились. Сотни рук мелькнули. Легкая рябь, как на воде, наморщила разноцветные ряды медвежинцев.

— Первый эскадрон, ко мне! — скомандовал полковник.

Гусары в пешем строю змейкой проползли через толпу, выстроились в две шеренги. Винтовки метнулись в руках. Черные, круглые отверстия стволов качнулись, двумя рядами повисли перед лицом толпы.

— Сознавайтесь, кто из вас большевики? Кто из вас помогал красным? Кто сочувствует им?

Толпа молчала.

— Честные люди, к вам обращаюсь: укажите негодяев, им не место среди вас.

С тяжелой одышкой человека, страдающего ожирением, прижимая рукой крест к груди, высокий, упитанный отец Кипарисов подошел к Орлову:

— Я вам, господин полковник, всех их сейчас укажу. Вот они все у меня переписаны.

Священник достал из кармана длинный лоскут бумаги. Толпа стала совсем черной, пригнулась тяжело к земле.

— Иванов, Непомнящих, Стародубцев, Белых. Этих двух первых, вот чего — расстрелять, а этих двух, вот чего — пока только можно выпороть.

Кипарисов читал долго, обстоятельно, поясиял, кого нужно расстрелять, а кого только выпороть. Толстый кривой палец в широком черном рукаве размеренно поднимался и опускался. По его указанию, гусары бросались в толпу, вырывали из нее поодиночке, по два, кучками. Площадь колыхалась, глухо стонала. Лавочник Иван Иванович Жогин протискался к полковнику.

— Господин полковник, разрешите доложить, — и, не дождаясь ответа, боясь, что его не станут слушать, быстро заговорил: — Батюшка забыл еще четырех большевиков указать вам.

— Кровопивец! — крикнул кто-то в толпе.

Жогин обернулся.

— Ага, это ты, Бурхетьев? Знаю тебя, большевика, и твоих товарищей: Степанова, Галкина и Черnова.

Всех четверых схватили. Полковник кивнул адъютанту.

— Корнет, прошу приступить.

— Слушаюсь, господин полковник!

Бледных, с запекшимися, перекошенными губами, поставили у каменной церковной ограды. Их было сорок девять. Против них развернулся веер красных погон, круглых кокард. Черные дыры винтовок двумя рядами, покачиваясь, щупали головы и груди приговоренных.

— Господин полковник, разрешите начинать?

— Пжальста,— небрежно бросил Орлов.

— По красной рвани пальба эскадроном, эскадрон...

Площадь взвизгнула, застонала. Лица стали белыми, как платочки на головах женщин.

— Подождите, подождите, корнет! — остановил полковник.

— Уж очень вы скоро. Прямо без пересадки да и на тот свет. Надо дать им время подумать. Может быть, и раскается кто? В свое оправдание еще кого не укажет ли?

Белая стена камня, белая полоса лиц, пригвожденная черными точками глаз. Неподвижно молчали. Лишь один не выдержал, старик Грушин, застонал:

— Кончайте скорее, палачи.

Лопнула белая полоса. Выпал белый камень, пришпиленный двумя черными пятнами. Жена партизана Ватюкова забилась, рыдая, на земле.

— Приколоть ее,— махнул рукой адъютант.

Черная, тонкая, граненая железка разорвала в горле женщины предсмертный крик.

— Мамку закололи,— завизжал в толпе ребенок.

— Не визжи, поросенок, подрастешь, и тебя приколем,— прикрикнул на него Орлов.

Площадь умерла. Людей не было. На карнизах церкви возились и ворковали голуби, чирикали воробьи. Живые были только они. Солнце остановилось. Жгло нещадно. Сотни голов наполнились расплавленным металлом. Отяжелели, распухли. В глазах прыгали огненные брызги.

— Ну-с, видимо, желающих раскаяться нет? Закоренелые негодяи все. Корнет, продолжайте.

Что-то дернуло коленопреклоненную площадь. Оборвалось что-то. Пригнулись еще. Лица были почти у земли.

— Товарищи большевики, смирна-а-а, равнение на пули, на тот свет карьером ма-а-арш!

Шашка, тонко свистнув, сверкнула. Черные круглые дырки винтовок, все два ряда, желтыми огоньками заго-

релись, стукнули. Полоса белых камней, на стене из белого камня, рассыпалась, рухнула на землю. Расстрелянные подпрыгнули. Упали навзничь. Полковника душил смех.

— Молодец, корнет, молодец, тонный парень, тоняга, корнет. Ха-ха-ха! На тот свет карьером... Ха-ха-ха! К Владимиру тебя, к Владимиру с мечами и бантом представлю, канальлю.

— Покорнейше благодарю, господин полковник!

Залп опрокинул толпу на землю. Женщины судорожно бились, рыдали. Старики, старухи молились. Мужики стонали. Молодежь сжимала кулаки, кусала губы. Орлов взглянул на площадь. Ткнул пальцем.

— Ребята, вот этой молодухе десять порций. Погорячей, шомполами. Пусть помнит лихих гусар атамана Красильникова.

Серая пыль площади. Белые пятна. Живые, полуголые. Свист. Железные прутья. Кровавые рубцы. Кровь. Красное мясо. Колокольный звон лгал. Радости не было. У церковной ограды дергались ноги. Рука крючила пальцы. Белые камни вспотели. Красный пот глядел полосами, брызгами, каплями. Мертвых было сорок девять. Окровавленных шестьдесят. Но были выпороты все. Уничтожены, растоптаны. Пестрая толпа с болью еле встала, зашаталась. А колокол все лгал.

4. НЕЖНЫЕ ПАЛЬЧИКИ

Слезы росы еще не высохли на белых астрах, сорванных утром. Крупные капли прозрачной влаги падали с умирающих цветов на полированную крышку рояля, рассыпались сверкающей пылью. Высокая хрустальная ваза светилась льдистыми, гранеными краями. Тонкие, длинные, нежные пальцы с розовыми ногтями едва касались клавиш. Звонкие струйки звуков скатывались с черных массивных ножек, волнами расплескивались по сияющему паркету большой светлой гостиной. Мягкие кресла, диван с суровыми, прямыми спинками мореного дуба, тяжелые, темные рамы картин были неподвижны. Барановский, сдерживая дыхание, напряженно застыл на низком бархатном пуфе. Татьяна Владимировна импровизировала. Ее глаза, большие, темно-синие, мерцали вдохновением. Матовое, бледное лицо с тонким прямым

носом и высоким лбом было слегка приподнято. Густые, темные волосы высокой прической запрокидывали назад всю голову. Офицер смотрел на девушку, любовался и с тоской думал, что он сегодня с ней последний раз. Завтра нужно было ехать на фронт. Последний раз. Может быть, никогда больше они не встретятся. Татьяна Владимировна встала, полузакрыв глаза, устало протянула Барановскому руки. Подпоручик вскочил с пуфа и стал медленно, осторожно прикасаясь губами, целовать тонкие, немного похолодевшие пальцы.

— Татьяна Владимировна, я не хочу уезжать от вас.

Черные, широко разрезанные глаза офицера были влажны. Пухлые, еще не оформившиеся губы сложились в кислую гримасу.

— Милый мальчик!

Взгляд девушки ласкал подпоручика теплыми, синими лучами. В соседней комнате, в столовой, гремели посудой. Накрывали к завтраку.

— Но ведь я же не могу без вас! Поймите, не могу. Я застрелюсь.

Татьяна Владимировна посмотрела на офицера пристально, серьезно.

— Иван Николаевич, не будьте ребенком. Вам уже двадцать лет. Вы должны ехать.

— Почему я должен, а не кто-нибудь другой?

— Все должны, Иван Николаевич, и вы, и другой, и третий. Если бы все остались дома, то тогда красные ведь не замедлили бы пожаловать сюда и со всеми нами расправиться.

— Но почему же я именно должен, когда я так люблю вас.

Татьяна Владимировна пожала плечами, улыбнулась.

— Ребенок. Совсем ребенок!

Вошел лакей.

— Кушать подано.

В столовой за столом сидели отец Татьяны Владимировны, старик профессор, и молодой человек, худосочный, угреватый, с мутными оловянными глазами, в студенческой тужурке. Остроконечный клинышек седой бороды, лысина, пенсне профессора приподнялись.

— Здравствуйте, Иван Николаевич. А это наш знакомый, Алексей Евгеньевич Востриков, студент института восточных языков.

Барановский пожал маленькую, сухую руку профес-

сора и еле дотронулся до липкой, холодной ладони Вострикова. Профессор с Востриковым вели разговор о русской торговле и промышленности, о причинах их упадка.

— Все-таки, Алексей Евгеньевич, я не могу согласиться с вами, что в ближайшее время нам нельзя рассчитывать на полный пуск всех фабрик.

Барановский и Татьяна Владимировна сели рядом.

— Напрасно, профессор. Вы слишком оптимистически смотрите на вещи. Скажите, разве в условиях ожесточенной гражданской войны можно рассчитывать на что-нибудь серьезное в этом деле?

— Безусловно, нет. Но ведь Советская Россия скоро прекратит свое существование.

Востриков иронически улыбнулся.

— Нет, профессор, до этого еще далеко. Конечно, я уверен, что рано или поздно Совдепия падет, но пока, пока мы воюем, следовательно, нужно жить и вести хозяйство, приспособляясь к обстановке борьбы.

— То есть, ставя точку над і, вы, Алексей Евгеньевич, утверждаете, что торговли сейчас, в полном смысле этого слова, быть не может, будет только спекуляция. Промышленность крупная, фабричная не пойдет, будет процветать мелкое кустарничество.

— Вот именно, большего пока что мы не сможем. Я вам скажу из личного опыта, надеюсь, вы можете мне верить, как порядочному спекулянту.

Барановский с удивлением поднял глаза на Вострикова. Профессор улыбнулся.

— Не удивляйтесь, поручик,— поймал студент мысли офицера.— Я самый настоящий спекулянт. Вы смотрите — студенческая тужурка? Это для виду. Я только на бумаге студент Владивостокского института восточных языков. Правда, я кончил гимназию с золотой медалью, но учиться сейчас и некогда, и невыгодно. Я студенческие документы использую только для свободного проезда от Иркутстка до Владивостока и обратно. Я даже, если хотите, из тех же соображений и, кроме того, чтобы освободиться от военной службы, выправил себе монгольский паспорт.

Барановский засмеялся. Востриков, улыбаясь, говорил:

— Вот и смейтесь, любуйтесь — перед вами монгольский подданный, студент института восточных языков,

человек, которого никто не смеет побеспокоить и который преблагополучно делает оборот в два миллиона рублей в день.

Профессор счел долгом пояснить офицеру:

— Вы, Иван Николаевич, не верьте ему. Алексей Евгеньевич — человек чересчур резкий и откровенный, страдающий привычкой все немного преувеличивать. Никакой он не спекулянт, а просто великолепный коммерсант, и все.

Востриков смотрел на Барановского мутным, прицеливающимся, взвешивающим взглядом старого торгаша, тряс головой.

— Нет, поручик, я хочу сказать вам всю правду. Вы вчера только училище кончили, полны, следовательно, самого пустого мальчишеского обалдения и глупой радости. Вы сейчас все в розовом свете себе представляете. Так вот, знайте, что торговли у нас нет, крупного, порядочного товарообмена нет, есть только мелкие спекулятивные сделки, есть крупные аферы, которыми не брезгуют даже министры, вот и все.

Профессор с укором качал головой.

— Вы едете на фронт, так вот знайте, что до тех пор, пока большевизм не будет сметен, стерт с лица земли, везде, вот даже здесь, в белой Сибири, будет чувствоваться его разлагающее влияние. Старые основы нравственности и законности поколеблены. Люди начинают терять границы добра и зла. Да, даже здесь у нас, где ведется борьба за восстановление России, большевизм чувствуется.

— В этом я согласен с вами, Алексей Евгеньевич,— закивала бородка профессора.

— Кровавый, страшный призрак коммунизма, ставший над Россией, на все бросает свои мрачные, зловещие тени. Красный ужас лишает людей рассудка. Вы правы, люди теряют границы позволенного и непозволенного. Мы являемся свидетелями небывалой, неслыханной духовной прострации.

— Нет, вы подумайте только, поручик, какая у нас может быть сейчас торговля, товарообмен, как может наладиться хозяйственный аппарат, когда у нас что ни шаг, то верховный правитель, атаман; каждый требует у тебя: «Дай». Каждый за малейшее ослушание карает, как изменника,— кого, чего, чему — неизвестно. Гм, торговля, промышленность,— Востриков желчно засмеял-

ся.— Разве я могу получить хоть вагон товара без толкача? Никогда. Я должен ехать сам с своим грузом и толкать, проталкивать его через каждую станцию. Японцам дай, семеновцам дай. Железнодорожникам, до стрелочника включительно, дай. Не дашь, не поедешь. Тысячу рогаток поставят. А семеновцы так просто товар заберут. Каждый раз едешь и не знаешь, довезешь или нет. Разоришься или наживешь? Но когда я прорвусь через все преграды, привезу товар на место, тут уж, извините, процентик я наложу не по мирному времени. Я рискую, я и беру. Сто, двести процентов мне мало, я накладываю четыреста, восемьсот, тысячу. Я вздуваю цены до последней возможности.

— Но ведь это же не... не... хорошо,— Барановский хотел сказать нечестно, но не мог.— Зачем вы так делаете? — наивно спросил он спекулянта.

Востриков расхохотался:

— Ну и дитятко же вы, голубчик, «Нехорошо!» Поймите, что я коммерсант, со дня рождения, по натуре коммерсант. И если нельзя сейчас, как говорится, честно торговать, так будем спекулировать. Будем приспосабливаться. Не сидеть же сложа руки, когда дело к тебе само лезет.

Профессор закурил сигару. Барановский сидел, беспокойно посматривал на Татьяну Владимировну. Ему не хотелось поддерживать разговор с Востриковым, он мечтал провести последние часы перед отъездом наедине с любимой девушкой. Офицер нервно вертелся на стуле. Сыр ему казался пресным, масло горьким, кофе недостаточно крепким. Часы на стене отчетливо и гулко пробили два. Офицеру скоро нужно было уходить. Татьяна Владимировна заметила его тоскливый, беспокойный взгляд.

— Вам, Иван Николаевич, кажется, уходить скоро? Пойдемте в сад. Я хочу показать вам в последний раз наши цветы.

Подпоручик покраснел, смутился, вскочил со стула, чуть не опрокинул свой стакан. В саду Татьяна Владимировна усадила Барановского на широкий зеленый диван перед большой круглой клумбой.

— Иван Николаевич, я хочу поговорить с вами серьезно.

— Ради бога, я всегда готов вас слушать.

— Вы должны не только слушать меня, но н слушаться.

— Слушаюсь, Татьяна Владнмнровиа, слушаюсь.

— Если вы хотнте, чтобы ваша Таия была счастлива,— идите на войну. Веринтесь оттуда нлн жнвым, илн мертвым, но героем. Идите, если ие хотите, чтобы грязные солдатские сапоги затоптали наш чудесиый паркет. Еслн хотите, чтобы мы жили спокойно, с иеобходимымн для всякого культурного человека удобствамн, а ие были бы сжаты в одиу комиату, в кухню, как свиньи, уплотиены, как сельдн в бочке,— ндите! Если хотнте, чтобы ваш кумир был одет достойным образом, в тонкие, иежиые ткаии, чтобы на его ножках былн такие же башмачки,— ндите!

Татьяна Владимнровиа выставнла острый коичнк лакироваииой туфелькн.

— Иван Николаевнч, вы человек ннтеллигеитиый, вам дорого, несомиенио, все, что создаио веками работы поколеиий, векамн работы мыслн лучших людей, вам дорога наша культура. Ради спасеиня всего этого вы должны поставить на карту свою жизнь. Торжество большевизма — это торжество отвратнтельиого, хамского солдатского сапога. Еслн вы ие хотите жить в коммуиистическом стаднще бараиов, равных в своем иичтожестве н тупоумнн, еслн вы стоите за власть немиогих, но мудрых, культурных, то идите на фронт без колебаний. Помиите, что там, где в жизнн мечется огромное, полиовластиое стадо зверей, там нет свободы, там нет красоты, там вонь хлева илн конюшнн, бараиья тупость и бестолковое топтаиье иа месте. Нет, надо покончить с этнм иемедлеиио. Этот бараний топот доиосится и сюда. Запах скотского навоза коммуннстическнх стойл пробирается к нам, н люди, иахватавшись его, делаются зверямн, начниают думать только о крови, о сытой добыче.

Татьяиа Владимнровиа говорила горячо. В ее голосе звучали нотки гиева и глубочайшей веры в свою правоту. Бараиовский взял ее за руки. Девушка посмотрела ему в глаза.

— Вы любите этн руки? Вы хотнте, чтобы онн остались такимн же нежными? Хотнте, чтобы эти пальчикн пахлн духамн, а ие салом кухоиных тряпок? Хотите?

Барановскнй молча целовал рукн Татьяны Владими-

ровны, жадно вдыхал аромат тонких духов и нежной женской кожи.

— Прощайте, Иван Николаевич, вам время идти.

Девушка взяла офицера за голову, провела рукой по его щетинистой прическе, посмотрела в большие черные глаза, на пухлые губы со жгутиком пушка под мясистым носом, на ямочку подбородка и тихо, долгим поцелуем, прижалась к его лбу.

— Идите. Профессору я передам поклон.

Барановский, опустив голову, роняя на песок дорожки крупные слезы, пошел к калитке.

— Подождите, дайте на минутку мне вашу шашку.

Подпоручик остановился, с недоумением посмотрел на девушку, неловко вытащил из ножен сверкающий клинок. Татьяна Владимировна на секунду быстро прикоснулась губами к черной рукоятке.

— Видите, я поцеловала ваш меч. Не опустите его, не продайте. Я буду вашей женой, когда вы с ним вернетесь из завоеванной Москвы.

Домой в казармы, на Петрушинскую гору, Барановский шел быстро, не глядя под ноги, спотыкаясь на скверных, деревянных тротуарах. Левой рукой офицер держал дорогой теперь эфес шашки, правую прижимал к лицу и с тоской вдыхал едва уловимый, тонкий аромат молодого женского тела и духов, оставшийся от прикосновений нежных пальцев с розовыми, шлифованными ногтями.

5. ПОБЕДЯТ ЛЮДИ

На другой день офицерский эшелон отправлялся на фронт. Проводить уезжающих пришли родные, знакомые. Прибыл с блестящей свитой командующий войсками округа, приехали управляющий губернией, городской голова, пришли офицеры, бывшие воспитатели окончивших училище. Проводы были торжественные. Представители власти выступали с речами. Командующий округом, пожилой генерал, говорил старые, избитые слова о долге перед родиной, о чести мундира. В заключение провозгласил «ура» за здоровье «обожаемого» вождя армий, адмирала Колчака. Офицеры, вымуштрованные за десять месяцев, собаку съевшие на ответах начальст-

ву, рявкнули дружное и громкое «ура». Оркестр заиграл гимн «Коль славен наш господь в Сионе»[1]. Головы обнажились. После командующего выступал управляющий губернией правый социалист-революционер Ветров. Ветров говорил долго о правах мелкого собственника — крестьянина, о правах гражданина свободной Республики, попранных «накипью социализма» — большевиками. Призывал на защиту родины от гуннов двадцатого века, клялся, оставаясь в тылу, не покладая рук бороться с красной крамолой. Речь кончил, как и генерал, здравицей за диктатора. Офицеры, как по команде, деревянными, казенными голосами прокричали три раза «ура». Вместо городского головы, кадета Ковалева, выступил представитель городского самоуправления маленький, щупленький меньшевик Прошивкин. Он начал свой монолог торжественным заявлением о том, что меньшевики бдительно стоят на страже завоеваний революции и интересов рабочего класса, что они, меньшевики, давно бы привели пролетариат к полному освобождению, если бы не большевики, отодвигающие приход желанной свободы своими социалистическими экспериментами. Чем дольше говорил Прошивкин, тем больше вдохновлялся.

— Господа офицеры, — кричал он, — вы идете на славный подвиг! Вы идете на борьбу с комиссародержавием! Выше головы, господа офицеры.

Сотни белых кокард, золотых и защитных погон заискрились. Офицеры улыбались откровенно насмешливо, рассматривая худенькую, тщедушную фигурку оратора.

— Да преисполнятся сердца ваши гордым сознанием того, что вы идете за правое дело, за торжество идей равенства и братства, за освобождение трудящихся от большевистской каторги. Ура!

— Ура! Ура! Ура! — послушно кричали офицеры.

Погоны поблескивали на солнце. Некоторые с усталыми, скучающими лицами морщились, ворчали, что они вовсе не намерены драться за какую-то свободу. Представитель местного купечества Кулагин начал играть напыщенными фразами.

— Доблестные защитники родины, с отеческой скорбью благословляем мы вас на тяжкий подвиг ратный. Идите, дети, и отомстите за поруганную честь свя-

---

[1] «Коль славен...» при Колчаке считался национальным гимном.

той Руси. Матери, жены и сестры ваши со слезами надежды провожают вас на последний решительный бой с подлым и коварным врагом. Они будут ждать вас обратно победителями. Знайте, дорогие дети, если не устоите вы против супостата, погибнет Россия. На поругание и разграбление интернациональным бродягам предадут большевики добро наше, родину нашу, многострадальную Русь.

Подпоручику Петину надоели речи, он вышел из строя, пробрался через густую толпу провожающих на свободный конец перрона. К нему подошла его знакомая институтка Тоня Бантикова.

— Это вам, Андрюша, от меня,— сказала она, подавая офицеру букет белых роз.— Вы такой герой, такой храбрый: едете драться с большевиками и не боитесь.

Институтка смотрела на подпоручика ясными, восхищенными глазами.

— Вы победите их? Да?

Петин улыбнулся и, пощипывая верхнюю губу, говорил, что ничего страшного в большевиках нет, что скоро их, вероятно, совсем разобьют.

— Ах, вот хорошо-то будет,— оживилась Тоня.— Тогда я не буду бояться по ночам. А то мне все снится, что большевики идут, страшные такие. Наша классная дама говорила, что они страшные. Правда, Андрюша, что они убивают даже детей и девушек?

Петин теребил голую губу, не зная, что ответить Тоне.

— Гм, гм, возможно, что и так, от них всего можно ждать.

— Ах, какой ужас! — институтка молитвенно сложила руки, подняла глаза к небу.

Кулагин кончил:

— Идите с богом, защитники наши, знайте, что мы, оставаясь здесь, ничего не пожалеем для блага родины. Заложим жен и детей, распродадим имения наши, но не сдадимся супостату. Ура!

— Ура! Ура! Ура!

Толпа всколыхнулась, зашумела. Оратор слез с табурета. Стекла вокзала были подернуты серым налетом пыли. На стенах штукатурка обвалилась. Платформа, черная, асфальтовая, лежала под ногами, закиданная клочками бумаги, окурками, ореховой шелухой. Офице-

ры, утомленные длинными речами, еле подняли глаза на старика профессора с длинными седыми бровями, в пенсне, с бородкой клинышком, забравшегося на табурет. Профессор взглянул на блестящую, дисциплинированную толпу офицеров, покорным, внимательным кольцом окружавшую импровизированную трибуну.

— Милые дети! — голос старика с теплой лаской и силой скользнул по сердцам.

Глаза профессора, отца Татьяны Владимировны, осветились доброй улыбкой, лохматые брови приподнялись, мелкие складочки наморщили лоб.

— Милые дети, позвольте в заключение и мне, старику, только что вырвавшемуся из большевистской неволи, рассказать вам о тех, с кем вы едете воевать. Позвольте мне, как отцу, как деду, умудренному опытом, предостеречь вас, поставить в известность о той огромной, страшной опасности, которая нависла сейчас не только над нашей родиной, но и над всем миром.

В голосе оратора звучала влекущая, ласковая сила. Солнце осветило пыльные окна станционного здания, засверкало на блестящих погонах, заискрилось в оживившихся глазах слушателей. Паровоз, шипя и громыхая, поставил около перрона длинный состав.

— Дни страшного суда истории над народами Европы завершились суровым и жестоким приговором: великая европейская война закончилась полным их провалом и посрамлением. Обе воюющие стороны повторяли, что их задача — дать мир миру и сделать войну на будущее время невозможной. Мысль явно утопическая, потому что из войны ничего, кроме войны, родиться не может. Великая европейская война была с самого начала проявлением зоологического начала в человечестве, а гуманитарные мечты — только прикрасою. Теперь прикрасы облетели, а сущность осталась. И вот мы видим, что только что окончившаяся мировая война таит в себе зародыши великого множества новых войн, маленьких и больших. Народы начинают новую борьбу за раздел добычи, доставшейся после победы над Германией и ее союзниками. Но вся эта новая борьба народов ничто в сравнении с той беспощадной, междоусобной войной, которая началась в России и грозит вспыхнуть во всех странах мира. Логическое завершение войны «до победного конца» не есть всеобщий мир, а именно —

это перенесение войны вовнутрь государств, в каждый город, в каждую деревню, в самый интимный мир человеческой семьи. В современных событиях перед нами развертывается картина всеобщего массового безумия. Миром овладели зоологические страсти. Роковые противоречия всемирной культуры встали перед нами во весь свой рост. Все народы в мире боятся опасности, угрожающей от других народов, и вооружаются друг перед другом, готовятся к новым войнам. Боясь войны, подготовляют почву для нее. Отсюда то психологическое настроение, из которого выросли все ужасы войны междоусобной. Веками изживали христианские народы противоречие. Они исповедовали заповеди любви, но только для домашнего употребления, внутри государства, а рядом с этим в международных отношениях следовали морали каннибалов. В конце концов душа не выдерживает этих противоречий. Можно ли допускать, чтобы человек был кровожадным тигром по ту сторону границы, и в то же время требовать, чтобы он был кротким агнцем по сю сторону? Это психологически невозможно. И вот мы видим, что мировая война, разнуздавшая зверя в международных отношениях, тем самым подготовила его вторжение и в отношения внутренние. Это доказывается всеми современными переживаниями.

Офицеры стали переглядываться. Речь профессора начинала казаться им подозрительной. Но оратор поспешил рассеять их сомнения очень удобоваримыми выводами о большевизме и зверях-большевиках.

— Достаточно послушать рассказы солдат, вернувшихся с войны, чтобы понять, как и почему эти люди превратились в кровожадных большевиков. Война воспитала их в мысли, что по отношению к врагу все позволено, и послужила для них школой холодной, расчетливой жестокости: убийство стало для них делом легким и обычным. И как только массы поверили, что враг не вне, а внутри государства, весь обычный кодекс войны стал применяться к этому внутреннему врагу. Избиение «буржуев» и офицеров, грабительские реквизиции «по праву войны» стали делом повседневным. Война разнуздала зверя в человеке. Отсюда и происходит тот груз, который увлекает современные государства в бездну. Отсюда — неудержимое влечение современных народов к большевизму. Все катятся к нему, словно по наклонной плоскости, мало того, способствуют его успехам своими

действиями. В итоге за последние годы все в мире делалось и делается в пользу большевиков. Как будто для них народы вооружились, для них вели мировую войну, а теперь заключают тот жестокий грабительский мир, который может быть только им полезен. Большевизм не есть что-то случайное и внешнее, это какая-то роковая болезнь, которая таится в крови народов. И мы видим какая. В большевизме стал явным тот «образ звериный», который уже задолго до войны жил в душе народов, вынашивался всею жизнью современного государства. Тут перед нами обнажается провал мировой культуры. Веками работала она над человеческим обществом и все-таки потерпела жестокую неудачу в самом главном: человек остался все тем же хищником, каким он был в доисторическую эпоху, но при этом хищником во всеоружии средств современной техники. Взаимные отношения народов продолжают покоиться на кровавом принципе борьбы за существование. У кого сильнее челюсть, тот и прав. Человек-тигр — вот тип, который приобрел во многих странах преобладающее значение, захватил власть (вспомним Дзержинского). В этом и заключается торжество большевизма. Большевизм — Немезида современной культуры, обнажение таившейся в ней темной силы зла. Сознательное отречение от духа — вот что составляет сущность большевизма и вообще современного духовного склада человеческого общества. Материализм торжествует везде. Он же привел человечество к мировой войне. В Совдепии материализм приобрел значение догмата веры. Неудивительно, что поэтому большевики не могли удержаться на точке зрения религиозной свободы, лицемерно ими проповедуемой. Подлинное отношение большевиков к религии выражается не в равнодушии, а в ненависти, в расстрелах, издевательствах и мучениях священников, ибо самое существо большевизма есть активная вражда против духа. Этой же враждой обусловливается отрицание всяких духовных связей общежития. Самые национальные отличия между людьми, по мнению большевиков, призрачны именно потому, что это отличия духовные. Реальны, существенны, с их точки зрения, только отличия материальные, экономические. Большевики на свете признают только две нации — буржуазию и пролетариат.

Профессор стал излагать сущность классовой борьбы. Офицеры стояли, как изваяния. Никто не пошеве-

дился, не проронил ни слова. Речь оратора захватывала безраздельно общее внимание.

— В большевистском общежитии нравственные и правовые нормы заменяются просто-напросто массовым аппетитом.

Профессор перешел к характеристике отношений между классами в Советской России.

— Повальный грабеж и море пролитой крови, массовые казни «буржуев» и воспрещение приобретать целый ряд предметов первой необходимости тем, кто не стоит на «советской платформе». Недаром Ленин сказал, что тот, кто не полезен Советской Республике, может умирать. Невольно вспоминается апокалиптический зверь: «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет сие начертание, или имя зверя, или число имени его». Есть что-то сатанинское в том оплевании человеческого достоинства, в том низведении человека до скотского уровня, которое составляет характерную черту большевизма. Выбросить за борт всякие духовные начала, построить жизнь на чисто материалистических началах, разрушить нацию, семью, церковь — вот программа наших врагов, врагов общечеловеческой мировой культуры. Царство большевиков не человеческое, а звериное. Но восторжествует ли звериное начало в человечестве? Вот вопрос, на который мы должны ответить, и мы отвечаем, что нет, нет и нет, тысячу раз нет. Большевизм возник и вырос в мировую величину на почве всеобщего падения нравов. Освобождение от него поэтому возможно только путем духовного подъема. Угасание духа было тесно связано с возрастанием материального благосостояния человеческого общества. Теперь всеобщее обнищание, разруха, голод способствуют пробуждению духовной жизни людей. Обещанный большевиками рай земной оказался звуком пустым. Обманутые массы, обобранные, разоренные, измученные террором, бросились в тоске на поиски утраченных духовных святынь. Люди массами пошли в церковь. Мы, господа, в тылу у большевиков одерживаем изо дня в день крупнейшие победы. Говорят, что никогда еще Москва не видела таких крестных ходов, как в настоящее время. Мы живем в эпоху великих мировых контрастов. С од-

ной стороны, сам сатана сорвался с цепи. А с другой стороны, на борьбу с разнуздавшейся силой зла мобилизовались все духовные силы, какие есть в человеческой душе. В дин глубочайшей скорби и ужаса рождается в мнр высшая красота духовиого подвига. В церковь вновь показывается забытый миром лик Хрнстов. Опять, как в языческом Риме, льется кровь мучеников. Сотни служителей церквн сложилн и кладут свон головы на плахах большевнстскнх чрезвычаек. В то самое время, когда большевнстское общественное строение разлагается, те духовиые связн, которымн раньше держалась Россия, иачннают восстанавливаться. Церковь — вот где побеждается классовая рознь: для иее нет ни буржуя, нн пролетария. Там человек чувствует себя поднятым иа высоту сверхклассового мира. В церквн вы увидите н рабочую блузу, и пиджак, и шляпу, и ситцевый платок — все густо перемешано. Вот где можно увндеть едиимй русский народ, который, казалось, погнб в особенно острые дии гражданской войны. Народное самосознанне оживет в этом духовном общенни всех классов, в ием русскнй человек сиова находнт утрачеииую родину. Теперь вопрос ставнтся ребром: что восторжествует в мнре — человеческое нлн звернное? Историня дает нам ясный ответ. Человечество может быть спасено только через подъем в высшую надчеловеческую сферу. Как только человеческая жнзиь сдвигается с свонх релнгнозиых основ, она тотчас утрачнвает все спецнфическн человеческое н роковым образом подпадает темиой власти звериного царства. Человек не есть высшее в мире существо. Он выражает собою не тот конец, куда мнр стремится, а только середнннную ступеиь мнрового подъема. И вот оказывается, что на этой серединной ступенн остаиовнться нельзя. Человек должен сочетаться нлн с богом, нли со зверем. Ои должен или пережить себя, подняться над звездамн, или провалиться в пропасть, утратив свое отлнчне от всего, что иа земле ползает и пресмыкается. На свете есть две бездиы, те самые, о которых иекогда говорнл Достоевский, и среднего пути нет между нимн. Все народы мнра должны решнть ясио и определенно, к которой из двух онн хотят прннадлежать. Перед человечеством теперь только два путн — путь зверниого царства, путь смерти, куда большевнзм увлекает мир, и другой путь, куда поворачивается теперь русское иародное самосознание, есть путь воскре-

сеиия. Когда весь мир еще находнтся под угрозой прихода большевнстского звериного царства, наша роднна выходнт из него, поднимается в лучезарный мнр нстины, добра н человечности. Да будет благословен ваш тернистый путь, мнлые дети! Смело на подвиг! Победа будет за людьми! За нами!

Профессор кончнл, устало поправил пенсне. Толпа стояла несколько секунд завороженная. Целый поток аплоднсментов залнл перрон.

— Браво! Браво! — кричалн офнцеры.

— Гими!

Оркестр заиграл «Коль славен». Все снялн фуражкн.

Станционный сторож два раза ударнл в колокол. Матери сталн крестить сыновей. Поцелуи, объятия. Женщины плакалн. Офицеры садились в поезд. Пестрое лицо толпы металось у длинной красной змеи эшелона, потемнев, беспокоясь. Высокий черноусый Мотовилов стал на площадку вагона, поднял руку. Толпа примолкла, обернулась к подпоручику.

— Господа, от именн всех уезжающих прнношу глубокую благодарность за то вниманне, какое было оказано нам сейчас. Говорнть много я не буду. Нет. Я позволю себе только вспомннть здесь слова незабвенного генерала Лавра Георгиевича Корннлова, сказанные нм во время революцнн. Вот они: «Довольно слов, господа, мы слишком много говорим. Довольно!»

Раздался третий звонок, паровоз резко свнстнул, и поезд плавно двннулся вперед.

— Браво! Браво! Правнльно! Ура! Ура! Ура! — кричалн провожающие.

Мелькалн фуражки, шляпы, зонтики, платочкн. Тоня шла рядом с площадкой, на которой стоял Петин.

— Андрюша, когда вы убьете первого большевнка, то снимите у него с фуражки красную звезду н пришлите мне на память. С германской войны Кока мне каску привез, я была очень рада. Ведь интересно иметь какую-нибудь вещь врага. Не забудете, Андрюша?

— Нет, Тонечка, не забуду. Обязательно прншлю.

Поезд пошел быстрее.

— До свидання, Тонечка, до свидання, — офицер посылал смутившейся нниститутке воздушные поцелуи.

Через несколько секунд станция н перрон с пестрой толпой скрылись нз внду. Паровоз развил скорость полного хода. Мимо, навстречу, бежали красные вагоны с

запасных путей, низенькие домишки пригорода, зеленые поля.

Дорога была опасная. Красные партизаны часто спускали воинские поезда под откос, делали набеги на станции. Офицерам выдали винтовки, и они во все время пути поочередно дежурили на остановках, боясь нападений. Ехали весело, вина и закусок было много. В некоторых вагонах пьянство стояло непробудное. Сразу как-то все почувствовали, что приближается что-то страшное и огромное, перед чем стушевываются, меркнут все мелочи дня. Поезд быстро катился на запад.

— Теперь ничего не нужно делать, не нужно думать, пей и пой,— говорил Колпаков и гибким баритоном с искорками искреннего чувства запевал:

Приюты науки опустели,
Студенты готовы в поход.
Так за отчизну, к заветной цели
Пусть каждый с верою идет.

Искренность Колпакова подкупала офицеров, и все они настраивались грустно, задумчиво, всем им начинало казаться, что они идут защищать действительно дорогую и близкую их сердцу отчизну от какого-то злого и страшного врага. Хор пел:

Теперь же грозный час борьбы настал, настал,
Коварный враг на нас напал, напал.
И каждому, кто Руси сын, кто Руси сын,
То путь на бой с врагом один, один.

Социалист-революционер подпоручик Иванов мечтательно смотрел в даль убегавших лесов и оврагов.

— Какие хорошие слова. Приюты науки... Студенты... За отчизну... За свободную отчизну с Учредительным собранием...

Мотовилов презрительно плюнул и поморщился:

— Учредилка. Социалисты паршивые. Свобода. Русскому народу нагайку, а не свободу нужно. Жандармов побольше да царя-батюшку. В этом все наше спасение.

— В насилии нет спасения. Штыками не заставишь думать иначе. Самая хорошая идея кажется пустой или вредной, если ее навязывают. Пусть народ сам изберет себе образ правления. Навязывать же ему царя или совдепы — одинаково пагубно для дела возрождения России.

Мотовилов стал бестолково спорить, ругаться. Иванов замолчал, он вспомнил, что Мотовилов воспитанник

кадетского корпуса, что кадета логикой не убедишь... Мотовилов, довольный тем, что за ним осталось последнее слово, начал петь, приплясывая:

Как Россию погубить?
У Керенского спросить.

Офицеры подтягивали бессмысленный припев:

Журавель, журавель, журавель,
Журавушка молодой.

Из другого вагона неслось нецензурное «Алла-верды», и далеко в конце поезда сильный тенор хорунжего Брызгалова звенел под звук колес:

Если б гимназистки в мишени превратились,
Тогда бы юнкера стрелять в них научились.

Весь вагон ревел, подхватывая ухарский припев юнкерской песни:

Всегда, всегда с полночи до утра,
С вечера до вечера и снова до утра...

Маленький, кривоногий Никитин, высоко подняв руку, дирижировал:

Эх, тумба, тумба, тумба,
Мадрид и Лиссабон.
Тумба, тумба, тумба,
Сапог и граммофон.

Громкие песни с гиканьем и свистом, смешиваясь с грохотом поезда, наполняли тайгу целым потоком быстробегущих звуков, тревожили жителей станционных поселков. На остановках вокруг эшелона собирались кучки любопытных. Офицеры заигрывали с молодыми деревенскими девками, хвалились, что скоро разобьют большевиков. Дым и пыль столбами крутились за эшелоном. Как на экране, мелькали станции. На станции Тайшет офицеры остановились на перроне, удивленные неожиданным зрелищем: между двух телеграфных столбов с перекладиной висели три трупа. Двое мужчин в нижнем белье и молодая девушка с длинными русыми косами, в коричневой юбочке. В Тайшете стояли чешский и румынский эшелоны. Комендант станции, молодой чех, крутя в руках щегольской стек, объяснил офицерам:

— Это трех большевик. Двух повешен за ломанию рельсы, а барышня телеграфистка за то, что опоздала с передачей важной телеграмм.

Легкий ветерок играл косами телеграфистки, трепал коричневое платье, покачивал тела повешенных. Лица казненных были спокойны, только девушка в предсмертной муке нахмурила брови и сильно прикусила язык, который резким, черным пятном торчал изо рта. Мотовилов был в восторге. Он смотрел сияющим взглядом то на чеха, то на висельников.

— Вот это я понимаю, молодцы чехи, пощады не дают красной сволочи.

Чех самодовольно улыбнулся.

— Ми чех, ми не руск, ми воюем честна. Руск арме плох, он бежит от красных, бежит к красным.

Мотовилов горячо возражал:

— Нет, господин капитан, вы ошибаетесь. Не вся русская армия и русские офицеры плохи. Не спорю, есть среди нас скоты—«афицера», прапорье несчастное, те, пожалуй, бегут, те главнокомандующими и у красных служат. Но есть среди нас и настоящие офицеры, они не побегут. Разве наш Красильников плох?

Чех засмеялся, стоявший рядом с ним румынский офицер щелкнул языком:

— О, Красильникоф-то карош, карош!

Комендант покачивал головой.

— Мало руск карош, руск народ свинья неблагодаренный. Чех его освобождаль, чех большевик прогналь, а руск отступает теперь. В России все плох. Порядок нет. Солдаты — большевики. Женщин руск развратный, з нашими чехами эшелонами ездят.

Долго чешский капитан говорил о недостатках России. Офицеры угрюмо молчали. В душе у многих поднималось горькое чувство обиды. Возражать боялись. Дежурный по станции пошел к паровозу с «путевкой». С чувством облегчения бросились подпоручики в вагоны. Колпаков мрачно смотрел в угол, ероша волосы. Потом взял бутылку водки, со злобой ударил по дну рукой, выбил пробку и налил себе огромную кружку.

Поезд тронулся.

6. ВСЕ ПОЙДЕМ

В стороне от железной дороги, в тайге, кипела своя жнзиь. Партизаны спешно укрепляли Пчелиио. Густой туман сырым, серым одеялом закутывал пустые улицы, дворы. Острые железные лопаты со скрипом рвали мягкий зеленый травяной ковер, разостланный вокруг всего села. Говорили шепотом. Вырытую землю осторожно накладывали длииным, черным валом. Дозоры подозрительно щупали мокрую траву, раздвигали кусты, тыкались о деревья.

Красное знамя, потемнев, тяжелыми складками повисло над входом в школу. В большом классе на кафедре горел жировик. Пятна света налипли на лицо Григория Жаркова. Вместо глаз у него темнели впадины. Подбородок стал шире. У секретаря волосы торчали спутанной кучей. За партами стеснилось собрание представителей боевых отрядов, местных крестьян и шахтеров из Светлоозерного. Жировик красноватыми клиньями распарывал комнату. Глаза, щеки, носы, освещенные на мгновенье, наливались кровью и снова чернели. Говорил бородатый шахтер Мотыгин.

— Товарищи, ток што мы кончили германску войну, поспихали к чертям всех бар, как они к нам с новой войной лезут. Сказано было, чтобы без аннексиев и контрибуциев, а им не по нутру. Видишь ли ты, долги старые получить захотелось. Поперек горла, значит, им Советская-то власть встала. Не хотится им, чтобы рабочие и крестьяне сами собой управляли, охота повластвовать, барскую спесь свою показать.

Собрание слушало. Шахтер вспыхнул, загорелся, заговорил часто и сбивчиво.

— Нет, не быть тому! Не дадимся, товарищи! Отстоим Советскую власть.

— Не дадимся! Отстоим!

— Они хотят, товарищи, опять нас в окопы, опять стравить с кем-нибудь, чтобы нашими руками жар загребать.

— Не пойдем! Не желаем! Долой войну!

— Коли не желаем, товарищи, так всем надо, всем, как одному, за оружие браться.

— Все! Все пойдем! С вилами! С кулаками!

— У белых гадов оружия хватит — отымем.

Мотыгин замолчал. В классе стало тихо. Красноватые клинья резали толпу.

— А, мож, есть промеж нас, товарищи, трусы? Мож, кому бела власть лучше кажется?

Клинья погасли. Жировик замигал тускло, с дрожью. Голова шахтера темным комом расплылась, пропала в темноте. Темнота загрохотала.

— Не дело говоришь, Мотыгин. Говори, да не завирайся! Бела власть! Широкое спалили! Дочку изнасиловали! Нас разорили! Попадью с ребенком зарубили! Жену прикололи. Все Медвежье перепороли! Девок всех опозорили! Ни старому, ни малому от них пощады нет! Бела власть! Бела власть! Грабеж! Убийство! Хуже старого режима! Где жить будем! Жить как? Уничтожить! Уничтожить гадов! Шомполами порют. Вешают! Уничтожить всех до единого! Пощады никому не давать! Уничтожить! Уничтожить! Уничтожить! Все пойдем!

Винтовки стучали тяжелыми прикладами. Пол и парты скрипели. Стало совсем тесно. Мотыгин сел. Старик Чубуков вышел из толпы.

— Товарищи, нечего нам тут сумлеваться, есть промеж нас трусы или нет?

Шум прекратился.

— Мы все знаем, что с белыми гадами жить нельзя. Теперь все знаем. Неделю тому назад я не знал еще, я думал, коли я никого не трогаю, так и меня никто не тронет, ан вышло совсем не то. Дочь родную...— старик затрясся, побледнел,— дочь родную на глазах у матери, у отца, у мужа изнасильничали. Все мы были дома. Слышали, видели, а сделать ничего не могли, потому их сила. Что мы двое с зятем можем? У зятя, окромя того, в ту же ночь сестренку Машу, четырнадцатилетнюю девочку, замучили звери. Теперь мы вот оба здесь, и старуха с нами. Дочки-то нет: замучили изверги. Теперь я говорю, что и силен Колчак, а мир сильней его. Миром мы не одного такого уберем. Мир — сила. Мир все может. Надо только всем крестьянам пояснять как следует. Пусть слепых не будет. Пусть все узнают, что белые банды вытворяют, что они сделают с нами, коли власть свою удержат.

— Правильно! Правильно!

Чубукова сменил бывший священник из Широкого, Иван Воскресенский. Он был без рясы, коротко острижен, с шомпольной одностволкой за плечами. Собрание

смотрело на него, немного недоумевая. Воскресенский почувствовал это.

— Дорогие товарищи, не удивляйтесь, что ваш пастырь духовный крест сменил на ружье. Когда-то Христос, кроткий и любвеобильный, взял плеть, чтобы изгнать торгующих из храма. Я простой, грешный человек и больше терпеть не могу. Не могу я больше говорить о смирении, о всепрощающей любви.

Темнота застыла. Каплями масла на раскаленную плиту падали слова Воскресенского. Чад острой ненависти к белым застилал глаза, захватывал дыхание. Бывший священник был наружно спокоен, но говорил со сдержанным волнением и силой.

— Не могу, когда вижу, как телом и кровью Христа отцы Кипарисовы торгуют, как они его именем истязают и распинают целые села. Палачи жену мою и ребенка шашками зарубили за то, что осмелились противиться поджогу. Да разве я могу после этого оставаться там служить молебны о даровании побед и многолетия убийцам моего ребенка и жены. Разве я могу смириться? Нет, я хочу мстить. Я думаю, что моя месть — святая месть. Моя месть пусть сольется с вашей. Я все силы свои, все знания отдам на общее дело борьбы. Мы все здесь сошлись одинаковые — у каждого есть замученные, убитые родные, близкие. Товарищи, клянусь вам, что я не выпущу из рук оружия до тех пор, пока не будет уничтожен последний из этих гадов. Поклянемся все, товарищи, что мы будем мстить до конца, до победы. Терпеть больше нельзя. Если мы не положим предела бесчинствам этих вампиров, они в крови утопят всех трудящихся, загонят нас в кабалу темного рабства. Не будем рабами, не дадимся в когти новоявленным рабовладельцам!

— Не дадимся! Клянемся! Все клянемся!

Черные руки трясли винтовками, шомполами и берданами.

— Клянемся! — кое-кто поднимал пальцы, сложенные как для присяги.

— Клянемся!

Сердца слились в один огненный комок. Зубы заскрипели.

— Наступать надо! Нечего дожидаться! Вперед! Бить их, гадов! Наступать! Чего ждать! Наступать! Наступать!

Председатель встал, стукнул кулаком.

— Товарищи, внимание!

Жировик стал тухнуть. Черная толпа затихла.

— Всем галдеть зря нечего. Сейчас товарищ Суровцев обскажет вам все, что нужно. Прочтет приказ Военно-революционного районного штаба, тогда увидите, как и кому нужно действовать.

Высокий, сутуловатый Суровцев, с копной густых кудрявых волос, длинной, темной тенью заслонил гаснущий огонек жировика.

— Товарищи, я думаю, нам нечего говорить о том, что мы согласны или не согласны воевать с белыми. Я думаю, что каждому из нас ясно и понятно, что вопрос борьбы с этими палачами есть вопрос жизни и смерти. Мы живем и будем жить постольку, поскольку ведем и будем вести борьбу. Теперь не может быть речи о какой-нибудь капитуляции, мире.

— Мир будет, когда этих гадов не будет!

— Товарищи, к порядку!

Жарков привстал со стула. Винтовки сердито стукнули.

— Борьба может закончиться только поражением одной из сторон, поражением, а следовательно, и ее полным уничтожением. И на самом деле, как я могу помириться с негодяем, изнасиловавшим мою сестру, засекшим мою мать, заколовшим мою жену, повесившим моего брата, расстрелявшим моих детей. Мира быть не может.

— Смерть гадам!

— Товарищи! — Жарков покачал головой.— Мы должны бороться, боремся и будем бороться.

— До конца! До победы! Осиновый кол им, гадам, в могилу!

— И вот районный штаб поставил своей ближайшей задачей организовать борьбу более правильно, планомерно, в больших размерах, в более широком масштабе. Силы живой, бойцов, у нас хоть отбавляй. Мы получаем подкрепления каждый день. Каждая новая расправа красильниковцев, их новый налет на какую-нибудь деревню, село гонит оттуда в наши ряды десятки лучших людей. Сегодня перед вами выступал старик Чубуков, он будет активным борцом, он только что понял, что нейтральным в этой борьбе остаться нельзя, что нужно примкнуть либо к людям, либо к человекоподобным зверям. Нет сом-

нения, что скоро все крестьяне нашего уезда решат вопрос о войне точно так же, как решил его Чубуков. Итак, нам нужно позаботиться, чтобы влить в определенные формы, рамки разрастающееся восстание против золотопогонных убийц и мародеров. Нужно позаботиться, чтобы семьи бойцов, которые вынуждены следовать за нашими отрядами, были поставлены в хорошие условия, чтобы им были обеспечены и хлеб и кров. Наконец, нужно позаботиться, чтобы и вся наша армия ни в чем не нуждалась и в первую голову в оружии и патронах.

— Вот это дело! Правильно!

Темнота всколыхнулась. Суровцев, народный учитель-самоучка, бывший политический каторжанин, пользовался среди партизан большой популярностью и авторитетом.

— Районный штаб, товарищи, в своем последнем приказе по войскам Таежного повстанческого района предлагает в целях, только что мною указанных, следующее...

Суровцев говорил спокойно, твердо, отчеканивая каждое слово, каждую букву:

— Первое. Батальонам Мотыгина и Черепкова развернуться в полки трехбатальонного состава и именоваться: первому — 1-м Таежным полком, второму — 2-м Медвежинским; командирами остаются командиры батальонов. Отрядам Сапранкова, Силантьева и Вавилова слиться в 3-й Пчелинский полк под командой товарища Силантьева. Конные отряды Ватюкова и Кренца свести в отдельный кавалерийский дивизион. Командование возлагается на товарища Кренца. Комендантской команде штаба развернуться в запасный учебный батальон, выделив из своего состава новую комендантскую команду, команду связи и саперную команду. Командование возлагается на товарища Гагина. Из всех не имеющих оружия и небоеспособных беженцев составить рабочую дружину под начальством товарища Неизвестных.

Второе. Выделить немедленно из действующих частей всех специалистов — слесарей, токарей, механиков — и поручить им организацию мастерской для литья и точки пуль, снаряжения патронов, изготовления ручных гранат и починки оружия.

Третье. Создать при штабе агитационный отдел, на который возложить, помимо устной агитации в нашей армии, среди местного населения и в рядах противника,

в его тылу, издание лнстовок и газеты, нспользовав для этого имеющнеся две пишущие машнкки. Руководство отделом поручнть товарнщам Суровцеву и Воскресенскому.

Четвертое. Создать Совет народного хозяйства, в распоряжеине которого передать все запасы обмундирования, снаряження, вооружения, продовольствня и перевозочиые средства. На иего же возлагается обязанность снабжеиня армии всем необходимым, вплоть до огнеприпасов. Ему поручается открытне полевого госпиталя и летучки н устройство и обеспечеине семей бойцов и беженцев. Председателем Совета народного хозяйства назначается товарищ Говорнков.

Жировик потух. Запахло горелым салом и копотью. Тень Суровцева пропала в темноте. Суровцев продолжал развнвать планы штаба. Перед собраннем развертывалась картина стройной, большой, крепкой органнзации.

За селом дозоры иаткнулнсь иа противника. В тайге коротко вспыхнули н зашумелн выстрелы.

Трах! Трах! Та! Та!

Трах! Бух! Бах! — ответнлн дробовикн партизаи.

Трах! Та! Та! Та! Та! Трах!

Партнзаны замолчалн, залеглн, послали в село донесеиие... Белые дальше ндти не решилнсь, окопались, подтянули цепн почти на линию дозоров. Из школы молча, быстро лнлся шнрокнй, живой поток. Наскоро стронлнсь. Тревожио чернели длнные стволы шомполок, острые стрелкн штыков. Беззвучно прошлн по мягкому, пыльному, длииному половнку, затоптали зеленый ковер, залегли за черным валом. Без выстрела, шнроко раскрытыми глазами нскали в потемках других, ненззвестных, волнующнх своей близостью н молчаиием.

На заре у белых за цепью громыхнуло. Сиаряд провизжал в свежем туманном воздухе н ткнулся в землю не разорвавшнсь. Жарков верхом на лошадн стоял у крайией избы, разглядывая тонкую лннню окопчнков протнвника. Выдвигающнй механизм работал плохо, в одной половние бинокля стекла былн выбиты пулей. Жарков, зажмуривая глаз, морщился. Пчелнно с трех сторон густымн цепями охватывалн чехи, румыиы н нтальянцы. Партизаи смотрел в бинокль н не поннмал, почему белые нарядилнсь в шнрокополые мягкне шляпы. В патронные двуколкн у итальянцев былн впряжены ослы. Жарков засмеялся.

— Ну, на ишаках[1] да в шляпах в бой заехали — много не навоюют.

Подъехали Крейц и Мотыгин.

— Смотрите-ка, друзья, белые-то как принарядились.

Бинокль перешел к Крейцу.

— Это итальянцы,— сказал он.

— Ага, союзнички, значит, пожаловали,— мрачно улыбнулся Мотыгин.

— Ну что ж, милости просим. Не обессудьте, господа хорошие. Чем богаты, тем и рады. Встретим, как можем.

— Вот что, Крейц,— Жарков повернулся к командиру конного дивизиона,— заехай-ка ты им в тыл да пугни как следует, посчитай шляпы у этой ишачьей команды.

У белых опять громыхнуло. Легкое облачко шрапнели, крутясь, со свистом, серым кудрявым барашком повисло над краем села.

7. «ПАПАНЯ ПЛЯСИТ И ДЛАЗНИТСЯ»

Борьба разгоралась. Красные партизаны от неорганизованных, разрозненных выступлений и набегов маленькими отрядами перешли к действиям крупными боевыми соединениями, вели планомерные наступления, маневры, захватывали станции железных дорог, портили пути сообщения в глубоком тылу у врага, спускали под откос воинские поезда противника, устойчиво держали фронт, занимая подолгу целые волости, близко подходили к городам. Многочисленные, но трусливые отряды русских и иностранных белогвардейцев преследовали партизан нерешительно, в тайгу далеко заходить боялись, предпочитая срывать свою злобу на мирном населении, старались запугать всех свирепыми приказами, дикими расправами и массовыми публичными казнями беззащитных, безоружных людей.

На улицах Медвежьего был расклеен приказ атамана Красильникова:

За последнее время в деревнях и селах губернии большевики усилили свою преступную деятельность, пытаясь подорвать в народе веру в великое будущее России, стараясь склонить население на сторону предавшей родину со-

[1] Ишак — осел.

ветской власти. Безобразные факты, чинимые большевиками, — крушение поездов, убийство лиц администрации — все это заставляет отвергнуть те общие моральные принципы, которые применимы к врагу на войне. Тюрьмы полны вожаками и семьями этих убийц. Начальникам гарнизонов вверенного мне района приказываю содержащихся в тюрьмах большевиков, разбойников и их родственников считать заложниками. О каждом факте, подобном вышеуказанным, доносить мне я за каждое преступление, совершенное в данном районе, расстреливать из местных заложников от 3 до 20 человек. Все села и деревни независимо от величины и количества населения, в коих будут обнаружены большевики, будут сожжены и уничтожены, имущество конфисковано. Села и деревни, в коих население само выступит против большевиков и будет их изгонять, будут не тронуты. В сожженных селах и деревнях женщины, дети и старики, неспособные носить оружие, получат правительственную помощь и приют.

Медвежинцы, проходя мимо белых лоскутков бумаги, косились со страхом, угрюмо роняли головы. В селе кроме отряда полковника Орлова стояли итальянцы, румыны и чехи. В итальянском штабе были два представителя французских войск — красивый, седоусый полковник и молоденький, почти мальчик, лейтенант.

В день боя под Пчелином Орлов сидел на квартире у француза полковника. Офицеры пили кофе. Француз хвалил Сибирь, говорил, что она нравится ему своеобразной, суровой, дикой красотой, уверял, что если Франция вздумает прислать сюда свои дивизии, то он первый изъявит желание служить в одной из них, никогда не подумает о переводе на родину. Орлов, хорошо владевший французским языком, отвечал, что в Сибири действительно много своеобразной прелести, но находил ее страной некультурной, населенной темными, невежественными крестьянами, живя с которыми изо дня в день вместе можно огрубеть. Кофе был крепкий, сливки густые и свежие. Белые калачи и шаньги благоухали на столе запахом только что испеченного хлеба. Собеседники ели с аппетитом. Разговор с Сибири перешел на сибирских женщин. Француз спрашивал Орлова, правда ли, что, по рассказам русских же, в Сибири птицы без голоса и женщины без сердца. Орлов смеялся и рассказывал о своих многочисленных романтических интрижках с сибирячками, уверял, что сибирские женщины гораздо интереснее российских. Француз жадно посматривал на полное, раскрасневшееся лицо хозяйской дочери Кати, возившейся у русской печки, намекал Орлову,

что сегодня дома из хозяев никого, кроме девушки, нет, что он очень этим доволен. Орлов не понимал деликатных намеков коллеги, продолжал беспечно болтать. Француз нервно дергал длинные седые усы. Глаза его, большие, черные, с пушистыми ресницами, со скукой останавливались на лопате бороды Орлова, покрываясь влажным блеском, скользили по крепкой фигуре Кати.

— Она прекрасна, эта дикарка.

Француз встал, возбужденно прошелся по комнате, круто, решительно повернулся на каблуках, остановился перед Орловым.

— Полковник, оставьте меня с ней вдвоем. Вы понимаете... Вы понимаете... Я хочу, я хочу... Это ничего, я думаю? — француз дрожал. — Ведь она же настоящая дикарка. Вы понимаете, я хочу, я хочу... Это ничего, я надеюсь. Я очень извиняюсь... Но...

Орлов вскочил со стула, угодливо заулыбался, затряс бородой:

— Пожалуйста, пожалуйста, полковник. Ради бога не извиняйтесь. Будьте как дома.

Оба полковника щелкали шпорами, раскланивались.

— Мы, русские, на это смотрим проще, без всякой философии. Желаю успеха. До свидания. Вас никто не побеспокоит.

Орлов скрылся за дверью. Француз подошел к Кате, схватил ее за талию. Девушка сердито отшвырнула его руку.

— Ну, ты, мусью, не балуй у меня!

Глаза офицера стали совсем масляными, прищурились, рот полураскрылся, с красной нижней губы потянулась блестящая, тонкая вонючая нитка слюны.

— Прелестная дикарка, ты понимаешь, я хочу тебя поцеловать.

Катя подняла к самому носу француза круглый, полный кулак.

— Только сунься, старый черт, образина басурманская.

Француз обеими руками обнял девушку.

— Прелестная дикарка, я хочу...

Твердый, как камень, кулак ткнул полковника в глаз, в губы, в ухо. В голове француза зашумело, из носа потекла кровь. Катя со злобой совала кремнистый кулак в гладкую, холеную физиономию.

Полковник Орлов шел к себе в школу. На главной

улице, перед домом Кузьмы Незнамова, толпился народ. Во дворе громко плакали ребятишки, с воем рыдали женщины. Чехи вытаскивали от Незнамовых столы, стулья, шубы, сундуки, грузили на высокие зеленые фуры. Вся семья Кузьмы — жена, двое ребятишек и старуха мать,— всхлипывая, дрожала на крыльце. Сам Кузьма стоял на дворе, бледный, без шапки, с иссеченным в кровь лицом. Чешский офицер показывал плеткой на заржавленную берданку, найденную в подполье, и кричал:

— Сознайсь, ты есть большевик? Сознайсь, все равно повесим.

— Вот хоть сейчас убейте, не большевик я. Берданку, это точно — спрятал, но для охоты, а не для чего-нибудь такого.

Чех поднял руку, плеть изогнулась. Кривой, кровавый рубец вспыхнул на лице Кузьмы.

— На вот тебе, сволочь.

— Хоть убейте, не большевик я.

— Сволочь!

Лицо вспухло, окровянилось. Незнамов упал на землю. Жена плакала навзрыд. Старуха тряслась, как в лихорадке, по лицу у нее текли крупные слезы. Трехлетний Петя и пятилетняя Маша смотрели широко раскрытыми глазенками. Два чеха солдата стали привязывать короткую петлю к колодезному журавцу. Десяток любопытных со страхом жались в воротах. Глаза, округленные боязнью, чернели неподвижными зрачками. Корнет Полозов и французский лейтенант спокойно наблюдали за истязанием.

Лейтенант, играя моноклем, говорил Полозову:

— Мы не разрушаем, не идем против русских народных обычаев. Ведь нагайка и виселица — это в русском духе. Конечно, во Франции это могло бы показаться устарелым, но здесь таковы нравы, таковы обычаи. С русскими нужно бороться по-русски.

Корнет любезно улыбнулся и спешил уверить лейтенанта:

— О да, вы правы, лейтенант. С большевиками, с этими дикими зверями, можно говорить только их языком.

Обессилевшего Кузьму подвели к журавцу, надели на шею петлю. Костя Жестиков, случайно бывший во дворе, подбежал к виселице.

— Стойте господа, я провожу его на тот свет.

Доброволец прыгнул на спину Незнамову, ухватился за шею. Чехи со смехом быстро подняли обоих на воздух. Кузьма высунул огромный синий язык, вытаращил глаза, лицо у него почернело, ноги задрыгали, руки схватились за веревку. Жестиков, повернув к зрителям покрасневшее от напряжения лицо, кричал:

— Последний крик моды, господа, танец повешенного. Спешите видеть, господа.

Жена зашаталась, упала на колени.

— Палачи, будьте вы прокляты!

Голос женщины с отчаянием разрезал онемевший двор. Петя показывал маленькой ручонкой на страшную пару, качающуюся в воздухе, и, улыбаясь, говорил Маше:

— Папаня пляшет и дразнится.

Маша смотрела серьезно и не могла понять, что делает отец и почему плачет мать.

— Всыпать ей! — крикнул офицер.

Женщину стащили с высокого крыльца, ткнули лицом в землю. Один чех сел ей на голову, двое схватили за ноги. Толстый, с широким, тупым подбородком унтерофицер жирными белыми пальцами брезгливо поднял у женщины юбку. Два рослых солдата в новеньких гимнастерках и кепи, похожих на петушиные гребешки, с двух сторон рванули нагайками женское тело. Кровь брызнула с первых ударов. Нагайки стучали, как цепи. Голоса у Незнамовой не было. Она глухо хрипела. Ребятишки плакали. Старуха стояла, разинув рот, слезы у ней бежали непрерывно. Лейтенант подошел ближе, нагнулся немного, взглянул в монокль на окровавленный вздрагивающий зад женщины.

— Я думаю, что если бы мы привезли сюда гильотину, то русский народ возмутился бы, подумал бы, что мы навязываем ему силой свою культуру. Национальное самолюбие было бы оскорблено этим. Но мы же ведь ничего не делаем здесь такого, что не соответствовало бы русскому духу, обычаям, нравам. Правда, корнет?

— О да, о да, действия иностранных войск безупречны.

Полозов почтительно изгибался, заискивающе смотрел в глаза лейтенанту. Черный, кудрявый пудель француза крутился под ногами, вилял хвостом, взвизгивал. Незнамова вынули из петли. Костя ткнул его шашкой в висок.

— Чтобы не раздышался, мерзавец.

Жестиков вытер шашку о брюки повешенного. С соседнего двора привели женщину с серым лицом и черными губами. Чех конвоир что-то забормотал офицеру. Офицер выслушал, махнул рукой. Женщину подвели к петле. Товарищ Жестикова, Ника Пестиков, в беленькой рубашке с красными погонами вольноопределяющегося, подошел к приговоренной.

— Теперь моя очередь кататься,— засмеялся он Косте.

Костя улыбнулся,

— Валяй.

Новая пара поднялась вверх. У женщины лопнули связки шейных позвонков. Она умерла мгновенно. Пестиков кричал сверху:

— Снимай, эта не пляшет. Не из веселых попалась.

Зрачки десятков глаз неподвижно застыли. Лица стали каменными. Их точно покрыли штукатуркой. Незнамова потеряла сознание. Ее все пороли. Кусочек запекшейся густой крови упал на белый, крахмальный обшлаг сорочки лейтенанта. Француз скривил гладко выбритую губу, длинным, заостренным ногтем стал соскабливать красное пятно. Пятно расплылось шире. Офицер запачкал палец, раздраженно дернул маленькой головой в высоком кепи, повернулся, пошел со двора, кивнул корнету.

По улице ехали зеленые фуры, нагруженные доверху крестьянским скарбом. Чехи вывозили в город конфискованное имущество большевиков и их родственников, заподозренных в большевизме. Медвежинцы молча смотрели из окон. С другого конца села навстречу чешским фурам скрипели крестьянские телеги с ранеными итальянцами из-под Пчелина.

8. Я НАДЕЮСЬ НА ВАС

Офицерский эшелон шел без задержек. Через несколько дней он был в Новониколаевске. Новониколаевский вокзал перенес офицеров в настоящее Царство Польское. Конфедератки, белые султаны блестящих гусар, малиновые околыши, белые орлы. Звон шпор смешивался с шипящей польской речью. Польские солдаты

и офицеры держались вызывающе, чувствовали себя полновластными хозяевами.

Молодые подпоручики лихо откозыряли седоусому поляку полковнику. Полковник не ответил на приветствие.

— Скотина,— не выдержал Барановский.

Гусар, звеня шпорами, волоча кривую саблю, прошел мимо русских офицеров, внимательно оглядел их, сильно наступил Барановскому на ногу. Барановский вскипел:

— Гусар! Послушайте, гусар! — закричал он.— Что за безобразие? Чему вас учат? Вы не только не приветствуете русского офицера, но даже не трудитесь извиниться перед ним, когда наступаете ему на ногу.

Гусар остановился, обернулся к говорившему, смерил его презрительным взглядом.

— Цо? Честь? Ха, ха, ха! — круто повернулся, загремел саблей по перрону.

— Ян, Ян, чекай,— остановил он своего товарища.

Офицеры видели, как гусар насмешливыми глазами показывал на них, и до их слуха из шипящего потока фраз долетали отдельные слова.

— Руске быдло... Пся крев... Руске быдло...

Офицеры возмущались и смотрели на поляков с нескрываемой злобой. Даже всегда довольный всем Мотовилов ругался:

— Черт знает что такое! Как держит себя эта зазнавшаяся польская шляхта. И посмотрите, как одеты они, ведь на них шикарнейшее офицерское сукно.

Поезд шел. По дороге попадались польские, чешские, румынские, итальянские, сербские, французские, английские, американские эшелоны. Офицеры ворчали:

— Наприглашали всякой рвани в Россию и думают, что хорошо сделали. А эти разные французишки только пьянствуют тут, дерут в три горла да всякое барахло сбывают нам. В тылу их сколько хочешь, а на фронте ни одного не найдешь. Герои тоже, ловкачи крестьян пороть да баб насиловать.

Приехали в Омск. В столице белой Сибири эшелон задержался. Здесь должно было произойти распределение вновь произведенных по армиям и группам. Деньги почти у всех вышли, и офицеры со скучающими лицами бродили по пыльным улицам. Подпоручиков раздражало засилье иностранной военщины в городе. Особенно

много было американцев и японцев, главным образом офицеров. Японцы в мундирах цвета хаки, фуражках с красным околышем и золотой звездой вместо кокарды держались с видом снисходительных победителей. Американцы по вечерам запруживали улицы и бесцеремонно приставали с любезностями положительно ко всем женщинам, проходящим без мужчин.

Омск был переполнен русскими и иностранными войсками и беженцами. По городу носились военные автомобили под всевозможными национальными флагами. Учебные заведения были наполовину закрыты, помещения их обращены в казармы и квартиры для беженцев. В городе свободных квартир не было, а беженцы все прибывали. Беженцы ехали на лошадях, на пароходах, в поездах. Непрерывным потоком заливали они Омск и, переполнив центр города, растекались по окраинам, по окрестностям. Бежали главным образом люди имущие и все, кого связывали с белыми общие интересы,— семьи офицеров, чиновники и их семьи, духовенство, торговцы, промышленники, спекулянты, помещики и деревенские кулаки. Правительство относилось к беженцам покровительственно, но многого для них сделать, конечно, не могло, не могло даже удовлетворить всех квартирами, и люди располагались в палатках на городских площадях, бульварах, останавливались около самого Омска и жили под открытым небом. Правительственная и «независимая» черносотенская печать подняла большой шум по поводу наплыва беженцев в столицу Сибири.

— Вот смотрите, смотрите, колеблющиеся, маловерные,— великая волна народная катится с запада. Тысячи людей, побросав свои родные гнезда, разорившись, идут на восток, идут с женами, детьми. Что же заставляет их принять тяжкий крест скитальцев?— злорадно спрашивали газеты и, захлебываясь от радости, кричали:

— Благодетели всех трудящихся — большевики, кровавый призрак коммунизма — вот что гонит их.

— Пусть замолчат теперь писаки слева, что народные массы отошли от нас,— торжествовали публицисты его высокопревосходительства.

— Вот он, народ, измученный, ограбленный, идет за нами, идет, моля бога о даровании победы доблестной армии нашей. Она одна только сможет вернуть ему его родные пепелища.

И, впадая в пафос, поднимали глаза к небу, били себя в грудь кулаками:

— Как Моисей вывел из Египта народ свой и привел его в землю обетованную, так и ты, славный адмирал, спасешь людей этих, выведешь народ свой на путь счастья и благоденствия. Исторические дни. Совершается великий поход народа.

Заручившись благословением и одобрением печати, колчаковские администраторы чинили суд и расправу. Рабочий класс был весь целиком взят под подозрение. На рабочих смотрели как на предателей, готовых каждую минуту поднять знамя мятежа. Контрразведка купалась в крови запоротых и расстрелянных. Глухое недовольство поднималось в мощной толще рабочих масс. Рос и креп революционный дух пролетариата, и его ропот, часто открытый и грозный, тревожил покой диктатора. Офицеры, ездившие из эшелона со станции в город, нередко ловили на себе острые, ненавидящие взгляды засаленных блуз и курток...

За день до отъезда из Омска молодых офицеров принял сам Колчак. Прием состоялся во дворе особняка, занимаемого адмиралом на набережной Иртыша. К выстроившимся офицерам четкой, легкой походкой вышел сутуловатый, бритый господин в английском костюме, с русским Георгием на груди и адмиральскими погонами. Типичный морской волк. Морщинистое энергичное лицо, горбатый нос и угловатый, выдающийся подбородок. Офицеры застыли. Руки замерли у козырьков.

— Господа офицеры, поздравляю вас с производством,— с легким старческим пришепетыванием обратился Колчак к подпоручикам.— Надеюсь, что вы окажетесь достойными носить славный мундир русского офицера. Вы идете на фронт. Знайте, вы идете драться за воссоздание великой единой России. Я, приняв тяжелое бремя власти, еще раз повторяю вам, что не пойду по пути реакции, но не пойду и по гибельной дороге партийности. Мое дело воссоздать великую единую Россию во главе с правитель...

Адмирал закашлялся, замахал рукой.

—...с правительством по выбору народа. В этом огромном деле надеюсь на вашу помощь. Наша молодая армия сейчас находится в тяжелом положении, она отступает, не умея делать этого. Отступать, господа, труднее, чем наступать. Я надеюсь, что вы, пробывшие в

учнлнщах около года, поможете армнн своимн знаниямн, которые у вас, иесомиеино, есть. Я надеюсь на вас, господа. Постарайтесь!

Диктатор приложил руку к козырьку, легко шагая, исчез в дверях своего дома. Золотые погоны, белые кокарды, шашкн колыхиулись.

— Рады стараться, ваше высокопревосходительство!

Уставшне, холодные руки с трудом опустнлись вннз. Егерь с зелеиымн погоиами стоял у чугуииой ограды на часах. Ворота распахиулись, выпустили офицеров. Карaульный унтер-офнцер виимательно осмотрел большой замок. Егерь стоял неподвижио. Чериая решетка легла от ограды иа двор.

9. БРАТ НА БРАТА

У-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-х! — глухо и раскатнсто вздыхали тяжелые орудия. Офицеры на подводах ехалн в штаб дивизии. Подводчик Мотовилова прн каждом выстреле пугливо охал, вздыхал, крестился:

— О господн, страстн какие, как гром ровио. Снла какая, господи, господи!

Мотовнлов, улыбаясь, говорил подводчнку:

— Это иаши красиым морду бьют.

Подводчнк блнзорукимн, прищуренными, старческнми глазами смотрел вдаль.

— Кто же ее зиает, какн нашн, каки чужи. По мне все наши, все мы люди, все крещены, все русскн. И чего деремся, бог весть. Выдумалн какнх-то красных да белых н дерутся.

Мотовилов злобио смотрел на старнка:

— Сибнрь проклятая, нм все равно, им все свон. Не видалн оии еще красиых-то, вот н говорят так. Сволочь!

Офнцер с досадой плюнул, закурил папироску. Дорога была ровная, гладкая, иакатаниая после иедавнних дождей. Черной леитой прорезала оиа тучиые луга, пашин и поскотины. Урожай был хорошнй. Хлеб жиром отливал на солнце. Мотовилов смотрел иа огромные сибирские поля, вспоминал зиакомые деревии, так резко отличавшиеся от российских своими большими, светлымн избами, крытыми железом, и недоумевал, почему снбирякн, иарод зажнточный, по своему нмущественному положеиию и интересам блнзко стоящие к помещнку, собствениику, так враждебио настроены протнв белых.

Добрые сибирские лошаденки бежали ровной, быстрой рысью. Ходок, полный сена, мягко покачивал. Расслабляющая, ленивая истома овладевала седоком. Мотовилов так и не мог сосредоточиться на интересовавшем его вопросе, не находил ответа. На берегу большого круглого озера показалось село.

— Вот и Щучье,— сказал подводчик.

Мотовилов молча сосал папиросу. Въехали в село встреченные дружным лаем десятка собак всех пород и возрастов, проехали две-три улицы и остановились на площади, среди села, перед большим домом с красным флагом у крыльца. Офицеры недоумевающе переглянулись. Колпаков слегка побледнел.

— Что за черт! Да они нас к красным привезли?

В окно высунулась большая черная борода с проседью, лохматая голова и плечо с погоном полковника.

— Нет, господа офицеры, ошибаетесь. Не к красным, а к белым, да еще к каким.

Голова скрылась. Из окна слышался громкий раскатистый хохот. Подпоручики облегченно вздохнули и пошли в штаб представляться. Борода оказалась принадлежащей полковнику Мочалову, начальнику дивизии. Полковник Мочалов, человек весьма веселый, встретил вновь прибывших, как старых знакомых.

— Ха-ха-ха! — хохотал он, вставая навстречу смущенным подпоручикам.

— Так к красным, говорите, попали? Ха-ха-ха! Ах вы, колченята, колченята молодые! Сидели вы в тылу и ничего не знали. Не слышали вы, видно, что наша N-ская добровольческая дивизия дерется под красным знаменем, дерется не за что-нибудь, а за Учредительное собрание, за свободу, за революцию. Ха-ха-ха! — раскатывался полковник.

Лица у многих вытянулись от удивления, только один Иванов улыбался. Начальник дивизии смотрел на смущенные, недоумевающие лица офицеров и снова раскатывался взрывами смеха.

— Ха-ха-ха! Капитан,— обратился он к своему начальнику штаба,— посмотрите на этих юнцов. А? Какова заквасочка-то? Из молодых, да ранние. Едва красную тряпочку увидели, как уже и стоп, в тупик стали. Вот они какие, колченята-то! Это не наши веселые прапорочки, керенки, это что-то такого особенного, с перчиком.

Мочалов помолчал немного, затянулся несколько раз из короткой английской трубочки, сделался серьезным.

— Ну-с, шутки в сторону, господа. Предупреждаю вас, что наша дивизия несколько отличается от других частей и своим составом и дисциплиной. Наша дивизия состоит почти исключительно из рабочих-добровольцев N-ского завода. Знаете такой на Урале? Ну-с вот, рабочие восстали против красных потому, что некоторые комиссары принялись насаждать социализм с револьвером и нагайкой в руках, а плоды земные распределяли так, что было заметно, как пухли от них комиссарские карманы. Ну, а тут еще эсеры подлили масла в огонь со своей агитацией за Учредилку, вот наши N-цы и поднялись. Итак, господа, наши добровольцы воюют за свободу, за Учредительное собрание, поэтому в строю они держатся свободно. Дисциплину как беспрекословное подчинение единой воле начальника они признают только в бою. Вне боя они с вами, как с товарищами, как с братьями, будут обращаться. Не обижайтесь на это. Зато уж будьте покойны: в бою они вас не выдадут, за шиворот к красным не потащат.

— Капитан,— снова обратился Мочалов к начальнику штаба,— всех их в первый N-ский полк.

Капитан молча наклонил голову.

В тот же день офицеры явились в полк. Солдаты встретили молодых офицеров тепло и радушно. Сразу же окружили их тесным кольцом. Начались расспросы о том, как идут дела в тылу, скоро ли придут на помощь союзники. На свои силы как будто не надеялись. Жаловались, что другие части, особенно из мобилизованных сибиряков, всегда подводят в бою, всегда приходится из-за них отступать.

— Мы деремся, деремся, наступаем, гоним красных,— говорил рыжебородый пожилой солдат,— а смотришь, сибиряки паршивые побежали у тебя на фланге, ну, приходится и нам отступать.

— Командиров у нас вот тоже мало,— начал молодой унтер-офицер.— Чего же у нас ротами фельдфебеля да ундера командуют. А что ундер может? Все уже не то, что настоящий офицер. Образованность много значит. Мы вот теперь вам рады, как братьям родным.

Бородатые, усатые, добродушные лица улыбались,

утвердительно кивали головами. Рыжебородый добавил:

— Что верно, то верно. Офицера нам нужны. Потому — специальность. Скажем, как мастер на заводе или фабрике, так и офицер в бою.

Офицеры чувствовали себя легко среди тесной толпы солдат. Всем им казалось, что они с этими людьми знакомы уже давно. Мотовилов размяк. Долго и ласково смотрел он на рыжебородого, потом положил ему руку на плечо, спросил:

— А ну, скажи, дядя, ты ведь женат, наверно, и детишки есть?

Рыжебородый удивленно немного приподнял брови:

— Как же, и жена и трое ребят есть. Вместе воюем. Жена во втором разряде ездит.

— Да ну? — удивился офицер.

— Вы что, господин поручик, удивляетесь? — вмешался унтер-офицер.— У нас все почти что так на войну выехали, со всем семейством. Как в бою, так врозь, а как в резерв отойдем, так и вместе. Тут у нас и блины и оладьи пойдут. И бельишко помоют бабы, и починят. У нас в дивизии насчет этого хорошо. У нас как одна семья все живут. Жалко только — мало уж нас, старых N-цев-то, осталось.

— Ну, а из-за чего воевать-то пошли?

Лица оживились. Глаза вспыхнули гневом. Заговорили все сразу. Шумно, перебивая друг друга, стали доказывать, что не воевать с красными нельзя, что жизнь при них невозможна. Говорили горячо, бестолково. Офицеры молча слушали, улыбались. Из всего бурного потока слов они поняли ясно и определенно, что N-цы знают, за что воюют, что воевать вместе с ними хорошо, безопасно. Разошлись N-цы поздно вечером возбужденные, с растревоженными воспоминаниями о доме, о родном заводе, где родились и выросли, откуда пришлось уйти и куда так сильно тянуло.

Молодой, безусый пермяк Фома, вестовой подпоручика Барановского, ждал своего командира у костра. Барановский пришел веселый, оживленный.

— Ну, как живем, Фомушка? — громко крикнул он и сел к костру.

Фома встал, взял под козырек.

— Да садись, садись, чего там,— сказал офицер.

— Ничего, господин поручик,— улыбаясь, сел Фома.— Вот картошки вам сварил. Не хотите ли покушать.

Вестовой поставнл перед Бараиовским котелок дымящегося, ароматиого картофеля.

— Молодец, Фомушка. Ну давай, брат, вместе. Бери ложку!

Фома из вежливости было отказался, потом стал усердио помогать своему комаидиру. Котелок быстро опустел.

— Эх, чайку бы теперь,— вслух подумал Бараиовский. Фома засмеялся.

— Чай готов, господин поручик!

— Ну, да ты, брат, настоящее сокровище, а ие вестовой.

— Вот я и ягодки к чайку иабрал,— добавил Фома, подавая офицеру большую кружку костяиикн.

После картофеля жажда была сильиая, н чай, подкислеиный ягодой, казался особеино вкусным. Бараиовский медленио тяиул из кружки горячую влагу и прнстальио смотрел в потухающий костер. Вестовой заметил взгляд комаидира, повернулся к костру, посмотрел на тухнущие головни.

— Поглядите, господин поручик, как иа бой похоже.

— Что, Фомушка, на бой похоже? — не поиял офицер.

— Да вот костер этот. Ночью эдак бывает. Как угольки, горят выстрелы и, как угольки, тухнут.

Офицер посмотрел в глаза солдату.

— Ты доброволец, Фомушка?

— Конечио, доброволец, господии поручик.

— Почему, конечио, Фомушка?

— Да как же, у нас весь завод пошел протнв красных. Потому они декались иад нами, как зверн.

— Как декались?

— Очень просто, грабеж полный производилн. Скотииу отбнралн, хлеб, сеио, ульи разбивали да мед ие только лопалн в три горла, а н телеги свои им смазывали. Разве это не деканье?

Фома заговорил быстро, сердито посматрнвая на Барановского, как бы досадуя иа то, что офнцер до сей поры ие знает такнх простых вещей.

— Так ты нз-за этого и пошел добровольцем?

— А то как же, вот и пошел. Разве можно им, разбойиикам, власть давать, оии со свету сживут. А братто у меня комиссар,— неожидаиио вспоминл вестовой.— Комиссаром в Петрограде служит, как узнал ои, что я

с белыми ушел, так домой письмо прислал, что Фома, дескать мол, не брат мне больше, а враг игнутренний.

Барановский вспомнил, что у него на Волге остался семнадцатилетний брат и мать, что брата, наверное, мобилизовали и что, возможно, он встретится с ним в бою.

— Фомушка, а ты не боишься с братом в бою встретиться?

Фома добродушно улыбнулся.

— Чего бояться, господин поручик? Какой он мне брат? Враг он, враг и есть, и не заметишь, как убьешь.

Барановский вздрогнул. В памяти всплыл образ высокого мальчика, нежного, ласкового брата Коли. «Враги?.. Нет, никогда Коля ему не будет врагом. Это немыслимо».

— Фомушка, а у меня тоже есть брат у красных.

— Ну вот, оба мы одинаковые. Значит, брат на брата,— равнодушно как-то сказал Фома и позевнул.

— Спать надо, господин поручик,— добавил он совсем уже сонным голосом.

Барановский покорно лег на приготовленную постель из сена. Фома поместился рядом. Лес тихо шумел верхушками. Солдаты давно уже спали. На дальнем конце поляны, у груды тухнущих углей, стоял дневальный. Серая шинель его, темная сзади и на плечах, спереди была облита багровым жаром. Тонкой, кровавой паутиной поблескивали штыки винтовок, составленных в козлы. Ночь была темная и холодная. Облака черными, мохнатыми клубами плыли по небу. В голове офицера роились и медленно, как тяжелые тучи, тянулись мрачные мысли. Он никак не мог помириться с тем, что нежный брат Коля — враг ему, что, может быть, завтра он с перекошенным от злобы лицом будет пускать в него пулю за пулей. Сырой холод сибирской ночи забирался под шинель, ледяными, влажными лапами хватался за грудь. Барановскому не спалось.

— Фома,— толкнул он вестового,— а, может быть, мы завтра в бою с братьями встретимся?

Фома уже спал и долго не мог понять вопроса, мычал в ответ и сонно переспрашивал:

— А? Что? Как? — пока наконец понял и ответил спокойно: — Все может быть.

Багрово-красная полоса света показалась на востоке, когда Барановский стал тяжело забываться. Засыпая, он видел в кровавом тумане рассвета искаженное

злобой лицо брата Коли, и мысль, неясная и смутная, как сумрак зари, бродила в мозгу:

«Враги. Братья — враги! Брат на брата!»

10. ДОЛОЙ ВОЙНУ

Утром полк встал на позицию. Подпоручик Барановский со своей ротой был поставлен для охранения правого фланга полка в небольшом лесочке. Часов в десять утра, когда солнце было уже высоко, красные повели наступление по всему участку N-ской дивизии. Наступали медленно, нерешительно, осторожно нащупывали противника, старались обнаружить его слабые места. С их стороны работала легкая батарея, посылавшая редкие очереди шрапнели. Наступающие цепи были далеко, стреляли редко, перебегали целыми отделениями и взводами. Во время их перебежек белые усиливали огонь, и пулеметы выпускали небольшие очереди. Барановский сидел в лесу около небольшого пня и чутко прислушивался к начинавшейся музыке боя. Легкий ветерок тянул вдоль фронта, и свист пуль от этого был особенно мелодичен. Он совершенно не походил на обычный визгливый звук полета пули. Пули летели редко, и похоже было на то, что какие-то маленькие птички с нежным посвистыванием пролетают над головой. Иногда они летели поодиночке, иногда быстро проносились целыми стайками. Барановский слушал и улыбался, потом вдруг сам заметил свою улыбку и подумал: «Вот она, смерть-то, какой красивой, певучей иногда бывает. Так, пожалуй, и умрешь смеясь. Залетит эдакая певунья в висок, и крышка. Останется от жизни человека только несколько строк в очередном номере газеты, что, мол, вот подпоручик такой-то пал в бою тогда-то, под деревней такой-то, и все».

Цепи наступающих медленно, но упорно приближались. Перестрелка усиливалась. Часто и нервно стали строчить пулеметы. Заработала белая артиллерия. Снаряды с визгом и воем летели через головы пехоты, глухо лопались над цепями противника. Красная батарея начала нащупывать белую. Белая стала отвечать. Завязалась артиллерийская дуэль. Пехота смеялась. Солдаты, улыбаясь, говорили:

— Слава те господи, артиллерия с артиллерией сце-

пилась. Пускай друг другу ребра ломают, только бы нас не шевелили.

Мотовилов ходил сзади цепи своей роты и считал разрывы снарядов.

— Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах!— стреляла белая.

Мотовилов загибал четыре пальца и прислушивался. Через некоторый промежуток времени слышался характерный звук разрывов:

— Пуф! Пуф! Пуф! Пуф!

Офицер разгибал все четыре пальца и, смеясь, кричал:

— Слышали, ребята, как наши-то наворачивают? Все четыре лопнули. Хороши английские подарочки. Это тебе не социалистические, по восемь часов деланные.

Мотовилов был почему-то убежден, что в Советской России все работают только восемь часов в день, он думал даже, что и красные части дежурят в первой линии не более восьми часов в сутки.

— Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах! — отвечала красная.

Мотовилов настораживался.

— Ага, тоже четыре. А ну-ка, сколько лопнет?

— Пуф-внуж! Пуф-внуж! П! П!— падали снаряды красных.

— Эге, скудно, товарищи,— орал офицер,— только два. Скудно! Скудно!

— Бах! Бах! Бах! Бах!— неожиданно слева часто заговорила вторая белая, и тут же правее, позади нее ухнуло первое орудие тяжелой мортирной.

— Б-у-у-у-х! Буль, буль, буль! — басисто булькая и визжа, пролетел шестидюймовый, глухо рявкнув, лопнул на том берегу реки, поднял облака черного дыма и пыли. Красная батарея замолчала. N-цы кричали:

— Красным жара! Не по вкусу гостинцы-то пришлись?

Красная батарея, нащупанная противником, занимала новую позицию. Медленно, одиночными перебежками ползли вперед красные цепи. N-цы открыли частый огонь. Пулеметы трещали без умолку. Барановский сидел у пня, смотрел в спину дремавшего перед ним стрелка. Ему казалось, что стоит он на большом городском дворе, кругом на домах сидят кровельщики и со всей силой бьют молотками по раскаленному полуденным солнцем железу крыш.

— Трах! Грах! Грох! Грох!— гремели кровельщики. Воздух делался нестерпимо горячим, душным. Тело нервно вздрагивало. Руки покрывались липкой испариной. Во рту сохло. Сердце пугливо, неровными скачками колотилось в груди. Барановский сделал несколько глотков из фляжки. Вода была теплая, пахла болотом. Офицер поморщился. Стрелки спокойно лежали в цепи. Одни курили, повернувшись вверх животом, другие сладко дремали, положив головы на винтовки, некоторые совсем спали, некоторые вели между собой тихие беседы. Рыжебородый, пуская колечки махорки, говорил молодому отделенному:

— Вот, что хошь делай, Ваня, хошь трусом меня называй, хошь как, а не могу я перед боем успокоиться. Ведь не впервой уж, кажись бы, ан нет. Сердце замирает, екает. Жена чего-то мерещится, детишки. Все думаю — убьет. Ох, боюсь, Ваня. Пожить еще охота.

Отделенный позевывал:

— Ничаво, Петрович, это только до первого выстрела, а там все забудешь.

— Что верно, то верно, парень. Как зашумит, зачертит, это, вокруг тебя, так все забудешь. В бою я ни о чем не думаю. Правда, правда! Вот только намеднись под Зюзиным, как бежали мы в атаку, так мальчонка их-ний попался на поле, доброволец, шибко раненый. Лежит он этак и жалостливо стонет. А на глазах слезы. Ох, маленько у меня сердце захолонуло. Сын ведь он мне, думаю. Ах, совсем ведь мальчонка был. Помер, наверно.

Рыжебородый тяжело вздохнул. Рота бездействовала, была укрыта от взоров противника. Смутное предчувствие близкого боя томило молодого офицера. Безотчетная тоска сжимала грудь, колола сердце. Леденящий холодок пробегал по спине. Нервы натянулись. День был облачный, серенький, прохладный, а подпоручику казалось, что погода невыносимо жаркая и день душный, как перед грозой. Неожиданно появился Фома с котелком горячего супа:

— Господин поручик, обедать пора. До нас еще не скоро дело дойдет, подзаправиться не мешает.

Фома стоял перед офицером с котелком и куском хлеба в руках, смотрел на него живыми узенькими глазами. Напряженность одиночества разорвалась. Спокойствие вестового моментально передалось офицеру. Плотная, крепкая фигура вестового как бы говорила офицеру,

что бояться, в сущности нечего, что жить нужно всегда и везде не унывая, что всякие страхи и печаль только причиняют лишние страдания. Барановскому стало немного стыдно, что он малодушничал, пока сидел одии.

— А ну, давай, Фомушка, похлебаем супчику. Спасибо тебе, родной, за заботу твою.

Вериулось спокойствие, появился аппетит. Суп казался очень вкусным. Подъехал ордииарец с приказанием от командира батальоиа. Офицер быстро прочел небольшой клочок бумаги, молча кивнул головой. Солдаты в цепи беспокойно завозились. Спавшие проснулись. С тревогой смотрели на командира. Цепь угадывала, что приказание получено боевое. Толстый белобрысый взводный первого взвода, доброволец Благодатнов, судорожно позевывал. Нервно тряс головой.

— Ах ты, господи, когда это кончится? В германску три года отбрякал и тут опять другой год. А ведь есть, которы сидят в тылу и пороха не нюхали. А-а-а бр!— взводный еще раз позевнул.

— Бррр! А-а-а! Скучна!

— Сейчас иаступать, видио, пойдем?— спросил Благатнова молодой сибиряк, несколько дней только служивший в N-ском полку.

— Н-да, а-а-а, повидимости што так. Фу ты, провалиться бы тебе, весь рот зевота разодрала!

Взводный утер рукавом заслезившиеся глаза.

— Значит, дома побываю. Наше село-то вон видать. Всего десять верст.

— Побываешь, коли красных вышибем.

Стрелки стали вставать из окопчиков, мочиться. Мочилась почти вся рота. Барановский торопил:

— Скорей, скорей, ребята, оправляйтесь! Время не ждет.

Рота змейкой поползла на опушку. Позиция Барановским была выбрана удачно — наступающие попали под жестокий фланговый огонь его роты. Красные заколебались, цепи их немного смешались, малодушные побежали назад. Электрический ток пронесся по цепи белых, и вся она, без команды, движимая стихийным порывом, вскочила, заревела:

— Ура-а-а!

Красные молча поднялись и побежали. Сейчас же перед бегущими появились на лошадях комаидиры, комиссары. Блеснули револьверы. Цепь остаиовилась, поверну-

лась к атакующим. Белые не добежали до красных шагов тридцать. Остановились. Дышали тяжело. Колючий забор штыков застыл. Бледные щеки, небритые подбородки. Холодный пот капал на гимнастерки. Глаза, удивленные и тревожные, хватали противника, прыгали, метались, ждали удара. Через минуту должно было случиться огромное, важное. Нужно было только сдвинуться с мертвой точки. Отодрать от земли прилипшие свинцовые ноги. Кинуться вперед. В горле колючим комком вязли храпящие вздохи. Барановскому казалось, что он слышит глухой стук сердец и шум крови, быстрыми струйками бегущей под кожей.

«Сердца — это машины,— думал офицер.— Вот они стучат: тук-тук-тук-тук, и кровь, как вода по трубам, послушно бежит по телу. Вот сейчас штыки вонзятся в живое мясо,— молниями метались мысли Барановского,— и, как водопроводные трубы, лопнут жилы, потоками хлынет на траву горячая красная кровь».

Секунды. Молчание. Неподвижность.

— Товарищи, вперед! Ура!— рыжая лошадь комиссара бросилась, уколотая шпорами.

Острый колющий забор рассыпался. Белые дрогнули, побежали. Барановский бежал со своей ротой и удивлялся своему спокойствию. Бежал он ровно, не торопясь, как на ученье, с поразительной ясностью видел напряженные лица солдат и офицеров. А когда мимо него, сопя, задыхаясь и путаясь в длинной шашке, пробежал сломя голову толстый капитан, командир батальона, то ему даже стало смешно. Сзади хлестало дружно «ура» красных и крики:

— Кавалерию вперед! Белые банды бегут! Кавалерию вперед!

Тысячи ног тяжело топали по полю. Красные остановились. И сейчас же воздух наполнился резким свистом и жужжанием пуль. Некоторые из бегущих стали торопливо, ничком, падать на землю. Валяясь, стонали, кричали:

— Братцы, ранило! Не оставьте! Санитар! Санитар!

Раненых подбирать было некогда. Командиры вскочили на лошадей:

— Ст-о-о-ой! Ст-о-о-ой! Ст-о-о-ой!

Нагайки. Сочно, со свистом рассыпались шлепки ударов. По лицам, по плечам. Бегущие остановились, залегли. Вспыхнула перестрелка. Стреляли, дыша жаждой

уничтожения дрогнувшего врага. Отвечали, мстя за унизительное бегство. Раненые, брошенные дорогой, попали под перекрестный огонь. На них никто не обращал внимания. Они лежали среди поля, отчаянно, но тщетно моля о помощи, глухо стеная от боли. Некоторые из них пытались выползти из сферы огня, но пули быстро находили их, и они затихали, спокойно вытягивались на мягкой отаве... Другие старались спрятать хоть голову за бугорок, беспокойно шарили вокруг себя, ища закрытия, и вдруг перевертывались на спину, широко раскидывали руки, делались неподвижными. С обеих сторон заработала артиллерия. Поток расплавленного, огненного металла залил поле. Тяжело дыша, задыхаясь от напряжения и усталости, стрелки зарывались в землю. Лица запылились, стали совсем черными, пот испестрил их грязными, длинными полосами. Поле сражения стало похоже на огромный, грохочущий, огнеликий завод с тысячами черных рабочих, борющихся со жгучей массой боя, пытающихся овладеть ей, отлить ее в свою форму, выковать из нее оружие победы. С визгом и воем налетали на цель снаряды и то рвались в воздухе, осыпая людей сотнями пуль, то зарывались в землю и лопались там, разлетаясь на мелкие осколки, сметали все на своем пути, рвали в клочья живое человеческое мясо, дробили кости. Барановский лежал сзади своей роты, крепко стиснув зубы, широко раскрыв глаза. Все тело его дрожало мелкой нервной дрожью, протестуя, крича всеми мускулами о том, что оно хочет еще жить, что ему противно это поле, где смерть гуляет так свободно.

— Виужжж! П! П! П! Виууу! — лопалась шрапнель.

— Сиу! Сиу! Сиу! Сиу! — сплошной массой летели пулеметные пули.

— Дзиу! Дзиу! Диу! Диу! — прорезали их свист отдельные винтовочные. Многоликое, мечущееся, огнедышащее чудище носилось по цепи, скрежетало злобно зубами, свистело, визжало, гремело. С шипением, храпом и ревом набрасывалось на людей, острыми стальными когтями рвало их беззащитные тела. Одному запустило стальной коготь в грудь — человек схватился за рану, низко уронил голову, изо рта у него полилась кровавая пена; другого рвануло за бок, распороло огромную зияющую дыру; кого-то стукнуло всем кулаком по голове, и от нее осталась сплюснутая красная масса; кому-то тя-

жело наступило на ноги, хрустнули кости, лопнули жилы, и кровь ручейками потекла на траву. Огромный, огненный, желтый глаз блеснул рядом с офицером, рявкнула страшная пасть, впилась стрелку в живот железом зубов, распорола его и, обливая подпоручика кровью, засыпая землей, бросила на него труп. Барановский поспешно столкнул с себя убитого, отполз в сторону, посмотрел назад. По всему лугу от первой линии раненые шли, хромая, одни или поддерживаемые товарищами, лежали на носилках торопливо идущих санитаров. За ними по траве тянулись красные полосы и пятна крови, и их зеленые гимнастерки и штаны пестрили яркими кровавыми заплатами. Стоны изуродованных людей жалобными нотками вливались в шум сражения, больными, режущими аккордами звенели на туго натянутых струнах нервов. Рыча, ревя, воя, грохоча, носилось чудище по первой линии. Иногда оно неожиданно широко размахивалось своей железной лапой, притыкало к земле раненого, ползущего далеко за цепью, или валило санитаров с носилками, обращая их в одну секунду в мертвую кучу костей и мяса. Люди с напряженными, серьезными лицами рылись в земле, стреляли, бегали, подтаскивали патроны, переползали из одного окопчика в другой. Барановскому представлялось, что все они делают какую-то огромную и важную работу, трудятся в поте лица, до изнеможения. Офицер думал, что так и должно быть, что нужно именно так работать, чтобы спасти себя от неумолимого бездушного чудовища. Смерть не обращала внимания на копошащихся в земле людей, давила их, как муравьев, и с безумством расточителя била драгоценные хрупкие чаши, рвала живые человеческие жилы, расплескивала по полю красное вино.

Мысли стали путаться в голове молодого офицера, под крышкой черепа десяток кузнецов стучал молотками, кроваво-серый туман застилал глаза. Минутами он не видел ни зеленого луга, на котором шел бой, ни своей роты. При каждом выстреле, разрыве снаряда его тело вздрагивало, трепетало, как струна чуткого музыкального инструмента. Добровольцы дрались со злобным упорством. Энергичный, горячий натиск красных вызвал ответный сплоченный отпор.

— Ни черта, они не собьют нас,— ворчал Благодатнов.

— Не на снбиряков иапоролись. Ошибутся товарищн.

Молодому рябому Кулагнну прострелнло плечо. Передавая патроиы и виитовку соседу по окопчику, раиеиый говорнл:

— Ну, смотрн, Пнвоваров, чтобы я из лазарета прямо домой попал. Не подгадь, дружок, набей за меня морду товарищам.

Пнвоваров, спеша, собирал патроны.

— Счастливый ты, в лазарет пойдешь, отдохнешь. Эх, скорее бы кончить канитель эту.

— Конечно, кончить иадо. Подиажмите, и готово дело. Наступать надо.

Белая цепь раскалеииой, искрящейся стальиой полосой жгла волны красных. Бой длился весь день. Огонь стал затихать, сделался редким, вялым только к вечеру. Стальная полоса иачала остывать, изредка вспыхивала кое-где острыми язычкамн огия. Остывая, твердела еще больше. Красные, поняв, что попали на стойкую, снльную часть, перенеслн свое вниманиe на соседиюю Снбирскую дивизию, состоящую сплошь из мобилизованной молодежи. Необстрелянные солдаты стреляли плохо, нерешительно, резко, почтн не прнчиняя вреда наступающим. Высокий комиссар в черной кожаной куртке подиялся в цепи, стал кричать сибирякам:

— Товарищн, перестаиьте стрелять, что мы друг друга бить будем? Разве мы не братья родиые? Разве нам иитересиа эта бойня? За кого вы деретесь, товарищи? За тех, что стоят сзади вас с нагайкамн?

Снбиряки прекратили огонь, подняли головы, стали прислушиваться.

— Часто начинай! Часто начннай! — нстеричио крнчал какой-то ротный командир.

Рота молчала. Офицер выхватил револьвер, начал в упор расстреливать своих стрелков. Солдат иа левом флаиге повериулся в сторону комаидира, прицелился н убил его наповал.

— Товарищи, иднте к нам. Довольно крови! Тащите своих золотопогоииков сюда, мы им найдем место.

Комиссар шел свободио к белым, за ним медленно подтягивалась красная цепь. Молоденький, черноусый прапорщик приложил к плечу длниный маузер и выстрелил. Вся цепь обернулась на короткий хлопок. Пуля разорвала рукав тужуркн комиссара. Снбирякн, как одии,

вскочили, подхватили под руки офицеров, пошли навстречу красным. Молоденький прапорщик валялся вверх лицом, дрыгал ногами, гимнастерка на проколотой груди у него сразу намокла, покраснела. Началось братание. Безудержная радость закружила головы. Войны не было. Вопрос был решен легко и быстро. Врагов не было. Не было смерти. Одним порывом, одним ударом жизнь взяла верх, сотни людей вспыхнули одним желанием. Глаза горели. Огромная зеленая толпа, смеясь, обнялась, возбужденная, радостная хлынула в сторону N-цев.

— Товарищи, к нам! Довольно крови! Долой войну!

Острая, дрожащая злоба угрюмым молчанием накрыла окопы N-цев. Пулеметчики застыли у пулеметов. Новые друзья густой толпой шли к N-цам. Сухой, резкий крик команды внезапно прорезал молчание:

— Первый пулемет, огонь!

И весь полк, не дожидаясь своих командиров, по этой команде открыл яростную стрельбу пачками. Сразу затрещали все пулеметы, и свинец ручьями полился на людей, шедших к таким же людям с братским приветом мира. Испуганно шарахнулась назад толпа, люди в животном страхе побежали, давя друг друга, накалываясь на свои же штыки, падая, путаясь в кучах раненых и убитых. Огненным потоком лился свинец, и под его губительными струями покорно и беспомощно ложились десятки тел, и люди в страшных муках судорожно корчились и кричали дикими голосами. Барановский, ошеломленный расстрелом толпы солдат, шедшей с мирными предложениями, совершенно растерялся и стоял сзади своей роты, не зная, что делать. В глубине его души кто-то настойчиво твердил, что это — подлость, зверство, что так делать было нечестно, и вместе с тем кто-то другой ехидно спрашивал:

— Ну, хорошо, их не расстреляли бы? Тогда что с вами они, господа офицерики, сделали бы? А?

Офицер не находил ответа и нервно тер себе рукой лоб. Бой затих совершенно. Братавшиеся были почти все перебиты. Несколько человек попало в плен, и только небольшая кучка успела отойти в сторону своих вторых линий. Среди захваченных в плен оказался командир красной роты, отрекомендовавшийся Мотовилову бывшим царским офицером. Мотовилов с усмешкой спрашивал пленного:

— Ну и что же этим вы хотите сказать? Вы думаете, что это оправдывает вас, говорит в вашу пользу?

— Я полагаю, вы понимаете, что я не мог не служить в Красной Армии, так как был мобилизован, как военный специалист,— защищался красный командир.

Мотовилов закурил папироску и, не торопясь отстегнув крышку кобуры, вынул наган.

— Если вы офицер, тем хуже для вас, вы совершили величайшую подлость, пойдя против своих же братьев-офицеров, вы своими знаниями способствовали созданию Красной Армии. Этого мы вам никогда не простим и такую сволочь будем уничтожать беспощадно.

Брови у пленного дернулись, черными изогнутыми жгутами мелькнули на лбу. Рот раскрылся. Беспомощно махнули руки. Бледное пятно лица упало на траву. В волосах загорелась кровавая звездочка. Мотовилов опустил дымящийся револьвер. Остальные пленные, раздетые донага, с дрожью жались друг к другу. Только два китайца бесстрастно смотрели куда-то выше головы офицера.

— Ты кто? — теплый ствол нагана ткнулся в желтую грудь.

— Наша, советский ходя.

— Сколько получаешь?

— Путунде. Не понимай,— китаец тряс черной щетиной жестких волос.

— Сколько офицеров расстрелял, сволочь?

— Путунде. Советский ходя, путунде!

Мотовилов широко размахнулся, ударил китайца по лицу. Быстро обернулся к другому, ткнул в зубы. Глаза китайцев снова стали бесстрастными, лица окаменели. У одного из носа капала кровь.

— Ну что, достукались, сибирячки?

Мотовилов злорадно разглядывал неудачных перебежчиков.

— Сейчас я вас расстреляю.

Пленные покачнулись, побледнели.

— Я не сибиряк, господин офицер. Я давно в Красной Армии. Меня не надо расстреливать. Я хочу в плен!

Голый человек с рыжими усами сделал шаг вперед.

— Я тебя не спрашиваю, хочешь ты или нет. Расстреляю, и все.

— Не имеете права: я пленный.

— Взводный второго взвода!

— Я!

Пожилой унтер-офицер подошел к подпоручику.

— Покажи вот этой сволочи, какие она имеет права.

— Всех, господин поручик, сразу? — угадывая намерения командира, спросил взводный.

— Ясно, как апельсин, всех!

Семь стрелков стали против пленных. Щелкнули затворы. Стукнул короткий залп. Один китаец присел и захохотал. Его рука попала в мозги убитого товарища. Сумасшедший поднял на ладони серо-красный сгусток, вывалившийся из разбитой головы. Кровь текла у него по пальцам, капала на траву. Рядом цвели яркими красными маками расколотые черепа красноармейцев. Китаец покачивался всем туловищем вправо и влево и тихо, не опуская руки с куском мозга, хихикал:

— Хи-хи-хи! Хи-хи-хи!

— Вот гадина, еще хитрит, прячется, приседает тутока! — Взводный резким, прямым ударом приклада разбил узкий лоб под щетиной жестких, иссиня-черных волос. Помешавшийся опрокинулся навзничь, вытянулся, лицо у него залилось кровью.

11. СЫН НА ОТЦА

Высокий комиссар в кожаной куртке, уцелевший от пуль N-цев, сидел за столом в большой избе и допрашивал пленного офицера.

— Ваша фамилия и чин?

— Подпоручик Бритоусов.

— Вы какой дивизии?

— 4-й Уфимской стрелковой, генерала Корнилова.

— Полка?

— 15-го стрелкового Михайловского.

Комиссар обернулся к своему секретарю.

— Товарищ Климов, дайте мне именные списки 4-й дивизии.

Секретарь подал толстую тетрадь. Комиссар стал быстро перелистывать.

— 13-й Уфимский... 14-й Уфимский... 15-й Михайловский, так, есть. Командир полка полковник Егоров... Второй батальон — поручик Ситников... Третий батальон — капитан Каргашин... Вы какого батальона-то?

Офицер стоял бледный. Ноги у него незаметно тряс-

лись мелкой, нервной дрожью, спина и плечи под английским френчем с вырванными погонами согнулись. Он был поражен осведомленностью красных.

— Я второй роты, первого...

— Ага, вот есть, Бритоусов, говорите?

— Да.

— Совершенно верно, Бритоусов Евгений Николаевич, командир второй роты, подпоручик. Правильно.

Офицер качнулся всем телом, оперся рукой о стол, блестящим остановившимся взглядом уставился на комиссара.

— Послушайте,— губы у него пересохли,— послушайте, к чему вся эта комедия, весь этот допрос? Я давно уже приготовился, расстреливайте. Только об одном прошу, если в вас есть хоть капля сострадания к человеку, которого судьба случайно сделала вашим врагом, не мучьте ради бога. Убивайте скорее.

Комиссар засмеялся. Бритоусов из белого стал черным.

— Ну что же, смейтесь, я в ваших руках. Мучьте, истязайте, большего от вас ждать, конечно, не приходится. Наслаждайтесь муками вашей жертвы.

Комиссар перестал улыбаться.

— Подождите, что вы разнервничались, чего вы выдумываете? Я вовсе не намерен вас расстреливать.

— Наконец, это подло. Одной рукой подписывать смертный приговор человеку, а другой делать любезные жесты. Это недостойно человека.

Пленному не хватало воздуха. Молов встал, большие черные усы с опущенными концами делали его сердитым и суровым.

— Ну, прошу немного повежливее. Сначала узнайте все как следует, а потом уж брюзжите, хнычьте. Не меряйте, господин белогвардеец, всех на свой аршин. Не думайте, пожалуйста, что если вы расстреливаете всех коммунистов, то и мы делаем то же с офицерами. Вот вы теперь имеете возможность на собственной шкуре убедиться, что это не так. Вы будете отправлены в тыл. Не скрою, вас пропустят через фильтр, через чистилище — Особый отдел, и если не будет установлено, что ваши лапки запачканы кровью, что вы принимали участие в карательных экспедициях, расстрелах, то вы получите все права гражданина Советской Республики, даже больше, вы будете приняты на службу в Красную

Армию, где, если захотите, сможете отдать долг рабочим и крестьянам, искупить свою вину перед трудящимися.

Офицер не верил ни одному слову комиссара. Он овладел собой, стоял с гордым, надменным лицом.

— Вы кончили?

— Кончил,— ответил Молов и сел на стул.

— Кончайте же как следует, прикажите вашим китайцам поставить меня поскорее к стенке.

Молов засмеялся.

— Ну, вы, видимо, господин хороший, не в своем уме маленько. Вижу, вас не убедишь. Сейчас я вас отправлю в штаб дивизии. Климов, скажи, чтобы нарядили двух конвоиров.

Секретарь вышел.

— Теперь последний вопрос. Скажите, что бы вы сделали, со мной, если бы я вот, комиссар полка, токарь петроградский, Василий Молов, коммунист, попал к вам?

Бритоусов злобно щурил глаза.

— Сделали бы то же, что вы делаете со всеми офицерами, конечно, только звезды бы не стали вам вырезать на руках, как вы нам погоны. Гвоздей бы тоже не стали вгонять в плечи.

Молов весело возразил:

— Это хорошо, если бы со мной сделали то же, что я с вами.

Конвой вошел, и офицера увели. Молов взглянул на часы и стал стелить себе постель. Спать хотелось сильно.

За селом черным стальным канатом протянулась по зеленому лугу красная цепь. В полуверсте от нее, на самом берегу Тобола, лежали полевые караулы. Густой туман стоял над рекой, сырой, колеблющейся стеной разделял врагов. У красных и у белых было темно и тихо в первой линии. Лишь далеко, в тылу, у тех и других пылали яркие костры. Части, стоящие в резерве, грелись у огня, кипятили чай. Семеро красноармейцев, полевой караул Минского полка, шепотом разговаривали, сидя в небольшой лощинке. Спирька Хлебников, шестнадцатилетний доброволец, повернувшись спиной к противнику и накрыв голову шинелью, сосал цигарку.

— Ты, черт озорной, докуришься, влепят тебе пулю в харю.

Лицо Спирьки, худое, грязное, с маленькими синими глазами, ставшими черными в погемках, покрывалось

медно-красным налетом. Тонкий острый нос покраснел. Цигарка шипела подмоченным табаком.

— Ничаво. Ен не увидит. Я под шинелкой.

— Смотри, дьявол, из-за тебя всем попадет.

— Ничаво. Колчака таперь спит, ему за день-то ого-го как насыпали, сколь верст рысью прогнали.

— Похоже, не устоять Колчаку?

Длинная шинель, рваные сапоги, фуражка, смятая блином, повернулись на спину. Дым махорки дразнил весь караул. Спирька самоуверенно мотнул головой. С конца цигарки посыпались искры.

— Знамо дело, не устоять. Кишка тонка у буржуя, вот што.

— Деникин вот только здорово прет.

— Ни черта, и Деникина спихнем в Черное море чай пить.

Серая, мочальная борода устало ткнулась в колени.

— Домой бы, товарищи, скорея.

Цигарка пыхнула в бороду запахом горелой бумаги и табаку, потухла.

— Домой, мать твою за ногу. Ступай садись на крылец, встречай гостей. Придут к тебе стары господа, по головке погладят.

Спирька отхаркнулся, плюнул.

— Ты что, борода, землицу-то помещичью небось прибрал к рукам?

— Я што, мы всем миром. Без земли нельзя, пропадешь.

— Всем миром. Ну и не рыпайся, коли без земли, говоришь, пропадем. Колчак али Деникин тоже за землю и слободу воюют, только для себя, а не для нас. Ну, а нам таперя доводится самим за себя стоять, вот что.

Черные, засаленные брюки в высоких сапогах и лоснящаяся от грязи кепка завозились около Спирьки.

— Мы Колчака видали. Перво-наперво, как пожаловал он к нам, так семьсот человек прямо на месте, в мастерских, к стенке поставил. Пускай кто хочет с ним живет, милуется, а мы не согласны.

Штыки зацепились, стукнули.

— Эй, товарищи, легше с винтовками-то.

— Для чего же было революцию подымать?

— Раз уж взялись поставить свою власть, так и крышка, вой, пока из последнего буржуя душу вынешь.

Борода тяжело вздохнула, потянулась:

— Шестой год, товарищи, воюю.

— Хошь шесть, хошь двадцать шесть, а войну кончить нельзя. Кончим, когда всех господ прикончим. Поторопишься, хуже будет. Опять, идолы, явятся, на шею сядут. Тут хоть за себя воюем, штобы останный раз, значит, и крышка. Больше штоб никаких войнов не было.

Борода уткнулась в землю, засопела.

— Это правильно, они завладеют властью, опять с германцем али с кем грызться начнут.

— Так и знай.

— Слюни, товарищи, неча распускать. Буржуев, попов, генералов, сухопутных адмиралов надо поскорее в бутылку загнать. Тут, товарищи, дело ясное: или они нас, или мы их — мира быть не может. Волк с овцой не уживутся.

— У меня отец с буржуями сбежал. Попадись он мне, не спущу, потому эта война на уничтожение. Кто кого.

— Врешь, Спирька, рука не подымется на отца-то!

Спирька задорно поднял голову.

— Не подымется, как же. Ежели он, старый черт, на старости лет добровольцем попер, так што я на него смотреть буду. С добровольцем разговор короткий: бултых, и готово.

Борода, вздрагивая, храпела. Рваный сапог из-под длинной шинели оскалил зубы. У Спирьки лицо потемнело. Засаленные брюки зябко вздрагивали. В карауле стало тихо. В глубоком тылу у белых загорелась на горизонте красная полоса, узкая и бледная, она разрасталась, делалась ярче.

Огненный шар выкатился из-за земли, разорвал на реке серую занавеску. Спирька чихнул, выполз из лощины. На другом берегу стояли во весь рост два офицера, махали белыми платками. Караул поднялся на ноги, протирая глаза и кашляя, уставился на белых. Мотовилов говорил Петину:

— Сейчас я их возьму на пушку.

Офицер громко крикнул через реку:

— Здорово, минцы!

— Здравствуй, здравствуй, погон атласный! — сипло ответила лоснящаяся кепка над смуглым треугольником помятого сном лица.

— Здравствуй, здравствуй,— передразнил Мотови-

лов.— Разве так по-военному отвечают? Не видите, что ли, что с вами подпоручик разговарнвает?

Красные засмеялись, дружно рявкнули:

— Здравия желаем, господин поручнк!

— Ну вот, это дело, видать, что минцы народ вежливый.

— Да уж минцы лицом в грязь не ударят. Го-го-го!

Мотовилов злорадно улыбнулся.

— Ну, конечно. Минский полк, 27-я дивизия, всегда против нас. Интересно, где 26-я? Сейчас попробую, не клюнет ли?

— Эй, друзья, а как товарищ Гончаров [1] себя чувствует?

— Так он не наш.

— Знаю, что не ваш, а 26-й, да, может быть, вы недавно видели его?

— Вндели, как не видать. Вчера в Ключах встретились.

— Ага, штаб 26-й вчера был в Ключах, рядом, значит, и эта обретается. Отлично,— говорнл вполголоса Мотовилов.

— Ну, а что товарища Грюнштейна [2] давно не слыхать?

— О, Грюнштейн теперь шишка большая!

— Хватит, ясно, как апельсин, 26-я и 27-я дивизия 5-й Армии. Можно донесение писать.

— Что, господа офицеры, сегодня не воюем? — спросили красные.

Петнн тонким голосом крикнул:

— А что, разве вам охота подраться? Я сейчас прикажу открыть огонь.

Минцы замахалн рукамн.

— Нет, нет, сегодня можно и отдохнуть.

Офнцеры пошли к своим цепям. На берегу вышел из кустов белый караул. Враги стояли некоторое время молча. Широкоплечий унтер-офицер с черной бородой хлопнул рукой себя по боку.

— Спиридон, мерзавец, это ты?

Спирька сразу узнал отца.

— Я, тятя, я!

---

[1] Военный комиссар 26-й дивизии.

[2] Члеи Революционного военного совета 5-й Армии.

Красные и белые, с глазами, разгоревшимися от любопытства, смотрели на отца с сыном.

— Это, значит, на отца сынок руку поднял? А? Ты ведь доброволец, щенок?

— Доброволец, тятя!

— Я его дома оставил, думал, матери по хозяйству поможет, а он вон што, против отца пошел!

— Не я, тятя, супротив вас пошел, а вы супротив меня, супротив всего народу с офицерьем сбежали, в холуи к ним записались!

Отец вскипел:

— Ты поговори у меня еще, молокосос! Сию же минуту переходи сюда! Бросай винтовку!

Спирька засмеялся, потрепал себя рукой пониже живота:

— А вот этого не хошь, тятя? Хо-хо-хо!

— Го-го-го! Ловко, Спирька, отца угощаешь! — загоготали красные.

Чернобородый задыхался от гнева:

— Прокляну, Спиридон, опомнись!

— Нам на ваше проклятье начихать, тятя!

Отец высоко поднял руку:

— Не сын ты мне больше! Проклят ты, проклят во веки...

— А ведь не пальнешь в тятьку-то, Спирька, чать жалко.

Кровь бросилась в лицо Спиридону. Он вспомнил, как отец всегда с базара привозил ему пряники, вспомнил, как тот мальчишкой часто таскал его на руках, учил ездить на лошади, провожал с ребятами в ночное.

— Доброволец он, за буржуев, не отец он мне. Проклял он меня. Не отец так не отец.

Спиридон для чего-то старался заранее мысленно оправдать себя. Сын быстро щелкнул затвором, стал на колено и выстрелил. Пуля сшибла у отца фуражку. Отец трясущимися руками поднял свою винтовку, ответил сыну. Красные и белые молча наблюдали за борьбой. Чернобородый совсем растерялся, стрелял не целясь, винтовка плясала у него в руках.

— Сынок,— бормотал он, досылая патрон,— сынок, хорош сынок...

Спиридон с четвертой пули распорол отцу бок. Ун-

тер-офицер вскрикнул, комком свернулся на земле. К раненому подбежали санитары.

— Будь проклят ты, отцеубийца. Отцеубийца проклят, проклят, хрфлфрихррр...

Кровь пенилась в горле и во рту Хлебникова. Спиридон с остервенением стрелял в санитаров, поднимавших отца на носилки. Красные отняли у него винтовку.

— Стой, дьявол, из-за тебя бой еще подымется.

Братание и разговоры шли по всей линии на участке N-ской дивизии. Белые, смеясь, кричали красным:

— Как, неприятели, переводчиков нам не нужно и так сговоримся?

Красные гоготали, орали в ответ:

— Мать вашу не замать, отца вашего не трогать, сговоримся чать!

Толстяк Благодатнов стоял, засунув руки в карманы брюк.

— Земляки, какой губернии? — кричали в другом месте.

— Московской!

— А вы?

— Мы-то?

— Да!

— Мы Вятской!

— Так и знал, что либо Вятской, либо Пермской. Самые колчаковские губернии!

— Товарищи, айда к нам!

— Нашли дураков!

— Валите к нам!

— У вас хлеба нетука!

— Хватит! Сибирь заберем, хватит!

— Не подавитесь, товарищи!

— Ни черта, скоро на Ишим подштанники стирать вас погоним!

Молодой комиссар батальона пытался распропагандировать белых.

— Товарищи, за что вы воюете? — спрашивал он.

Звук его голоса громко раскатывался по воде.

— Воюем, чтобы всех комиссаров переколотить!

— Что вам комиссары плохого сделали?

— Грабители!

— Кого они ограбили?

— Всех разорили! Житья от них нет! Война из-за них!

— Почитайте-ка вот наши книжки! — красноармеец, засучив штаны, полез в воду.

— А вы посмотрите наши!

Навстречу ему спустился с крутого берега худой татарин. Тобол в этом месте был очень мелок. Враги сошлись на несколько сажен, перекинулись свертками газет и брошюр. На реке стоял разноголосый раскатистый шум. Сотни людей кричали одновременно.

Полковник Мочалов разрешил N-цам разговаривать с красными, вполне полагаясь на них, как на добровольцев. Полковник питал некоторые надежды на разложение частей противника. Но, увидев, что толку из всего этого крика выходит мало, он приказал прекратить братание. Две батареи неожиданно рявкнули сзади, тучки шрапнели брызнули на красных свинцовым дождем.

— Что, буржуи, словом не берет, давай железом!

Красные быстро легли в окопы.

— Не пройдет номер, господа хорошие, мордочки вам набьем! Набьем белым гадам!

Белые солдаты неохотно открыли огонь из винтовок. Братание всколыхнуло у многих воспоминания о германском фронте, соблазн немедленного окончания войны был очень велик. Тобол гремел, стучал, свистел. Бой начался.

Несколько шрапнелей залетели в село. Хозяева квартиры Молова бросились прятаться в голбец[1]. Молов с Климовым пили чай. Женщины заплакали, стали кричать.

— Господи, когда это кончится? Всех нас перебьют. Господи, господи, мужа в германску войну убили, теперь нас с ребятишками прикончат.

— Ничего, ничего, хозяюшка, сидите спокойно, сюда не достанет.

Люк в подполье не был закрыт, женщина кричала оттуда:

— Ой, товарищи, всем уж эта война надоела. Неужто вам все воевать охота?

Молов и Климов улыбнулись.

— Из-за того и воюем, что война надоела. Последний раз, хозяюшка, воюем, чтобы всякую войну уничтожить.

— Ох, не пойму я чего-то? Войну кончить хотите, а

[1] Подполье.

самн воюете. По-нашему, чтоб войну кончить, так замнренье надо сделать.

— Нет, хозяюшка, с Колчаком нельзя замириться. Он не захочет.

— Кто вас тут разберет? Белы вот стояли, говорили, что вы не хотите замиренья. Комиссары, мол, не хотят.

— Белые врут, хозяюшка, вот разобьем мы их, тогда увидишь, что мы правду говорили. Войны не будет больше.

Седой старик крестился н вздыхал в подполье:

— Дай вам бог, дай бог, ребятушки! Дай бог!

Вошел вестовой красноармеец, в зеленой гимнастерке и рыжих деревенских штанах, со звездой на рукаве и фуражке.

— Товарищ Молов, там пополнение пришло, может, говорить чего будете? Хотя все добровольцы.

Молов заторопился со стаканом.

— Обязательно, обязательно надо побеседовать. Я сейчас. Пусть подождут на площадн.

На площади, в холодке под березами, обступавшими церковь, расположилось пополнение, сплошь добровольцы: челябинские рабочие н крестьяне окрестных сел и деревень. Добровольцы не были обмундированы. Черные, промасленные кепки и курткн мешались с серыми и коричневымн кафтанами. Винтовки и подсумки былн у всех.

Молов подъехал на лошади и, не слезая с седла, обратился к добровольцам с небольшой речью:

— Дорогие товарищи, я не буду утомлять вас разговором о том, за что и во имя чего мы воюем. Я думаю, это вам давно известно.

Тон был взят верный. Куртки, шляпы, кепки, кафтаны зашевелились.

— Кабы не было известно, не пошли бы! Добровольцы мы!

Концы тяжелых черных усов комиссара приподнялись, по лицу, сверкнув в глазах, пробежала улыбка.

— Я это знаю, товарищи, и приветствую вас, приветствую ваше желанне скорее покончить с одним из свирепых палачей рабочего класса и крестьянства, с новым сибирским царем — Колчаком.

За селом перестрелка уснливалась.

— Товарищи, сейчас мы пойдем в бой, так знайте, что враг уже смертельно ранен. Его сопротивление —

сопротивление издыхающего зверя, бьющегося в предсмертных судорогах.

Добровольцы стояли спокойно, молча слушали комиссара. Рыжий, крепкий Коммунист Молова скреб левой ногой, качал мордой, дергая поводом руку седока.

— Вот, товарищи, у меня в руках рапорт белого офицера, перехваченный нами. Некоторые места из него я прочту вам, и вы увидите, что я прав, что дела у белых из рук вон плохи.

Молов вытащил из полевой сумки клочок бумаги, стал читать:

Наша дивизия, несомненно, больна.

— Это, товарищи, пишет начальник штаба белой дивизии, капитан Колесников,— пояснил комиссар слушателям.

При текущих условиях жизни она не только не оздоровится, но может угрожать полным истреблением офицерского состава.

Причины, разлагающие ее, коренятся в следующем:

1) Несомненно, в рядах полков свили свои гнезда умелые работники советской власти, которые ведут за собой идейно всю маломыслящую массу. Арест и расстрел якобы главарей весьма сомнителен в том смысле, что расстреляны главари, а не просто наиболее решительные и смелые из проникнутых духом большевиков.

2) Громадный некомплект офицеров.

3) Почти полное отсутствие добровольцев.

4) Необходимость ставить по избам ведет к разложению частей.

5) Работа контрразведки не только не полезна, но даже вредна, ибо она дает солдатам знать, что за ними следят. Прапоры, поставленные во главе полковых пунктов, безграмотны в деле разведки, агентов нет, руководить некому, денег нет.

6) Егерский батальон — опора дивизии — не вооружен, не обмундирован.

7) Люди одеты оборванцами, без признаков формы.

8) Занятия носят характер нудный, утомительный. Знаменитые «беседы» никуда не годятся.

9) Литература и пресса убоги и совершенно не соответствуют ни духу солдата, ни его пониманию, ни укладу жизни. Сразу видно, что пишет барин. Нет умения поднять дух, развеселить и доказать. Жалкие номера газет приходят разрозненными, недостаточными, непонятными по стилю. Нет руководств по воспитанию духа, а сейчас дух — все.

10) Порка кустанайцев в массовых размерах повела к массовым переходам на сторону красных.

11) Население совершенно не принимается в расчет, и наезды гастролеров, порющих беременных баб до выкиды-

шей за то, что у них мужья красноармейцы, решительно ничего не добиваются, кроме озлобления и подготовки к встрече красных, а между тем в домах этого населения стоят солдаты, все видят, все слышат и думают.

— Хитер, собака, тонко чует. Валяй, валяй, товарищ военком, дальше. Занятно! — высокий рабочий крутил головой.

— Не мешай, слушай! — закричали на него.

Заработала красная батарея. Наблюдатель метался по колокольне, кричал в трубку телефона. Молов стал читать громче.

12) Духовенство далеко, и не видно его непосредственного воздействия.

— Попы рясы, видно, подобрали, да тю-лю-лю,— не унимался рабочий.

— Да помолчи ты, черт, — сосед дернул резонера за рукав.

13) Пропаганды с нашей стороны и агитации никакой. Сводится все к отбытию номера и полному бездействию, — с одной стороны, в то время когда все пылает, горит и полно злобы и мести, с другой стороны, заливает не только части, но и весь район своей вызывающей, но понятной народу литературой.

— Дальше, товарищи, этот капитан предлагает своему начальству ряд мер к устранению всех перечисленных недостатков; вот наиболее интересные из них:

1) Для борьбы с агитацией большевиков во главе дивизионной контрразведки должен быть поставлен старый, опытный офицер-жандарм.

2) Влить в полки добровольцев, не жалеть денег на их вербовку и увеличенный по сравнению с мобилизованными оклад жалованья.

3) Сеть контрразведки должна быть не только в полках, но и во всем районе расположения частей.

4) Привлечь к шпионажу женщин и вообще местное население.

5) Немилосердное истребление главарей; после порки отправлять на фронт не следует.

6) Уничтожать деревню целиком в случае сопротивления или выступления, но не пороть. Порка — это полумера.

7) Открыть полевые суды с неумолимыми законами.

8) Конфисковать имущество красноармейцев.

— Ну и так далее, товарищи, все в том же духе. Как видите, все сводится к жандармской слежке, расстрелам, конфискации, сожжению и истреблению целых деревень и сел. Политика мудрая!

Черные усы насмешливо приподнялись.

— Нам остается только приветствовать откровенность капитана Колесникова. Чем прямолинейнее будут действовать эти господа, чем яснее они выявят свои хищные рожи, тем скорее трудящиеся, рабочие и крестьяне поймут, что не бороться с белыми нельзя, поймут, что торжество этих гадов принесет с собой все прелести каторжного, крепостного, палочного режима. Дела плохи, товарищи, у белых. Большинство рабочих и крестьян уже раскусили Колчака, поняли, что он за фрукт, и переходят на нашу сторону массами. В тылу у диктатора — восстания. Тайга горит огнем партизанских фронтов и республик. Еще напор, дружное усилие, и мы опрокинем белую гадину, свалим ее в мусорную яму.

Шрапнель стала рваться над колокольней. К комиссару подъехал командир полка с адъютантом.

— Вы скоро кончите, товарищ Молов?

Добровольцы беспокойно посматривали на белые облачка, клубами таявшие высоко над золотым крестом.

— Получен приказ выступить на первую линию.

Молов повернулся к командиру:

— Я кончил, Николай Иванович, кончил. Можете вести полк. Сейчас я только раздам вот им литературу.

Комиссар отстегнул от седла тюк газет и листовок.

— Вот, товарищи, берите эти штучки, они не менее важны, чем ручные гранаты. Они для всех хороши. Белых взрывают, разлагают, своих подогревают, спаивают в одно стальное. Берите, читайте, бросайте по избам, при случае пускайте в ряды белых.

Красноармейцы распихивали по карманам номера армейской газеты «Красный стрелок», торопливо пробегали листовки с яркими, смелыми призывами к борьбе, к строительству новой жизни. Обоснованная, короткая, но горячая речь комиссара зажгла сердца добровольцев. Огненной лавой влилось пополнение в поредевшие ряды полка, внесло в них свое оживление, сразу накалило, подняло дух.

— Товарищи, вперед!

Командир полка повел полк на выстрелы. Сильные волей ощутили прилив новых сил, бодро, твердо пошли за командиром и комиссаром, ехавшими перед полком. Малодушные и уставшие резче почувствовали свое бессилие. Так огонь плавит металл и сжигает шлак и сор. Винтовки с заостренными штыками рвали воздух. Пестрый,

раскаленный поток мускулов, нервов, пороха и свиица катился по узкой улице. Зелеиь, луга метнулнсь в глаза, сверкиула сияющая полоса Тобола.

— От середнны в цепь!

Голос комаидира звучал уверенно и властио. Сомнеиий быть не могло. Полк послушно развернулся, длииной цепочкой опоясал луг у края деревии. Белые батареи заторопились, застучали, как кузнецы молотами. Шрапнель, визгливо злясь, закувыркалась над головамн красных бойцов.

— Цепь, вперед!

Может быть, не все шлн охотио в бой, может быть, даже коммуиисты, ио каждый чувствовал иа себе тяжесть силы, огромной, давящей, толкающей вперед робкие иоги, силы всего миогомиллнониого коллектива, проснувшегося, поднявшегося иа борьбу пролетариата, силы всех угнетениых и эксплуатируемых масс. Огромиое, неумолимое поступательное движеиие колосса коллектива втягивало в крутящийся водоворот борьбы не только золото н драгоценные камии, ио и щебеиь, н мусор, грозя раздавнть изменииков и малодушиых.

Цепь железными, пылающнми волиами катнлась по лугу.

12. ПОЧЕМУ ОНИ ЗЛЯТСЯ?

Солице уже садилось, когда со стороиы красных показались густые цепи н несколько батарей одновременно открыли беглый огоиь по белым. Красные шлн уверенно, смело. Барановский ие заметнл, как цепь протнвиика быстро иакатилась иа его роту. Офицер с удивлеинем смотрел иа иаступающих. Подпоручик Барановский только вторые сутки был в первой лииии и к концу дия стал плохо разбираться во всем происходящем вокруг, почти потерял способиость критиковать свои действия. Рота молчала, ожидая приказаиий комаиднра. Миогне солдаты с недоумеинем оглядывались иа молодого офицера, удивлялись, почему он не приказывает стрелять. Красиые наступали с снльным ружейным и пулеметным огием. Перебегали поодиночке. Огромиая рука тяиулась к окопам N-цев, упруго дрожала всемн мускуламн. Цепь иаступающих приближалась. Бараиовский стоял за цепью и смотрел то на красиых, то поднимал голову кверху н на-

блюдал, как падали с верхушек деревьев обитые пулями ветки и листья, сыпалась кора. Одна пуля, тонко пропев, впилась в большую сосну, совсем близко от левой щеки офицера. Подпоручику показалось, что кто-то горячо и быстро дохнул ему в лицо. Он вздрогнул, перевел свой взгляд на цепь противника. Она была совсем уже близко. Офицер видел, как люди в зеленых гимнастерках, в черных рубахах и брюках навыпуск, в рыжих деревенских шляпах и фуражках со звездами на околышах заряжают винтовки, работают затворами, прицеливаются, пускают в его роту пулю за пулей.

«Стреляют. В нас стреляют,— думал Барановский, и почему-то это ему казалось очень странным. Ведь они такие же люди. Ну вот совсем как мои солдаты»,— носилось у него в голове. И он стоял, глубоко засунув руки в карманы шинели, напряженно вглядывался в лица наступающих, искал в душе ответа на мучительный вопрос, почему люди с такой злобой бьют людей. Что-то связывало волю офицера, он никак не мог отдать приказание стрелять. Взводный офицер, пожилой прапорщик, подбежал к нему.

— Господин поручик, разрешите открыть огонь. Противник совсем рядом!

Барановский точно проснулся.

— Ах, огонь, да, да, огонь, — растерянно забормотал он.

Прапорщик подбежал к своему взводу, на ходу крикнул:

— Часто начинай!

Рота открыла огонь. И опять Барановскому показалось, что кровельщики заколотили молотками по крышам, а воздух стал душным и тяжелым, как на фабрике или заводе, вблизи машин, больших, стучащих, горячих, дышащих огнем.

Наступающие кузнецы стучали молотками, раздували огонь, в неудержимом порыве шли вперед.

— Ура-а-а!.. Ура-а-а!.. А-а-а!

Рука загибалась, сталью мускулов охватывала, жала N-цев. Дрожащий, звонкий голос сквозь треск выстрелов прорвался с правого фланга:

— Взводный! Обходят нас! Обходят!

Цепь сорвалась и побежала. Барановский в оцепенении стоял на месте, смотрел, как бежали на него наступающие с винтовками наперевес и с лицами, перекошенны-

ми злобой. Подпоручик опять спрашивал себя и удивлялся: «Почему они так злятся? Откуда такая злоба?»

— Коли! Коли его — офицер! — донеслось до слуха Барановского, и совсем близко от себя он увидел двух красноармейцев, с тонкими, как жала, штыками. Точно кто повернул офицера кругом, толкнул в спину, и он побежал легко и быстро, как молодой олень, совершенно не чуя под собою ног. Сзади, в вечерних сумерках, вспыхивали выстрелы, и пули жужжали близко-близко от лица, обдавая его быстрым, коротким, горячим дыханием. Барановский бежал и видел, как впереди него и слева и справа мелькали темные фигуры солдат его роты, видел, как днем, что многие из них торопливо падали на землю, дрыгали ногами, махали руками или валились как снопы и сразу застывали в мертвой неподвижности. Как сотни дятлов, налетели на лес пули и долбили деревья острыми металлическими носами, и визжали, и свистели тысячами голосов в буйном вихре уничтожения. В чаще кустов завяз раненый и кричал непрерывно тонким голосом, полным ужаса смерти:

— Братцы, не оставьте! Не оставьте!

13. ВО ИМЯ ГРЯДУЩЕГО

Маленькие окна, смотревшие на задний двор, подернулись серой пылью. Высокая помойка черным грязным ящиком загораживала их наполовину. В комнате было почти темно. У печки, на лавке, плакала сгорбленная фигура. Худые, согнутые плечи дрожали под рваной рыжей шалью. Слезы мочили синюю облезлую юбку.

— Ты, Анна, зря не реви. Я тебе прямо скажу, толку не будет. Раз решено, что уйду, значит, уйду.

— Что ты, сбесился, что ли, на старости лет? Что ты делаешь с нами? Как мы жить будем?

— Пособие дадут.

— Что мне твое пособие. А как убьют, так что мне в пособии-то толку?

— Сын подрастет, кормить будет, да и Советская власть не оставит, обеспечит на всю жизнь.

Русые волосы Вольнобаева, почерневшие от копоти, торчащим пучком падали ему на брови. Корявые руки с сухими пальцами нервно сжимали колени.

— Пойми ты, не могу я не идти. На собрании первый

орал, что все пойдем, а теперь вдруг в кусты спрячусь. Никогда!

Женщина всхлипывала, утиралась кончиком головного платка.

— Всю германскую войну с мальчишкой одна-одинешенька мучилась, еле дождалась тебя, каменного. И теперь вот опять,— голова женщины бессильно тряслась,— носу не успел показать домой, бежишь. Подумай ты, бесчувственный, зачем пойдешь? Кто тебя тянет? Ну, в германскую мобилизовался, ничего не сделаешь. А тут что? Ведь никто не тащит. Сам лезешь.

— Замолчи, дура, ни черта ты не понимаешь!

— Папа, не ходи на войну.

Митя подошел к отцу, опустил головку. Большие глаза ребенка блестели слезами. Рабочий прижал к себе сына, обожженной, грубой рукой стал ласкать. Мать плакала. В вечерних сумерках комната совсем утонула. Окна двумя тусклыми квадратами прорезали черную стену.

— Нельзя, сынок, не идти. Все, кто может, должен идти.

— Папа, не ходи, тебя убьют.

— Может быть, и не убьют, сынок, а идти нужно. Ты, может быть, не поймешь меня, но я скажу тебе, родной, что мы, рабочие, должны идти, чтобы в будущем, по крайней мере хоть детям нашим, вам вот, жилось лучше. Ну посмотри, сынок, как жили мы до сих пор. Всегда впроголодь, день и ночь на работе. Квартира — вот подвал этот. Захвораешь, как собаку, выгонят, рассчитают. Теперь счастье улыбнулось нам. Мы захватили власть, и мы должны ее удержать и укрепить.

Жесткая рука Вольнобаева задевала за мягкие волосы Мити.

— Мы, сынок, зла никому не желаем. Мы и воюем-то только потому, что господа заводчики и фабриканты не захотели помириться со своим новым положением разоренных богачей. Мы хотим, Митя, так жизнь устроить, чтобы все были довольны, все были богаты, у всех было всего вдоволь. Мы хотим, чтобы все жили в больших, светлых, просторных комнатах, домах, чтобы люди работали не восемнадцать часов в сутки, чтобы они свое свободное время могли бы провести по-человечески. — Жена стала всхлипывать совсем тихо. Митя слушал отца, не отрываясь смотрел в маленькое пыльное окно.

— Если мы разобьем всех наших врагов, то я смогу

быть спокойным, сынок, за твою судьбу. Я буду знать тогда, что ты не стаиешь надрываться на фабрнке с утра до иочн. Нет. Ты пойдешь учиться. Двери школы будут для тебя открыты.

Мальчик забыл, для чего ои подошел к отцу, его детское воображеине было возбуждено мечтами взрослого человека.

— Папа, у меия будет много книг? И с картинкамн?

— Миого, сыиок, миого, всякнх, и с картиикамн, и без картинок.

— Ах, это очень интересио.

— Да, да, сыиок, еще иемиого, н мы будем хозяевами жнзнн. Мы пойдем, мы, старики, пойдем умрем, чтобы вам только, деткн, жнлось хорошо.

Вольнобаев вздохнул. Мать заплакала громко. Мнтя иадул губкн.

— Зачем ты, папа, хочешь умнрать? Не надо.

— Да я и не хочу, сынок, я так это, к слову прншлось.

— Я с Мнтей на рельсы лягу. Коли поедешь, так через час нас переедешь.

Вольиобаев встал, тяжело ступая, подошел к жене.

— Аина, не дури, миого терпела, немного-то уж подожди. Вернусь, ие пожалеешь, что съезднл. Перестань реветь сию же мииуту. Надо собрать кое-что в дорогу.

Утром рано пришли несколько товарнщей Вольнобаева, записавшнхся вместе с ним добровольцами на фронт. В комнате стало шумно н тесио.

— Ну, што, Вольнобанха, ревешь, поди? — спрашивал низкнй, широкоплечнй Трубин.

— Хорошо тебе, лешему, зубы-то скалить, коли у тебя ии кола, нн двора, ни жены — ннкого нет.

— Може, у меня тоже кто есть, да што?

— Ничего, нечего лясы-то точнть. Людям слезы, а ему смех.

— Очень даже это глупо с вашей стороны, товарнщ Вольнобаева, плакать. Другая бы на вашем месте радовалась, что муж у нее такой герой.

Трубни ударил по плечу Вольнобаева, завязывавшего дорожиый мешок:

— Эх, Степа, не поннмают нас бабы. Нет у них этого кругозора, широты-то иет. Дальше своей юбки иичего не вндят. Эх-хе-хе!

— Да, далеко еще до того времени, когда нас все поймут!

Степан с усилием стягивал веревки.

— А поиять должны ведь, Степа. Когда-нибудь поймут, оценят. Не все же иа иас будут плевать да дураками крестить. Правда, Степаи?

Рыжий Мельииков бурчал в угол:

— Нечего спрашивать, и так ясио. В настоящем мы боремся, нас миогие не поиимают, даже вот жеиы и те, ио будущее, будущее наше.— Кудрявый Клочков сел на лавку.

— Стоит ли, товарищи, говорить о том, поинмают нас или нет. Пусть кто как хочет, так и смотрит на нас. Мы свое дело зиаем и доведем его до конца.

— Да.

— Непремеиио.

— Или умрем, или победим.

— Нет, мы победим. Мы будем жить. Мы будем счастливы. Мы боремся за лучшее будущее.

Вольнобаев кончил сборы, разогнул спииу, потяиулся.

— Два мира, товарищи, сошлись в смертельной схватке. Сомиеиий иет: победит иовый. Мы, мы, товарищи.

Рабочий подошел к сыну, еще ие вставшему с постели:

— Ну, прощай, сынок. Будь здоров, жди отца. Приеду, вериусь — заживем с тобой иа славу. Ты в школу будешь ходить по утрам, я на работу, а вечером читать вместе будем, в театр пойдем, в клуб. Идет?

— А кииг привезешь, папа?

— О сыиок, киииг будет миого, каких только хочешь.

— Я хочу, папа, учиться паровозы делать.

— Хорошо, сыиок, приеду — всему иаучимся. Все будем делать. Делать нам много иадо, родиой. Мир весь, жизнь всю заново построить. Ну, прощай, подрастешь— все поймешь.

Вольиобаев поцеловал мальчика в губы. Рабочие стали выходить из комнаты, затопали по лестнице.

— Прощай, Аниа! Провожать ие ходи, лишиие слезы.

Анна прижалась к мужу:

— Степа, отпиши поскорее, пропиши, где будешь, да на побывку приезжай.

Жеищииа говорила слабым, упавшим голосом, она примирилась за ночь с неизбежиостью разлуки, с буду-

щими днями томительной неизвестности за судьбу близкого человека.

Город еще спал. Крепкий стук сапог будил утреннюю тишину улиц. Черные фигуры добровольцев с мешками за плечами толпой шли к сборному пункту. Лица были строги и серьезны. Глаза уверенно смотрели на дорогу. На стенах домов, на заборах белели листики. Черные строчки горели огнем. Звали к бою. Последнему, страшному, неизбежному и освобождающему. Добровольцы пошли в ногу. Сомкнулись плотней. Город спал. Из темных щелей полуоткрытых окон на улицу лился вонючий воздух спален, грязного белья и нечистот. Клочков шел и, улыбаясь, щурился на красный кусок неба.

— Там восток?

— Восток.

— Мы туда.

— Он будет наш.

— Мы победим!

Клочков обернулся назад, сверкнул рядом белых зубов.

— А хорошо, товарищи, эдак идти. Мне петь хочется и стихи писать. Душа вот прямо рвется, дрожит. Хорошо!

Доброволец глубоко вздохнул. Солнце всходило.

14. ГЕНЕРАЛЫ И ПОЛКОВНИКИ — КОММУНИСТЫ

После ряда крупных боев на участке N-ской дивизии наступило затишье. Люди отдыхали. Первый N-ский полк стоял в дивизионном резерве. Мотовилов с Барановским лежали на солнце около винтовок, составленных в козлы. Фома на костре кипятил чай. Саженях в двухстах от офицеров плотное кольцо солдат окружило аэроплан, у которого возился авиатор-француз.

— Я, Иван, в германскую войну вольнопером служил, видал виды, но скажу тебе прямо, что так гадко, как здесь, я себя никогда там не чувствовал, так у меня нервы еще не трепались, — говорил Мотовилов. — Обстановка этой войны — сплошной кошмар. Черт знает что такое — вступаешь в бой и не знаешь, кто у тебя сосед справа, кто слева. Нет уверенности, что там устойчиво, что тебя не обойдут. Хорошо, если из штаба сообщат хоть об одном соседе. Ну, а о другом-то мы сами

догадаемся. Как только скажут, что сосед справа неизвестен, уж так и знай, либо Николай-угодник, либо красные.

Аэроплан плавно поднялся вверх, разорвав кольцо солдат, треща мотором, полетел в сторону первой линии. Барановский молча курил, смотрел на облака, серыми клочками пуха плывшими по небу.

— Вообще ничего в этой войне нет похожего на ту. Артиллерии мало, о позиционной борьбе и речи нет, техника вообще слаба, но страху гораздо больше. Я никогда, например, в германскую войну не боялся попасть в плен, а тут холодею от одной мысли только засыпаться к красным. Какая тут к черту техника, обученность солдат, когда и мы и комиссары во время боя стоим в цепи, расхаживаем, даже на лошадях ездим, и ничего. Попадают в нас очень редко. Нервность какая-то чувствуется у всех, стойкости почти никакой, панике все поддаются очень легко. Нет, тут в этой войне не оружие играет первую роль, а что-то другое, какие-то непонятные для меня духовные причины. Все теперешние наши победы и поражения построены на чем-то внутренним, неуловимом. Я прямо даже затрудняюсь объяснить, что это такое. Почему мы иногда бежим после двух-трех минут перестрелки и другой раз держимся днями в самой отвратительной обстановке? Помнишь, под Шелеповом три дня в болоте лежали под каким обстрелом?

Барановский не ответил. Фома снял котелок, стал разливать чай. Пили долго, молча. Мотовилов клал себе в кружку сахар по нескольку кусков. Аэроплан вернулся из разведки, с треском опустился на прежнее место. От нечего делать офицеры побрели к нему. Француз снял теплую шапку, стоял с открытой головой и, поправляя пенсне, рассказывал на ломаном языке обступившим его солдатам о своих впечатлениях во время полета:

— Видите пуль, пуль. Красный пуль!

Летчик показывал на крылья своей стальной птицы, сплошь изрешеченные пулями.

— Жаль, гранат не взял. Револьвер пук, пук!

Пухлая белая рука француза трясла черный браунинг с закопченным стволом. Агитатор вытащил из рукоятки пустую обойму.

— Все пуль пук, пук. Красных пук, пук. Жаль, жаль, гранат не быль. Много красный, можно быль пук, пук.

Барановский брезгливо опустил концы губ.

— Не люблю я этих французов. Каждый из них приехал с собственным аэропланом, приехал, как на охоту, дикарей русских пострелять. Черт знает что такое. Видишь, его послали воззвания раскидывать на фронте, а он увлекся, стрелять стал из револьвера. Жалеет, что гранат не было, гадина упитанная. Не перевариваю этих жуиров, искателей приключений, охотников за черепами.

— Нечего здесь философствовать, Иван, по-моему, чем больше с нашей стороны дерется, тем лучше. А как и кто, не все ли равно.

Солдаты разглядывали машину, щупали круглые дырки в тонких пленках крепких крыльев.

В обед офицеры поехали в штаб дивизии на доклад пленного командира красной бригады. По приказанию Мочалова пленный информировал офицеров о строительстве Красной Армии, об условиях жизни в тылу, в Советской России. Эти вопросы живо интересовали офицеров, каждый с нетерпением ждал очереди своей группы. Ездили на доклад по нескольку человек, группами, так как всех нельзя было снять из части. Мотовилов ехал с Барановским в одном ходке, на собственной лошади, захваченной его ротой в последнем бою. Мотовилов ехал и злорадствовал:

— Вот, воображаю, порядочки-то у красных. Вот уж, наверно, балаган-то развели товарищи.

— Не думаю, — неопределенно возражал Барановский.

— Чего там, не думаю, — сердился Мотовилов, — забыл разве? Не жили, что ли, мы при них в 17-м году?

— Теперь не 17-й, а 19-й, Борис.

— Все равно, один черт. Я думаю, что и в 19-м году кашевар не сможет командовать полком, а волостной писарь вести дипломатическую переписку с соседними державами.

— Не знаю, — задумчиво тянул Барановский.

Мотовилов разозлился.

— Это черт знает на что похоже, Иван. Неужели ты думаешь, что эти сиволапые всему выучились за два года? Разве я когда-нибудь поверю тому, что можно в два года выучиться командовать армией и управлять огромной страной. Ерунда! Никогда этого не может быть!

Офицер злобно ткнул кулаком в спину своего вестового, сидевшего на козлах.

— Куда ты, олух, едешь? Я же тебе приказывал к школе, а ты к попову дому поехал, болван.

Кучер сделал небольшой круг на площади и остановился у дверей школы.

Докладчик, пожилой полковник, уже пришел и стоял за кафедрой, сверкая новенькими золотыми погонами.

— Скотина, уже успел нацепить два просвета, — ворчал Мотовилов, садясь за парту, и мысленно продолжал: «Я бы ему, мерзавцу, никогда не позволил погоны надеть. Пускай носил бы свои красные тряпки, чтобы видели все, что он за птица. Я бы ему красную звезду в пол-аршина на спину нашил и заставил бы так ходить».

Докладчик начал:

— Господа офицеры, прежде чем приступить к развитию моей сегодняшней темы — Советская Россия и Красная Армия, — должен предупредить вас, что я даром слова не обладаю, а потому прошу задавать мне вопросы обо всем том, что я пропущу или не сумею передать связно.

— Заправляет Петра Кириллова Зеленого: «Говорить не умею!» — поди, насобачился на митингах-то в Совдепии,— язвил вполголоса Мотовилов.

— Ну-с, мы, конечно, здесь, господа, одни, без свидетелей, и стесняться не будем. Смело вскроем наши недостатки, разберемся в них, проведем небольшую параллель между нами и ими, — полковник показал рукой на запад. — Должен сказать, господа, что воюете вы скверно. Уж я подставлял, подставлял вам свои фланги, думаю, пускай потреплют товарищей. Нет, как нарочно, с вашей стороны полнейшая бездеятельность. Тогда я плюнул и просто один, со штабом, приехал к вам.

— Врешь, — довольно громко сказал Петин.

— Однако не обижайтесь, господа. Это я сказал только потому, что хотел пояснить вам, как ваш покорный слуга попал из Совдепии в Сибирь.

Полковник слегка наклонил голову и приложил руку к груди. Аудитория молчала.

— Начнем с главного. Вся Советская Россия объявлена осажденным военным лагерем, а раз так, то вся жизнь в стране регулируется строжайшей железной дисциплиной. (Офицеры обменивались недоумевающими взглядами.) Не удивляйтесь, господа,— заметил докладчик, — Советская Россия совсем не то, что знали вы в 17-м году. Из хаоса разрушения на обломках старого

теперь воздвигается новое здание государственного порядка. И надо отдать дань должного нашим противникам-большевикам: в деле государственного строительства они преуспевают. Единая руководящая идея кладется ими в основу всей жизни Республики, все для победы над буржуазией и разрухой, все для борьбы. В этом они, пожалуй, похожи на немцев, которые в свое время говорили: «Все для отечества, все для кайзера». Если хотите, господа, они и проводят в жизнь, осуществляют свои идеи с немецкой методичностью и упорством. В этом отношении отличаются особенно коммунисты, которые стали теперь совершенно непохожими на прежнего русского человека с леницой и почесыванием затылка. Работа, работа и работа — вот их лозунг! Страна — военный лагерь, ну, а в лагере ведь живут солдаты, следовательно, в Советской России все граждане — солдаты, только не боевой армии, а трудовой. Так они и называются: солдаты или работники Великой армии труда.

— Скажите, полковник, — перебил докладчика какой-то капитан, — трудовая армия разбита так же, как и Красная, на роты, батальоны?

— Как вам сказать, не совсем так. Трудящиеся там организованы в профессиональные союзы и вот эти-то профессиональные союзы считаются такими ротами, батальонами, бригадами, которые выполняют разные боевые задачи на трудовом фронте.

— Значит, профессиональные союзы есть вторая советская армия теперь? — спросил опять капитан.

— Вот именно так. Да, да, это верно,— подтвердил полковник.

— Профессиональные союзы теперь являются экономическим фундаментом Республики. Все они выполняют определенные задачи центра, так что работа по изготовлению разного рода продуктов носит строго организованный характер. Все производство организовано в общегосударственном масштабе и регулируется, конечно, с одной стороны, потребностями Республики, а с другой — наличностью запасов топлива, сырья, рабочей силы. В последних трех там большой недостаток. Но все же, поскольку имеется в их распоряжении всего этого, постольку там и идет работа. Фабрики пущены. Не все, правда, и не полным ходом, но все же прежней безалаберности в этой области нет. Ни о какой товарищеской дележке фабричных механизмов, как то наблюдалось в 17-м, на-

чале 18-го годов и помину нет. Митинговый большевизм уже изжил себя. Самое важное, господа, то, что производство организовано у них, конечно, не вполне еще, но уже во всяком случае оно в крепких руках государственной власти. Я считаю, господа, огромным завоеванием и победой красных тот факт, что промышленность, производство в Советской России в целом не пали и не падают. И если не двигаются вперед, то удерживаются от гибели главным образом за счет трудового героизма масс, за счет повышения их сознательности. Когда адмирал Колчак был по ту сторону Урала, а генерал Деникин развивал свое наступление, Советская Россия буквально варилась в собственном соку: ни топлива, ни хлеба, ни сырья не было, и все же красные отбили наступление и с юга, и с востока, и с севера. Сделали это они потому, что на их стороне были трудовые массы, потому, что к тому времени у них было так или иначе налажено производство и распределение и организован, отлично организован, аппарат государственной власти. Да, господа, у красных теперь, несомненно, есть сильный, недурно организованный государственный аппарат, промышленность и армия. На последнем вопросе, вопросе о Красной Армии, ее организации я останавливаюсь подробнее.

Офицеры сидели, внимательно слушая, и не знали, верить или не верить полковнику. Многим из них казалось невероятным, чтобы в Совдепии мог быть какой-нибудь порядок, а тем более дисциплина, да еще трудовая.

— Для борьбы с разрухой у Советской России есть трудовая армия, для борьбы с буржуазией, выражаясь модно, с Антантой,— Красная Армия. Красная Армия, как и трудовая армия, спаяна железной дисциплиной, причем дисциплина там не только, как говорится, сверху, но и снизу. Командирам, комиссарам в бою и в строю беспрекословное подчинение, за ослушание или умышленное неисполнение приказания, невыполнение боевой задачи — тягчайшая кара, вплоть до расстрела. Кроме того, неисполнительного, неаккуратного красноармейца тянут свои же товарищи. Здесь нужно отметить роль коммунистов: они именно, организованные в ротные ячейки, и являются такими сознательными воинами, которые тянут за собой всю красноармейскую массу, налаживают эту дисциплину снизу. Красная Армия тем и отличается от всех других, что в ней дисциплина не толь-

ко сверху, внешняя, но и внутренняя, снизу, сознательная. Дисциплинированность масс в армии наших врагов создается общими усилиями командного состава и самих красноармейцев, и основывается она не только на насильственных мерах воздействия, но и на поднятии культурного уровня солдат. В Красной Армии организован, как нигде, аппарат по политическому воспитанию солдатской массы, по поднятию ее сознательности. Государство затрачивает на культурно-просветительную и политическую работу в армии огромные средства. Красная Армия вся оплетена сетью политических и просветительных организаций, учреждений с громадным кадром работников. Прежде чем пустить стрелка в цепь, красные обрабатывают его, обучают не только военному делу, но и политической грамоте. Воспитание солдат там сводится к тому, чтобы каждый из них, когда ему будут командовать направо, налево или вперед, не только бы слепо выполнял приказания командира, но был бы убежден, знал бы твердо, что ему нужно именно идти туда, а не сюда. Красные так воспитывают своих солдат, что когда им скажут о назначении их на фронт, о выступлении на позицию, то каждый знает, что туда идти ему нужно, что идти и драться он обязан, и не за страх только, а и за совесть. В этом огромная, страшная сила Красной Армии.

Полковник, человек военный до мозга костей, говоря о сильной организованной армии, невольно любовался ей, от этого речь его делалась живей, начинала захватывать слушателей. В школьном классе было тихо. Все с напряженным и все возрастающим вниманием следили за докладом.

— Для культурно-просветительной работы в армии красные мобилизовали лучших работников, стянули лучшие партийные силы. Для постановки же чисто технической, военной стороны дела привлечены специалисты старой школы. Почти весь наш генеральный штаб теперь работает в Красной Армии.

— Прохвосты! Продажные шкуры! — закричало несколько голосов с мест.

Полковник немного смутился, покраснел, опустил голову, стал искать в карманах портсигар.

— Все специалисты великолепно обеспечены, в их распоряжении удобные и большие квартиры, выезды, прислуга, им платят огромные оклады. Для привлечения их к работе красные не скупятся на расходы.

— Покупают подлецов, как продажных тварей, — опять крикнул кто-то с места.

— Но есть, господа, и среди военспецов, как их называют красные, среди военных специалистов, люди, работающие в армии не из-за материальных выгод, не из страха, а по убеждению, есть среди них и настоящие коммунисты, члены Российской Коммунистической партии.

— Ерунда. Не может быть. Полковники, генералы — коммунисты! Ха-ха-ха! — заволновались, зашумели слушатели.

— Негодяи, предатели, от них всего можно ждать. Пошли в Красную Армию — полезут и в партию. До чего мы дожили! Генералы без погон, члены партии большевиков и дерутся против таких же генералов, дерутся за власть, за торжество этой серой скотинки. Боже мой, боже мой!

Полковник Иванищев схватился руками за голову, обращаясь к докладчику, стал извиняться:

— Виноват, полковник, перебил вас, но, знаете, сил нет слушать, когда говорят о таком подлом предательстве.

Докладчик закурил папиросу и молча, как бы соглашаясь с говорившим, кивал головой.

— Опыт старых специалистов широко используется красными. Они заставляют их не только работать непосредственно в армии, но и создавать кадр новых красных специалистов и командиров. Красные военные училища, или школы командного состава, и красная академия генерального штаба, там работают вовсю. Нужно сказать, господа, что в деле организации и строительства армии красные оказались на высоте своего положения. Широта размаха, предприимчивость, поощрение всякой разумной инициативы в какой бы то ни было области — вот отличительные черты наших противников. Куда бы вы ни взглянули, господа, какую бы область их работы ни взяли — везде вы поражаетесь грандиозностью и глубиной замысла.

— Ну, а скажите, господин полковник,— поднялся Мотовилов,— кашевары у красных командуют полками?

Полковник улыбнулся.

— С этим дело обстоит так: выборность командного состава отменена в армии, так что красноармейцы, если бы и хотели видеть своего кашевара в роли командира

полка, не могли бы этого сделать, так как назначают на такие должности людей, знающих военное дело. Но, однако, это не исключает совершенно возможности вчерашнему кашевару стать начальником дивизии. И в Красной Армии есть несколько теперь уже славных имен командиров, выдвинувшихся своей талантливостью из рядовой солдатской массы. Здесь красные занимают совершенно правильную позицию: с одной стороны, дают возможность талантам, самородкам применить свои силы, а с другой, создают кадр командиров и работников путем обучения в школах, на курсах.

— А офицеры-жиды есть у красных? — полюбопытствовал подпоручик Петин.

— Командиры-евреи, конечно, есть, их даже очень много. Евреи, господа, в Красной Армии — большая сила. Нам пора уже забыть старые анекдоты, что евреи стреляют из кривых ружей. Я вам скажу, господа, по личному опыту, что евреи очень серьезные враги, дельные, энергичные, смелые. Когда, например, у меня комиссар был русский, я чувствовал себя ничего. Мы с ним сжились, свыклись, официальностей у нас никаких не было. Откровенно говоря, я его заставлял частенько под свою дудочку поплясывать. Но потом его сменили за слабохарактерность — так, кажется, было мотивировано смещение. Его убрали, а ко мне прислали жида, этот прямо задушил меня, буквально не спускал с меня глаз, я шагу не мог сделать без его ведома.

В класс вошел начальник штаба и, извинившись перед докладчиком, передал офицерам приказание начальника дивизии немедленно отправиться в полк, так как было получено распоряжение сегодня же к вечеру перейти в наступление. Офицеры неохотно встали. Докладчик, сходя с кафедры, напомнил слушателям:

— Не забывайте, господа, что теперь на фронте вы имеете дело не с бандой товарищей, а с хорошо организованной армией. У красных теперь, повторяю и подчеркиваю, есть государство и армия.

На крыльце офицеры немного задержались, окружив полковника, задавали ему вопросы:

— Скажите, вот мы теперь имеем дело с серьезным врагом, ну а как же бороться с ним? И неужели в Совдепии все обстоит так благополучно, как говорите вы? — спрашивал полковник Иванищев.

— Далеко нет, господа, — отвечал докладчик, —

Я и не говорю этого, вернее, я не успел поговорить об этом с вами. Разве можно обойти молчанием то обстоятельство, что у красных с голода животы подводит? Или, например, разве не благодатная почва для нашей агитации незаглохшие собственнические инстинкты советского крестьянина? Много можно, господа, найти в Советской России такого, за что легко уцепиться и начать борьбу. У меня, собственно говоря, даже разработан небольшой план борьбы с красными в их тылу, но, к сожалению, я не имею времени его вам развить пошире, поговорить на эту тему.

Офицеры стали садиться на лошадей. Мотовилов опять ехал вместе с Барановским.

— Полковник этот просто-напросто красный шпион, провокатор, подосланный к нам. Я бы его, мерзавца, после доклада сейчас же повесил. Черт знает, что за медные лбы сидят у нас в штабах. Не понимаю. Явного шпиона пускают так свободно гулять, да еще позволяют ему разводить агитацию.

— Ну, ты, Борис, уж очень подозрителен и нетерпим. Нужно же иметь смелость, наконец, чтобы оценить врага по достоинству. Недооценка противника — скверная вещь, — возражал Барановский.

Ехали шагом, дорога была скверная, колеса вязли в грязи по ступицу. Шел мелкий дождь, и лошадь с трудом вывозила из огромных выбоин тяжелый ходок. Офицеры замолчали. Барановский смотрел на водяные пузыри, вскакивавшие в лужицах от ударов дождевых капель, и думал о том, что услышал сейчас в школе, что так глубоко врезалось в память.

— Я всю эту интеллигенцию, все офицерье, которое работает у красных, истребил бы поголовно. Предатели! Не будь их, мы давно бы загнали обратно в хлевы послушное и бестолковое стадо большевиков. Негодяи! — Мотовилов плюнул и злобно выругался. — Ну, погоняй, олух царя небесного, — закричал он на кучера.

15. ЯРКИЕ ЛОСКУТКИ

Ночью пошли в наступление. Барановский за время своего пребывания на фронте втянулся в боевую и походную жизнь, привык, не рассуждая, идти в огонь и воду, привык обходиться без бани, без чистого белья, без

теплой комнаты, привык спать днем и бодрствовать иочью и обедать утром, иа заре, перестал замечать копошащихся в платье и белье насекомых, заводившихся даже под погонами. Подпоручик спокойио шел сзади густой цепи своей роты по картофельному полю. В голове мыслей не было, думать не хотелось, какое-то тупое равнодушие, покорность скотииы, которую гоият на убой, овладели офицером. Он шел, заранее зная, что через иесколько минут произойдет встреча с противииком, что скоро заблестят огоньки выстрелов, засвистят пули и люди будут со злобной яростью кидаться друг на друга, кто-нибудь кого-нибудь погоиит, разобьет, бой утихнет, а потом разбитый получит подкреплеиие и снова кинется на победителя, снова загорится перестрелка, и так каждый день. Так было все время до сегодня, и Барановский был убежден, что так будет до тех пор, пока его ранят или убьют.

— Хоть бы скорее стукнуло, и баста, — вслух сказал офицер.

Роты Мотовилова и Барановского соприкасались флангами. Мотовилов, идя совсем иедалеко от Барановского, услышал сказанную им фразу.

— Да, это ты верно сказал, Ваия. Царапнуло бы по ноге, и отлично. Я согласен хоть с раздроблением кости. Все равно. Поехал бы тогда иа восток лечиться, пришел бы в училище и тоино бы прошелся на костылях перед бывшим начальством.

Два офицера шли в темиоте и долго вслух мечтали о том, как бы получить ранение и уехать в тыл, отдохнуть. Деревня, занятая противником, была уже близко. Мотовилов замолчал и быстро пошел на другой фланг своей роты. Цепь пошла тише, осторожией. Щелкнули затворы. Ноги стали заплетаться через борозды. Испугаино и гулко треснули выстрелы красиых секретов, за ними предостерегающе захлопали полевые караулы. Застучали макленки. Огоньки заблестели по полю, яркой, светящейся цепью рассыпались вдоль деревии. Белые остановились, залегли, брызнули, засверкали тысячами ответных огоиьков. С басистым рокотом и ревом ухнул в деревню первый снаряд и сразу же поджег какую-то избу. Яркие языки лизиули крышу, метиулись вверх, осветили улицу багровым, мятущимся светом. Заревели коровы, заблеяли овцы, и люди засуетились, заметались в страхе. Сиаряды стали сыпаться очередями, разворачи-

вая, поджигая все новые и новые дома. Пожар усилился деревня пылала, как большой костер, а по сторонам от нее вправо и влево вспыхивали огоньки выстрелов, и казалось, что это мелкие угольки летят с треском с пожарища, огненным дождем рассыпаются по полю. Без звука, без крика встали белые цепи и пошли в атаку, как верные псы, зубами, защелкали пулеметы и, высунув свои горящие, длинные языки, жадно лизали темноту ночи. Точно ветер налетел на длинную цепь светящихся угольков, начал тушить их и разбрасывать по сторонам. Люди, тяжело топая, бежали вслед за летящими, перепутавшимися, смешавшимися в кучу угольками. Ветер сердито ревел и разметывал по полю целые головни огня. Стали рваться ручные гранаты. Деревня была взята. Рота Мотовилова захватила в плен комиссара полка, в одну минуту раздела его донага, вывернула все карманы.

— Иван, Иван, — кричал на ходу Мотовилов, — мои-то ничего себе кусочек подцепили — комиссара, денег николаевских здоровущую пачку вытащили, кожаное обмундирование сняли, браунинг, бинокль.

Барановский спешил за цепью: нужно было быстро захватить и соседнюю деревушку.

— А куда самого комиссара-то дели? — закричал он.

— Черт их знает, не то живого, не то мертвого, видел только, как они его в горящую избу шарахнули.

Следующая деревушка была взята коротким, быстрым ударом. Красные, не ожидая такой стремительности наступления, беспечно спали в избах. Рота Барановского ворвалась в улицу первой. Офицер, едва поспевая за стрелками, видел, как они бросали в окна гранаты, забегали в дома и оттуда слышался дикий визг, точно там резали свиней. Солдаты Барановского, заскакивая в избы, принимали на штыки красноармейцев, прыгавших в одном белье с полатей, с печек, и валили их окровавленные тела кучами на пол, под ноги обезумевших от ужаса женщин и детей. Некоторые красные выбегали на улицу, но в белом, нижнем белье их хорошо было видно, и их кололи десятками. Улица была захвачена N-цами с двух концов. Застигнутые врасплох, люди метались через заборы, плетни, но быстрые, тонкие жала штыков догоняли их, и они висли белыми тенями на изгородях, падали на дорогу. Пройдя деревню, остановились на ее западной окраине, окопались. Барановский приказал своему полуротному собрать сведения о количестве выбыв-

ших из строя, а сам лег около плетня, думая немного уснуть. К нему подошел высокий, широкоплечий стрелок Черноусов:

— Вот так жара, г-н поручик, красным-то была. Я сам семерых в одной избе только приколол. Забежал я, значит, а они тамоко еще спят, потом как начали с полатей прыгать, а я их на штык, на штык. Одного в пузо кольнул, так на всю избу зашипел дух-то из него: «Пшшш», — представил Черноусов, как он выпускал из красноармейца дух. — А хозяйка-то визжит, батюшки мои, ребятишки орут, а я их валю, я их валю, как свиней, в кучу, на пол. Ну и потеха!

Солдат махнул рукой, стал закуривать.

— Не кури, — запретил Барановский. — Заметят, так будешь знать, как ночью в цепи курить.

Справа неожиданно звонко хлестнул огненный жгут. В несколько мгновений фланг N-цев был смят. Цепь метнулась влево, запуталась, прижатая к плетню, вынуждена была принять стремительный штыковой удар противника. Зарево пожара красным пологом трепалось в небе. Барановский, выбегая перед ротой, навстречу врагу, вдруг увидел на плечах атакующих яркие лоскуты красных погон.

— Что за дьявольщина? Свои? — молнией метнулась мысль в голове офицера.

Он хотел крикнуть, остановить свою цепь, разъяснить всем, что здесь недоразумение, что свои сейчас начнут истреблять своих. Голоса не было, он слабым стоном, хрипло, вылетел из груди и сейчас же, никем не замеченный, был растоптан, заглушен ревом бойцов:

— Ура! Ура! А-а-а.

Подпоручик видел, как офицеры и солдаты с той и другой стороны с яркими лоскутами погон на плечах бежали друг на друга, как сумасшедшие, с широко раскрытыми, слепыми глазами. Тяжелый сапог больно рванул за волосы на затылке. Подпоручик с усилием приподнялся на локтях. Голова ныла. Цепи сошлись. Винтовки трещали, ломались в руках от встречных ударов. Штыки с хрустом прокалывали грудные клетки, с шипением распарывали животы. Смертельно раненые с воем валились на землю. Мнимые враги узнали друг друга только через несколько минут после жестокой схватки. Когда цепь N-цев снова легла у плетня, многих стрелков в ротах не хватало. Мотовилов получил царапину штыком в

левую щеку. Сидя рядом с Барановским, он ругался и прижимал платком горящий шрам.

— Вот тебе и связь. Черт зиает что такое. Кавардак.

Бараиовский лежал и, думая о кровавой стычке, вспомнинал слова своего лектора по тактике:

«Виешиие зиаки отличия, форма, господа, в глазах малокультуриой солдатской массы имеет огромное значеиие. Разиые яркие лоскутки, тряпочки, галуиные нашивки в вndе погои, петлнц, каитов, шнурков, ордена, кокарды, звезды влекут к себе сердца серых мужичков. Мы должны воспитать солдат в духе любви и преклонеиия перед этими побрякушками. Мы должны убедить солдата, что только в его полку, лучшем полку из всей армни, есть красные петлнцы с черным или белым каитом. Мы должны убедить его, что ои счастливец, если носит на штанах золотой галуиный каит. И верьте, господа, если мы убедим его в этом, если сумеем заставить поверить иам, то в бою, иа войие этот солдат за этн яркне лоскутки сложит без рассуждений свою голову, докажет, что его полк — лучший полк, едиственный по доблести в армии, ибо он иосит петлицы с чериым каитом. Фетишизм живет в душе иарода, это, господа, иадо учесть н использовать шнроко и полио».

«Яркие лоскуты! — мыслеиио повторял подпоручик. — Яркие лоскуты. Из-за иих, надев их, люди глупеют. Есть что-то в этом идиошиное, безмозглое. Но какая жестокая и верная теория. Яркне лоскутки, а за ннх жизнь!»

Перед рассветом разведчикн привели двух плеиных. Один левой рукой поддерживал правую с отрубленной кистью, у другого во все лицо красиым ртом зияла сабельиая раиа, и кровь, смешиваясь с грязью, текла на гимиастерку. Оба они были мокры до костей н выпачкаиы в глине.

— Откуда это вы достали таких? — спроснл Мотовилов.

— Из озера вытащили, господии поручик. Идем, слышим стои в тростнике. Мы цап — и поймали их. Говорят, что от казаков спрятались. Казаки их, зиачит, иедорубили.

Мотовилов брезгливо смотрел иа плеиных.

— Ребята, — обратился ои к иим, — может быть, вас пристрелить лучше? Чего вам мучиться?

Не то от холода, ие то от страха молча дрожали красные и жались друг к другу.

— Вы еще молчите, мерзавцы, ие хотите отвечать офицеру, я вот вам сейчас.

Мотовилов стал отстегивать крышку кобуры револьвера. Одии побледиел так, что даже сквозь слой грязи было видно, другой, с рассечеииым лицом, совсем еще мальчик, заплакал.

— Ну, иу, испугался, щеиок, — засмеялся офицер и, повериувшись к разведчикам, приказал: — Тащите эту дряиь в штаб полка.

Когда плеииых увели, Мотовилов, стоя возле Бараиовского, возмущался, что казаки так скверно рубят.

— Не могли, черти, иасмерть-то зарубить, упустили двух мерзавцев.

Фома ворчал иедовольио:

— Стоит их в плеи брать. Тоже христосики смиреииые в слезы пустились, а как в окопе лежали, так только стукоток, поди, стоял, как отщелкивали иашего брата. Нет, мы вот этто три дия иа одии полк ихиий лезли, иикак взять не могли, а как обошли их да заграбастали с флаику, так оии все лапки подияли, мы, мол, братцы, давио к вам хотели перебежать. Сволочь! — Фома плюиул. — Коиечно, мы их всех перекололи!

На рассвете разведка доиесла, что красные густыми цепями приближаются к деревие.

— А много их? — спросил капитаи, комаидир батальоиа.

— Видимо-иевидимо, господии капитаи, — ие задумываясь, ответил разведчик.

Солдаты в цепи подияли зайца и, смеясь, как ребятишки, бегали за иим. Чериоусов показал Мотовилову иа высокие столбы пыли, стоявшие далеко в стороие красиых.

— Смотрите, господии поручик, как копоть-то коптит у красиых. Лезервы, похоже, подводят. Полезут, наверио, здорово.

Солдат разыгравшихся с трудом удалось уложить в окопчики, привести полк в боевую готовиость. По цепи было передаио приказаиие приготовиться.

Красиые ие заставили себя долго ждать, двумя большими цепями пошли оии на деревушку, занятую N-цами. Капитаи посмотрел в бинокль.

— Ого! — сказал ои, обращаясь к стрелкам. — Мио-

го в кожаных куртках есть, видно, коммунисты. Смотри, ребята, тужурки не портить, целься под козырек.

И, постояв немного, скомандовал:

— Тридцать! Редко начина-а-ай!

— Тридцать! Тридцать! Редко начинай! — передавали стрелки по цепи команду.

16. ВСЕМУ МИРУ ИЛИ ТЕБЕ?

Гнет атамановщины в районе Медвежьего, Пчелина и Широкого становился с каждым днем все сильнее. Порки, расстрелы чередовались с виселицами, конфискациями и сожжением целых сел и деревень. Жизнь в местах расположения иностранных войск и группы атамана Красильникова стала опасной самому безобидному, чуждому всякой политики землеробу. Все крестьянство подозревалось в сочувствии и содействии большевикам. Суда и следствия не существовало, их заменяло усмотрение начальства. Голословный оговор, анонимный донос или подозрение являлось достаточным основанием для приговора к смерти десятков людей.

Крестьяне бросали свои хозяйства, дома и с семьями уходили в тайгу, пополняли партизанские отряды. Остающиеся дома были запуганы до последней степени, до потери рассудка и здравого смысла.

В трех верстах от Медвежьего, в Черемшановке, на кладбище толпился народ. На краю большой, только что вырытой могилы стояли шесть мужчин и женщина, приговоренные к расстрелу. Отделение чехов заряжало винтовки. Коренастый, рыжебородый мужик в белой рубахе, с усилием шевеля холодными, синими губами, говорил чешскому офицеру:

— Господин офицер, как же это вы так меня прямо без суда и следствия в яму. Ведь понапрасну вы это. Надо обследовать бы сначала. Зачем губить человека? Мы думаем, таких правов нет, чтобы, значит, без суда и следствия, и готово дело.

Чех презрительно щурил глаза с белыми ресницами, надменно поднимал лицо.

— Ми — чешский комендант, ми имеем право повесить, расстрелять, арестовать.

Толпа, облепившая соседние могилы, стояла тихо, мигая черными испуганными, неподвижными глазами. Же-

на рыжебородого, Дарья Непомнящнх, сндела на зеленой могнле с грудным ребенком. Стоять она не могла, ногн у нее дрожалн н подкашнвалнсь. Плакать она перестала. Слез не было.

— Ну, прощайся! Сейчас будем расстрелять!

Прнговоренные закнвалн головамн. Родные бросnлнсь к ннм.

— Нельзя!

Офицер поднял руку:

— Не разрешается. Можно сдалека. Все равно!

Женщнна упала на коленн, бнла себя в грудь.

— Господнн офнцер, последннй разок дайте у мужа на грудн поплакать. Ой-ой-ой! Как жить я буду, сиротинушка! Соколнк ты мой ясный, Петенька. Разнесчастный мой ты, Петенька! Ой-ой-ой!

Лнцо чеха стало раздраженно-холодным, нетерпелнвая грнмаса дернула розовые губы.

— Давольн! Нельзя! Мн начннаим!

Ребенок на руках у Дарьн проснулся, разбуженный криком матерн, заплакал. Рыжебородый потерял жену из внду. Черные дыркн вннтовок ударнлн его по глазам. Солнце померкло. Мужнк ослеп. Лнца родных, толпу он перестал вндеть. Могнла за спнной стала глубже, шире, дышала сыростью. Осужденная женщина шумно вздохнула, захватнла полную грудь воздуха. Тяжелый запах землн закружнл ей голову. Она покачнулась. Брат, стоявший рядом, нежно обиял ее, поддержал н, целуя в похолодевшую щеку, тнхо сказал:

— Держнсь, Маша! Вдвоем не страшио.

Мужчнна говорнл ласково, ио глаза его уже былн мертвы, блестелн острым стекляиным налетом, зрачкн расшнрнлись н остановнлнсь. Офицер что-то шептал солдатам, показывая глазамн на женщнну, те кивалн головамн. Белая перчатка поднялась над фуражкой чеха. Прнговоренные одновременно, медленио, с уснлнем, точно нх кто потянул за шен, подиялн лнца, уперлнсь тяжелымн взглядамн в тонкую чистую руку в рукаве с белым обшлагом. Перчатка шевелнла на ветру пустымн пальцамн. Дула вннтовок вздрогнулн, расплылись в одну огромную черную дыру. Острый огненный нож сверкнул нз железного мрака, проткнул грудь шестерых. Сброснлн в яму рукн н ногн, слабые, как плеть, н головы, закннувшнеся на спнну. Женщнна едва удержалась на ногах, прнсела на корточкн и, опнраясь о землю ру-

ками, ртом хватала воздух, как рыба, вытащенная на берег. Чех подошел к ней.

— Видель, сволочь! Больше не будешь бунтовайт? Иди, сука, домой и расскажи всем, что большевиком быть плохо есть!

Женщина не поняла ни одного слова. Толпа опустила плечи. Кое-кто сел на землю. Головы валились на грудь. Дарья лежала без сознания. Ребенок плакал:

— Ааа! Уаа! Ауа! Ауа!

— Где есть старост? — крикнул офицер.

— Я здесь — седая борода Кадушкина тряслась от страха.

— Закопайт этих разбойников. Хоронить родным не давайт. Ми проверим после!

Чехи торопились. Закинули винтовки за плечи. Сели на лошадей.

— Ми проверим, если хоть одного не будет в яме, то все село будет сожжен.

Офицер скомандовал по-чешски. Кавалеристы подняли сразу лошадей на рысь. Толпа шарахнулась на две стороны, дала дорогу.

Молчание сковало людей. В стороне Пчелина шел бой. Глухое ворчанье орудий раскатывалось по земле. Крестьяне вздохнули.

— Чего же, ребята, зарывать надо!

Кадушкин мял в руках фуражку. Подойти к яме заглянуть в нее было страшно и тяжело. Лопаты торчали на черном бугре, глубоко воткнутые в рыхлую землю еще расстрелянными. Перед смертью чехи заставили их вырыть себе могилу. Рыжебородый, раненный в бок, поднялся, сел. Теперь он хорошо видел окровавленные лица мертвых товарищей.

— Братцы, помогите!

Толпа вздрогнула, метнулась к яме, нагнулась над ней.

— Петя, милый, ты жив!

Радость надежды легко подняла женщину с земли.

— Братцы, выручите! О-о-о-х!

Кадушкина трясло.

— Михаил Михайлович, надо веревки достать, вытащить мужика-то моего. Сам он, однако, не в силах будет вылезть.

Кадушкин молча жевал беззубым ртом. В подслеповатых глазах его пряталось что-то хитрое и трусливое.

Мужики о чем-то задумались, не двигались с места, молчали. Лица слились в одно белое пятно. Мысль беспощадная куском льда залегла в голове толпы. Лбы покрылись холодным потом. Петр, истекая кровью, зябко вздрагивал. Толстая, жирная глиста, разрезанная лопатой, крутилась у него на сапоге. Раненый старался не смотреть на нее, но она упорно лезла в глаза, росла, извивалась толстым жгутом. Молчание и неподвижность толпы заледенили воздух. Стало холодно, как зимой. Дарья посмотрела кругом, сердце у нее упало, закатилось, в ушах зазвенело, она поняла:

— Что вы, звери, опомнитесь! — закричала женщина и задохнулась.

Толпа, единодушная в своем решении, серая, безглазая, навалилась ей на грудь. Тишина треснула, как льдина.

— Рассуди, Дарья, всему миру, всей деревне пропадать или ему одному? Чехи узнают, не помилуют за это.

— Ироды, звери, креста на вас нет!

Дарья уронила ребенка, грудью упала на землю.

— Кидайте и меня к нему, зарывайте вместе.

— Михал Михалыч, вы чего это? Неужто меня живьем зарыть хотите?

Рубаха рыжебородого густо намокла кровью, губы совсем почернели. Староста развел руками:

— Уж, гляди сам, Петра, что с тобой делать? Отпустить тебя — всем пропасть. Подумай сам, всему миру али тебе пропадать?

Нижняя губа у Петра задергалась, слезы потекли на бороду. Он с тоской обвел взглядом черные стены ямы, поднял лицо кверху. Седая борода старосты тряслась над могилой. Мужики стояли угрюмые, твердые, неумолимые, как камни. Теплый, дурманящий запах свежей крови стеснял дыхание. В яме было душно. Рана горела. Голова кружилась у Петра. Держал он ее с усилием и, несмотря на жару и духоту, дрожал, тихо щелкая зубами. Ребенка подняла и отошла с ним в сторону соседка Непомнящих. Мертвые в могиле лежали спокойно. Земля под ними стала теплой и мокрой. Кровь текла ручейками из разодранных спин и затылков. Лица вытянулись, пожелтели.

— О-о-о-х! Как же быть? Я бы в тайгу ушел.

— Зря городишь, Петра! Из-за тебя всем пропадать, что ли? Стыдно тебе, Петра! Пострадай за мир!

Пострадай, Петра! Пострадай! Мы бабу твою не оставим!

Толпа кричала, волновалась, засыпала словами раненого, как комьями земли.

— Ироды, палачи!

Дарья исступленно взвизгивала, рвала на себе кофту, каталась по земле. Петр окоченел от холода. Небо в узкой щели ямы потемнело. Яма стала тесной. Сырые, черные стены сдвинулись, сжались.

— О-о-о-х! Воля ваша. Дайте хоть напиться останный раз. Горячего бы. Чайку бы.

Петр был побежден. Сопротивление одного, беззащитного человека, хватавшегося за жизнь, было сломлено упорством толпы.

— Это можно, сичас, мы сичас, — засуетился староста.

Кадушкина успокоило согласие Петра, он старался убедить себя в душе, что иначе поступить нельзя, что они делают правильно, если даже сам обреченный на смерть соглашается с ними.

— Ребята, там кто-нибудь сбегайте за кипятком.

Николай Козлов, свояк Петра, живший рядом с кладбищем, принес туес горячего чая.

— На, Петра. Эх, сердешный, за што страдаешь? И то што у меня самовар баба согрела.

Николай с участием смотрел на свояка, качал головой. Петр пил долго, медленно, маленькими глотками. Женщины крестились в толпе и шептали:

— Господи, пошли ему царство небесное. Мученику за нас, грешных. Господи, прости ему все согрешения вольные и невольные!

Петр напился, со стоном подал туес обратно. Николай нагнулся, встал с коленей.

— Петя, не надо! В тайгу пойдем! Не хочу я!

— Замолчи, Дарья! — староста сердито посмотрел на женщину. — И так невмоготу, а она тут верещит еще. Смотри, народ-то как потерянный стоит.

Глиста вертелась, издыхая. Из толстого разрезанного куска червя размазывалась по сапогу грязная липкая жидкость. Петр закрыл лицо руками, зарыдал.

— За-за-за-ры-ры-ры-ва-а-а-айте!

— Ты, Петра, ляг, ляг, ничком. Оно лучше так, без мучениев задавит.

Кадушкин трясущимися руками выдергивал из земли лопату. Петр ткиулся лицом в живот мертвеца. Мужики засуетились, ие глядя вниз, отвертываясь друг от друга, опустив головы, торопливо стали сталкивать в могилу сырую, рыхлую землю.

— Надо, ребятушки, утаптывать, утаптывать. Он так кончится, без мучениев.

Староста спрыгнул в яму, закидаииую менее чем иаполовину. Петр, задыхаясь, приподнялся под землей. Кадушкин едва удержался иа иогах, ухватился за край могилы. Несколько мужиков стали топтать легкую землю. Петр бился в предсмертных судорогах. Земля слегка колебалась под ногами могильщиков! Что-то белое, не то палец, не то кусок рубахи, торчало среди черных комьев. Кадушкин отвериулся, полез наверх.

— Давайте еще, ребятушки, подсыпем землицы!

Белое утонуло в черном. Толпа быстро, почти бегом пошла с кладбища. Смотреть ии на что не хотелось. Собаки, лаявшие из-под ворот, и куры, рывшиеся в пыли улицы,— зиали все. Стеиы домов, темные от времени, щели в заборах, сучки в них, вывалившиеся белыми круглыми дырками, кочки на дороге, клочки пыльной травы кучей лезли в глаза. Раньше их ие замечали. Люди торопились. Надо было поскорее спрятаться. Забиться домой, запереться на все затворы.

Дарья изорвала на себе всю кофту, растрепала волосы, ползала иа четвереньках, выла и разрывала руками засыпанную и притоптаииую яму. В глазах у иее стояли мужики с лопатами. Земля под мужиками тряслась, и оии прыгали с иоги иа ногу, широко раскииув руки, стараясь сохранить равиовесие.

— Петя, я сейчас! Я тебя отрою!

Женщина скребла землю и выла, протяжио, с безиадежиой тоской:

— Отрою-ю-ю! Ю-ю-ю! У-у-у!

17. ПИЛИ, ПИЛИ

Осажденные в Пчелине партизаны не выдержали соединенного натиска итальянцев, чехов, румын и красильниковцев. Отражая ежедневно бешеные атаки белых, они израсходовали почти все патроиы и вынужде-

ны были отдать село, после четырнадцати дней отчаянной борьбы отступить в тайгу.

Коииая разведка белых быстро проскакала по всему селу, закружнлась иа околнце. Пешие дозоры заползлн в улнцы, осмотрелн все переулки, общарили дворы. С музыкой и песнями, четырьмя пестрыми колоннами вошли победнтели в пустое Пчелино. Почти все крестьяне ушлн с партизаиамн. Дома осталнсь старики, старухи, ребятншкн и людн, вкоиец запуганные белым террором илн, в силу своих личиых интересов, сочувствующие им. Офицеры ехалн верхом иа лошадях впереди своих частей. На углах было расклеено воззвание агитацнонного отдела Революционного районного таежного штаба повстаицев. Полковник-француз на породнстой лошади подъехал к белому лнстку, стал читать:

К КРЕСТЬЯНАМ И РАБОЧИМ
ТАЕЖНОГО РАЙОНА

Товарнщн крестьяне н рабочне! Врагн трудящнхся, белые разбойннкн, цепляясь перед скорым концом за свою власть, выдумывают всякие способы, чтобы посеять в нашнх рядах смуту, продлнть братоубийственную войну. Они обманывают вас, говоря, что воюют за восстановленне какого-то порядка в стране. Онн нагло лгут, эти кровососы, когда говорят, что большевнки уничтожают всех поголовно, без разбора. Онн сотнямн пудов рассылают повсюду свою лнтературу, в ней онн пишут о несуществующих зверствах большевиков.

Нет, не мы убнйцы, а те, кто стремнтся к праздной н веселой жизнн, кто хочет быть паразнтом, — это Колчак со своей наемной сволочью. Он со своимн мнннстрамн прн вступленнн на свой колчаковскнй престол сказал, что не пойдет по пути реакцнн, а будет заботнться о благе народа. Но вы все, товарнщн, увнделн теперь, к какому бедствию прнвела нас власть зверя Колчака. Вы все узналн, что Колчак — кровопнйца, грабнтель н ннзкнй человечншка. Он прннес нам разрушенне. Он растоптал права трудового народа. Он посеял между намн вражду н разделнл нас, трудящнхся, на два враждебных лагеря. Он натравнл брата на брата, отца на сына и сына на отца. Он н все его звери, генералы н офнцеры, повеснлн, расстреляли, запоролн, зарубили десятки тысяч невнннных людей, даже беззащнтных женщин. Онн, прнкрываясь разлнчными названиямн — реквнзнцией, контрнбуцней, — открыто н беззастенчиво пронзводнлн грабеж. Этимн зверямн сожжены тысячи сел н деревень, разграблены у крестьян деньги н сельскохозяйственные машнны, вещи, мебель, одежда. Все это эти мерзавцы делалн сознательно. Не моглн онн, паразнты, не знать, что с разореннем крестьянского населення уннчтожается народное богатство н разоряется сама страна. Армия, нменующая себя защнтннцей народных прав, расхищает народное достояние. Пьяное, рас-

путное офицерство на народные деньги шьет себе щегольские костюмы, нацепляет на себя золотые погоны. Награбленные и снятые с расстрелянных одежды надевают на продажных развратниц своего круга.

Зверствам белогвардейцев нет конца. Не удовлетворяясь расстрелами, они придумывают самые ужасные казни. Рубят шашками, вешают, забивают нагайками, шомполами, колют штыками, топят в воде, изнуряют голодом. Ведя на казнь осужденного, глумятся над ним. Издеваются над трупами. Вешают на воротах, на колодезных журавлях. На место казни матерей приводят осиротелых детей и на глазах у них проделывают самые отвратительные зверства. Грабя крестьянское имущество, они ненужные для себя вещи рвут, ломают, разбрасывают по улицам. В домах разбивают окна, раскидывают крыши, разрушают печи, портят мебель, жгут книги и библиотеки, уничтожают все необходимые школьные принадлежности, разрушают сцены народных домов. Это проделывают люди, которые взяли на себя якобы роль возродителей России. Звери, хулиганы, тунеядцы, кровососы — вот им название, и никакого другого названия для них нет. А продажные шкуры, попы, змеиным ядом лжи разжигают среди солдат человеконенавистнические страсти и, служа в церквах молебны о даровании победы этим палачам, именуют всю колчаковскую свору христолюбивым воинством.

Воззвание было склеено из двух кусков. Нижняя часть, написанная на другой машинке, другим шрифтом, была кое-где порвана, некоторые строчки стерлись. Француз нагнулся ниже, с усилием разбирал слово за словом, краснел и бледнел от злости.

Бороться с этими гадами нам сейчас тяжело, трудно. Но знайте, товарищи рабочие и крестьяне, что рано или поздно победа будет в наших руках. Мы не одни, товарищи. С запада белых гонит Рабоче-крестьянская Красная Армия (она уже захватила Челябинск). Во всем мире рабочие и крестьяне поднимаются на борьбу со своими поработителями. И хотя колчаковская сволочь и пишет, что беспорядок, гражданская война только у нас в России, а везде, мол, тишь да гладь, но мы знаем (белогвардейские газеты проговариваются иногда), что революционное движение сейчас разгорается во всех странах. Мы знаем, что скоро чехи, румыны, итальянцы и другая продажная иностранная сволочь будет увезена из России, так как у них на родине, как они говорят, появилась язва большевизма. Кроме того, господа культурные убийцы и грабители никак не могут разделить распятой ими Германии, готовы из-за добычи вцепиться друг другу в горло. Близится час, когда Социальная Революция во всем мире сбросит в помойную яму истории всех этих негодяев и палачей трудящихся, шарлатанов, паразитов нашего труда — колчаков, клемансо, асквитов, вильсонов.

Долой эту международную сволочь!

Товарищи крестьяне и рабочие, вы знаете, что из себя представляют эти звери в образе людей! Вы хорошо познаком-

лись с идеямн, которые проповедует колчаковская банда, и ее деяннями.

Жить с нимн нельзя. Теперь вопрос ставнтся ребром: нлн мы, трудящнеся, или онн, паразнты? Кто-ннбудь из нас должен быть уничтожен. Если вы все это поняли, товарищн, то встаньте все, как однн, на борьбу с этнмн кровопийцами, сомкнитесь в крепкие ряды и своей мощной богатырской снлой мозолистой рукн сметите навсегда гнет этих тунеядцев.

Довольно рабства н наснлня!

Покажнте, что вы не рабы, что вы не дадите себя угнетвть, что вы сумеете отстоять свон права и человеческое достоинство. Докажнте своим вековым угнетателям, вампнрам, что вы нмеете одннаковое првво на жизнь. Докажнте им, мерзавцам, что вы родные детн жизни, а не пасынки ее. Довольно им наслаждвться жизнью, в довольстве и неге проводнть ее. Заставнм нх, товарнщн, труднться, как н мы труднлнсь. Пусть узнают, пвразнты, как тяжелв доля трудового народа.

Долой угнетателей и дврмоедов!

Да здравствуют мозолнстые рукн!

Да здравствует Твежная Соцналистнческая Федератнвная Советская Республнкв!

Да здравствует Советсквя влвсть!

Агнт. отд. прн Революционном военном штабе повстанческнх войск Таежного района.

Полковник поморщился, обернулся к адъютанту и, показывая рукой на воззвание, приказал:

— Lieutenant, arrachez cette merde! Je n'ais pas tout compris, mais probablement, quelque chose de hardi et outrageant [1].

Адъютант маленькой рукой, затянутой в кожаную перчатку, попытался сорвать листок. Воззвание было приклеено прочно, не поддавалось усилиям офицера. Лейтенант сделал несколько нетерпеливых движений, занозил себе два пальца, разорвал перчатку.

— Que diable t'emporte! [2]

Шашка вылетела из ножен. Воззвание было вырублено, искрошено в клочки с деревом вместе.

В селе белые задержались не более двух часов. Передохнули, напились чаю и снова бросились преследовать отступавших партизан. Полковник Орлов в своем донесении Красильникову писал перед выступлением из Пчелина, что он двигается на север ликвидировать деморализованные и рассеянные по тайге банды большевиков.

[1] Лейтенант, сорвнте эту гадость. Я не все понял, но, кажется, что-то дерзкое н оскорбнтельное.

[2] Черт тебя возьмн!

Французы — седоусый полковник и молоденький лейтенант — ехали с итальянским штабом отряда сзади всей колонны в новеньком рессорном экипаже на резиновом ходу. Ноздри полковника раздувались от удовольствия, глаза блестели. Он жадно дышал свежим, душистым воздухом тайги. Сосны, пихты, ели, кедры махали зелеными лапами над головами офицеров.

— Quelle excellence! Quelle beauté! [1]

Полковник оглядывал от корня до вершины вековые стройные стволы таежных красавцев.

— Quelle richesse! Quelle richesse! [2]

Адъютант утвердительно кивал головой, поправляя пенсне, свалившееся с носа от сильных толчков на выбоинах и корнях в глубокой колее дороги.

Маневрами больших масс противника у партизан были отрезаны все пути отступления. Они были прижаты к стене девственной, непроходимой тайги. Сотни телег с семьями, гурты скота, обоз раненых и больных, подводы с продовольствием и огнеприпасами, конный дивизион Кренца, все три полка, учебный запасный батальон, комендантская команда, команда связи, саперная команда собрались в одном месте на зеленой таежной поляне. Штаб стоял, охваченный плотным кольцом стрелков. Положение создалось тяжелое. Необходимо было немедленно принять определенное решение. Люди молча, опустив головы, думали. Жарков, закусив губу и наморщив лоб, смотрел режущим, неподвижным взглядом в лица бойцов. На поляне было почти тихо. Ребятишки только нарушали угрюмое безмолвие, и коровы мычали жалобно, протяжно, как на пожаре. Малодушной мысли о плене не было ни у кого. Огненной ненависти к белым, казалось, хватило бы для того, чтобы выжечь на своем пути всю тайгу, пойти на самые страшные жертвы и лишения, биться до последнего патрона, до последнего целого штыка и живого бойца, но не сдаться.

Трое конных разведчиков подъехали к Жаркову с донесением, что белые в пяти верстах колонной движутся следом за отходящим заслоном 1-го Таежного полка. Жарков тряхнул головой, выпрямился. Близость врага заставила усиленно заработать мысль, сердце быстрее погнало по жилам кровь. Мускулы напряглись. Он

[1] Какая прелесть! Какая красота!

[2] Какое богатство! Какое богатство!

уже знал, что нужно делать. Он отчетливо представил себе план предстоящего боя и дальнейшего отхода.

— Товарищи,— голос вождя звенел,— белые гады гонятся за иами, они иедалеко.

Бабы стали униимать ребятишек, мужики, толкаясь, столпились вокруг штаба, бойцы-партизаиы стояли плечом к плечу, задевая друг друга ружьями.

— Сейчас иужно будет приготовить им встречу!

Ружья застучали, толпа колыхнулась, зажжеииая опасиостью.

— Все равио пропадать! Пусть суиутся! Мы готовы! Мы им еще покажем!

Жарков замахал рукой:

— Товарищи, без рассуждения. Я вас ие спрашнваю, готовы вы али иет. Партнзан должеи быть завсегда готов. Кто ежели ие готов или ие желат, тот ие партизаи, ему ие место промеж иас! 1-му Таежному полку иемедлеиио выступить навстречу своему заслону и, соедииившись с иим, остановить белогвардейцев иа лииии Сохатииого колка. 3-му Пчелиискому вдоль всей этой поляиы, вои тама,— Жарков показал рукой,— приступить к рубке засеки и рытью окопов. 2-му Медвежиискому — батальои иа правый фланк, позадь Таежиого, два батальона — иа левый фланк. Креиц, тебе задача: во что бы то ни стало забраться в тыл гадам и захватить у иих патронов. Без патроиов пропадем. Учебннкам, комеидантской и беженцам пилить и рубить тайгу в иаправлеиии иа Чистую. Рубите ие больио широко, так, штоб телеге проехать. Пилить и рубить без останова, попеременио и деиь и иочь. Пропилим, уйдем на Чисту, на плотах спустимся к Чериой горе. Не пропилим, придется все побросать. Без продуктов, да без обоза ие навоюешь миого. Ну, валите, ребята! Время иет!

Таежиый полк выстроился, тремя змейками пополз вперед, щупая коииыми и пешими дозорами молчаливую тайгу. Поляиа зашевелилась. Люди приинялись за работу. Все хорошо знали железиую руку Жаркова, знали, что он ие пощадит измеииика, ио и знали, что зря прнказывать и делать ои также ие будет. Первый топор, сочио тяпиув, впился в сосну. Его поддержал целый десяток других. Звоико зашипели пилы. Тайга наполнилась шумом и стуком. Бабы и девки растаскивали бурелом. Медвежинский полк валил верхушками иа поляну огромные деревья. Саперы сейчас же заостривали

сучья, оплетали их колючей проволокой. Жарков сам промерил шнрину поляны.

«Две тысячи шагов. Здорово. Запомним»,— мыслению рассуждал партизан, стаиовясь на опушке.

Таежиый полк подошел к Сохатиному колку, когда заслон, уже окопавшись на ием, ждал приближения белых. Мотыгии положил весь полк в цепь.

Белые шлн беспечно, как победители. Орлов не допускал мыслн о серьезном столкновеиии с красиымн. Цепь партизан перехватывала узкую дорогу, по которой шла колониа красильинковцев. Мотыгии, спрятав бойцов в тайге, без выстрела пропустил коиный дозор противиика, потом, как только он проехал, сомкиул цепь и встретил белых метким, иеожидаииым залпом. Орлов не растерялся, нагайкой стал разгонять в цепь солдат, струсивших и побежавших толпой.

— Стой, сволочь! Запорю! В цепь! — ревел полковиик.

— Пара красных иаскочила, а оии уже в штаны иапустили! Господа офицеры, по местам! — Успокаивающе щелкиули первые выстрелы. Белые оправились. Стали вытаскивать ранеиых.

— Часто начинай! — приказал Орлов.

Защелкали пачками. На самой дороге, обозлившись, запел пулемет. Партнзаиы уткнулись головами в окопчики, не стреляли.

Полковиик и лейтеиант, услышав стрельбу, недоумевающе перегляиулись, стали прислушнваться. Кучер остановил лошадь. К экипажу подошел офицер-итальяиец.

Креиц с одиим эскадроном выехал во флаиг иностраиному отряду.

— Смотрнте, товарнщи,— шептал он кавалеристам,— наши с женами, детншкамн тайгу рукамн рвут, а эта сволочь в ланде раскатывается.

Партизаны вытащили из ножен клиики. На молодое, безусое лицо командира легла чериая теиь, ои подался всем туловищем вперед, воткиул шпоры в бока лошади.

— Ура-а-а!

Среди сучьев, темной зелени и желтых стволов сверкиули блестящие, острые языки сталн. Французы н итальяицы ие успели ннчего понять. К лейтенанту иа колени упало кепи полковника, сброшенное с головы ударом шашки вместе с крышкой черепа. Адъютант уднвнлся, что кепи, светло-сииее всегда, вдруг стало красиым. В следующее мгновение сам он, взмахнув руками, уроннл голову

под колеса, ткнулся обрубком шеи кучеру в спину, облил кровью весь экипаж. Итальянец метнулся в сторону, но у него сейчас же разорвалась шляпа, вывернулась красной, теплой подкладкой. Весь отряд итальянцев был деморализован. Солдаты, бросая винтовки, бестолково метались от кавалеристов. Короткие накидки у них раздувались за плечами, шляпы падали. Партизаны секли итальянцев, как капусту. Менее чем в минуту колонна была разогнана, перерублена. Крейц не позволил снимать обмундирование с убитых, торопил бойцов. Захватив около сорока цинков патронов, два пулемета, десятка три винтовок, партизаны бросились обратно. Подошедшие к месту налета румыны открыли вслед им огонь. Кавалеристы ускакали, потеряв троих ранеными и одного убитым.

Черный кудрявый пудель закрутился у трупа своего хозяина, взвизгивая, стал лизать мертвые, похолодевшие, пухлые руки...

Мотыгин, услышав перестрелку в тылу у белых, понял, что Крейц благополучно заехал в хвост наступающим. Предприимчивый партизан моментально учел моральное значение нападения кавалеристов, решил использовать некоторое замешательство красильниковцев.

— Товарищи, вперед! Ура-а-а!

Мотыгин первый бросился в атаку. Белые побежали. Партизаны огнем в спину вырвали у них из цепи несколько десятков солдат, подобрали винтовки убитых, сняли с них подсумки, обмундирование, сапоги и снова отошли на свои позиции к Сохатиному колку.

Беженцы и партизаны учебного батальона с шумом и грохотом врезались в тайгу!

— Товарищи, пили! Пили! На фронте бой! Патронов у нас мало! Скорее! Скорей!

Старики, женщины, парни и девушки и взрослые мужчины работали с ожесточением. Вековая, твердая, как камень, лиственница сопротивлялась больше всех. Широкоголовые кедры, глухо стоная, ложились под ноги, кланялись пышными шапками. С треском падали сосны и ели. Благоухая ароматом смолы, подкашивались пихты. Живое огненное сверло впивалось в душистое, желтозеленое тело тайги, рвало его, прорезая широкую прямую борозду.

— Пили, товарищи! Пили!

У корней в зеленоватом полумраке бился пестрый

клубок. Дарья Непомнящих пилила со стариком Чубуковым. Ребенок у нее умер.

— Устала, поди, Дарья?

Чубуков остановил пилу, вытер рукавом потное лицо.

— Какой там устала. Пилить надо, дедушка. Всех они нас, ироды, в землю закопают, коли не уйдем.

Дарья нагнулась, сморщившись, проглотила слезы. Пила зазвенела. Деревья трещали, падая, разгоняли людей в стороны, грохочущим ревом прощались с живыми братьями, недорубленные вздрагивали всем стволом, трясли иглами.

— Пили, товарищи! Пили!

Орлов был взбешен неудачей. Собрав свою цепь и дав немного отдохнуть солдатам, он бросился в контратаку. Партизаны, как и всегда, подпустили белых на близкое расстояние, сильным огнем остановили их, заставили лечь, окопаться. Красильниковцы стреляли пачками до сумерек. Ночью Жарков приказал Таежному полку оставить позицию, отойти в резерв. Сторожевое охранение выставил 3-й Пчелинский полк, он же занял укрепленные окопы вдоль всей поляны. Медвежинцы, напившись чаю, принялись за прорубку дороги. Стрелки, сменившиеся из первой линии, легли спать. Костры горели ярко. Коровьи и лошадиные морды, жевавшие траву, стали медно-красными, тяжелыми. Женщины, которым нельзя было отойти от ребятишек, готовили ужин на весь отряд. Высокими, качающимися тенями наклонялись они над огнем, мешали длинными ложками в больших котлах и ведрах. Несколько собачонок жадно ловили носами запах разваривающегося мяса, жались к кострам. В чаще тайги треск и грохот не умолкал. Саперы, по пояс в ледяной воде и вязкой тине, настилали гати и мостки через таежные ручьи, болотца и речушки. В темноте, на ощупь, люди расчищали себе дорогу.

Чубуков не успел вовремя отбежать в сторону, срезанное дерево, свалившись, вывихнуло ему ногу. Старика унесли к обозу. Дарья бросила пилу, с саперами лазила по воде, помогала укладывать бревна. Ночью пилили медленнее, осторожнее... Прежде, чем свалить дерево, кричали:

— Берегись!

Ждали, пока все отойдут, переспрашивали, повторяли предостережение. Жарков, с трудом вытаскивая из тины

бродни, ходнл вокруг саперов, давал указания, распоряжался, помогал выкатывать длнийые стволы только что срублеиных деревьев. Людей виднo ие было. В темиоте стоял острый запах пота. Стук топоров и свнст пил иапоминал фабрнчный шум машин. Казалось, что в самой гуще днкого леса полным ходом работает большой завод с потушеннымн огнями. Нн окои, ии здаиия разглядеть было нельзя. Деревья падали.

— Товарищн, пнлн! Пилн! — Жарков кричал, сквозь гром работы подбадрнвал бойцов.

— К утру, товарнщи, поляну-то очнщать надо?

В тайге далеко н на поляне другой Жарков, невидимый, огромиый и властиый, раскатисто повторял:

— Пилн, товарнщн! Пилн!

Все мыслн сосредоточнвалнсь иа одном:

— Пропнлить! Пропнлить!

— Товарнщн, пилн!

Сверло с грохотом впнвалось в разбуженную тайгу. Узкая полоска новой дорогн росла. Завод стучал, звеиел. Потом пахло снльнее, чем смолой.

К рассвету весь обоз, подвода за подводой, осторожио заполз в узкую щель просеки. На поляне оставались черные головнн потухшнх костров. Скот, зажатый между телег, ревел, срывался в воду с мокрых, скользких бревеи мостков. Жеищнны жалнсь с ребятишками иа возах. Комары миллионамн набрасывались на беглецов. Впередн пнлнли. Тайга медленно расступалась, давала дорогу. Жарков с командиром Пчелннского полка задержался иа поляие.

— Смотри, Силантьев, держись до последу. Если станет невтерпеж, вздумаешь отступнть — предупредн.

— Об этом не думайте, товарищ Жарков, постоим, как снла возьмет.

— Нам чтобы врасплох с пнлами да с топорамн не влопаться.

— Не сумневайтесь.

— Ну, смотри, брат, ие подгадь. Счастливо тебе.

Жарков повериул лошадь, поехал к обозу. Со стороны Сохатииого колка трещали выстрелы. Полевые караулы партизан встречали разведчнков белых. Весь день красильниковцы небольшимн разведывательными партиямн путалнсь по тайге. Кучкн партнзан нз засады нападали на ннх, обращали в бегство. Ночь прошла спокойно. Но работа ие остаиавливалась. Узкая щель раз-

дирала тайгу, наполнялась людьми и животными, кипела шумным горячим потоком.

— Пили! Пили!

Пчелинцев сменили медвежинцы. Черепков промерил поляну, наставил кое-где вешки, думая бить наверняка, прицел назначать сразу безошибочно. Полевые караулы и маленькие засады были сняты. Партизаны залегли за укрепленной засекой в окопах.

Гусар в красной бескозырке осторожно подъехал к краю поляны, остановив лошадь, всматривался в темную чащу. Партизаны зашевелились, приподняли головы.

— Товарищ Черепков, дозвольте уконтрамить его,— шептал молодой парень Петр Быстров.

В зеленой тени глаза Петра светились, безусое, круглое лицо напряженно вытянулось.

— Погоди, ближе подъедет.

Гусар нерешительно тронул шпорами бока лошади. За ним выехали еще двое. Ехали шагом, озираясь по сторонам, часто оглядывались. Красные бескозырки яркими пятнами качались над головами пегих лошадей.

— Трах! Трах! Трах!— почти одновременно хлопнули три винтовки.

Две лошади упали. Одна грудью, другая села на зад, свернулась на бок, забила ногами. Третья сбросила мертвого всадника, захрапела, побежала к партизанам. Ее поймали. Красные блины шлепнулись на траву. Один гусар, прихрамывая, бросил винтовку и шашку, заковылял назад.

— Трах!

Гусар лег, махнул руками, затих. Быстров и человек пять партизан побежали подбирать оружие, снимать седла с убитых лошадей, обмундирование с гусар. С другого конца поляны злобно рявкнул залп. Опушка зашумела, защелкала. Красные побежали обратно. Длинная, ровная цепь, стреляя на ходу, вышла из-за деревьев. Не получая ответа, белые шли нервно, торопливо. Они благополучно миновали вешки на тысячу шестьсот шагов, тысячу двести, восемьсот.

— Приготовиться!

Кривой сучок с пучком соломы. Шестьсот.

— Пулемет, огонь!

Животы стало рвать. Красильниковцы, подгибая колени к подбородку, кувыркались на землю.

— Часто начинай!

Цепь рвалась, путалась. Залегла. Сзади подползала резервная, густая, еще не обстрелянная. В иглах сваленных деревьев клубился пороховой дым, мешал. Сотни глаз зорко вглядывались, беззвучно, одновременно, ровно мигали. За спиной у партизан грохот не ослабевал. Топоры стучали, как пулеметы. Пилы со свистом грызли толстые стволы. Рубахи и кофты промокли потом насквозь.

— Пили, товарищи! Пили!

Пули залетали в обоз. Ранило корову. Ветки, сбитые сверху, падали на головы. От телег с патронами протянулась к первой линии длинная цепь. Несколько человек, сидя на возах, заряжали патроны для бердан и централок. Вперед шли тяжелые, с порохом и кусками свинца, холодные. Назад передавали легкие, горячие, пустые, пахнущие дымом. Дарья ползла от окопчика к окопчику, собирала стреляные гильзы. Жены бойцов подтаскивали цинки, раздавали пачки винтовочных патронов. Ранило Кузьму Черных, Степана Белкина, Ивана Корнева, Пустомятова, Ватюкова, Лукина. Их несли, и за ними по узкой дороге алела узкая полоска крови.

— Тра-ах! Баррах! Бах! Тах! Та-та-та! Та-та-та!

Упругая красная цепь отталкивала белую обратно. Как оспа, изъели окопчики зеленое лицо поляны.

— Цепь, вперед! Ура!

— Та-та-та! Та-та-та! Брах! Бах! Тах! Трах!

Запутались в засеке, повисли на проволоке, забились, как мухи в тенетах.

— Та-та-та! Та-та-та! Трах! Трах! Трах!

— Товарищи, пили! Пили!

Побежали назад. Задохнулись, упали на траву, расползлись по черным ямкам.

— Бах! Бах! Уррр! Виужжж! Баххх!

— Эге, артиллерию пустили! — Черепков наморщил лоб.

— Товарищи, без приказания не отступать!

На проволоке на сучьях мотались мертвые. Белые стали убирать убитых и раненых. Гранаты пыхали огнем, раскидывали, разламывали засеку. Проволока рвалась и висла клочьями. Дым мешал.

— Та-та-та! Та-та-та!

Надо бы торопиться. В первой линии стало душно, воздуху недоставало. Щель ревела. Коровы мычали. Лошади бились, храпели, ржали. С топорами, с пилами люди ползли под корнями.

— Пили! Пили!
— Ура! А-а-а!
— Врешь, иаколешься!
Черепков стоял в цепи во весь рост.
— Крой, товарищи! Чаще! Чаще!
— Трах! Бах! Ба! Бах! Та-та-та!
— Так их! Еще разок сбегайте, господа, до ветра!
Белые сиова отошли. Артиллерия стальиыми кулаками стучала по земле, разгребала сучья.
Ночью ползком стали красться к разрушеииой засеке. Далеко в тайге с грохотом рухиула последияя сосиа. Жаркий, потиый клубок выкатился иа реку.
— Пропилили! Пропилили!
Засека молчала, безлюдиая, покорпая. Орлов топал иогами, плевался. Раиеиых и убитых у иего было более пятисот человек.
— Сбежали, трусы, прохвосты! Подлецы! Только из-за угла воюют! Прохвосты!
Идти дальше было опасио. Белые легли в окопчики партизаи, стали перекидывать иасыпи иа другую сторону.
— Пропилили! Пропилили!
В холодиые чернила реки скатывались длииные толстые стволы таежиых старожилов. Несколько плотов к утру подияли всю Таежиую Республику с армией и, тихо покачивая, поиесли вииз по течеиию, к Чериой горе. Вода в реке стала красиой, как кровь. Заря разгоралась. Повязки иа раиеиых иамокли, покрасиели. Убитые, двадцать три человека, лежали серьезиые и спокойиые за свою судьбу. Их везли схороиить, как героев. На поругаиие врагам они отдаиы не были. Мертвецы были довольиы. Воздух свежий, душистый, легко подиимал грудь.
— Пропилили! Пропилили!
Коровы и лошади с тревогой косились иа воду круглыми большими глазами. Ребятишки спали, как мертвые. Взрослые дремали или храпели. Комаидиры бодрствовали. Работали рулевые. Плоты плыли.
Пятеро кониых, оставшихся иа берегу, гуськом пробирались через тайгу иа юг, к железиой дороге, забравшись поглуше, лошадей стреиожили. Дремали по очереди.
— Если поезд спустим, расстреляют наших баб-то, Семеи? Заложники ведь оии.

— Расстреляют.
— У меня отца расстреляют.
— Ну и пусть, хоть всех родных, по крайней мере будем знать, что за нас их убили, за наше дело.
— Спустим.
— Решено.

Дальше тронулись вечером. Совсем в темноте уже нащупали чуть бледневшие стальные жилы. Будочник трясся от страха. Ключи отдал сразу. Наскоро развинтили два длинных звена. Отъехали, стали ждать. Стальная кровь тихо, но четко забилась в мертвых, порванных жилах.

— Тук! Тук! Тук! Тук!

Два красных глаза неслись под уклон. Черный, огромный, с хохотом подпрыгнул на одной ноге, его длинный хвост огненными пятнами скрутился в кольцо. Черный кувыркнулся, зарыл глаза в землю, подавился хохотом, шипя лопнул и сразу онемел. Убитых и раненых было много. Пятеро повернули коней на север.

На Черной горе пылали костры. В котлах и ведрах кипел чай из брусничника и березового корня. Хлеба не было. Совет народного хозяйства выдал всем по полфунта муки. Детям роздали остатки сахару и рису. Под навесами из коры и в таких же шалашах спали раненые. Жарков стоял на самой верхушке лысины, вглядывался в темноту. Он ждал возвращения пятерых. Гора огненной шишкой вздулась среди черной тайги. Чистая внизу о чем-то говорила с камнями.

18. ПРОСПИТСЯ — ОПЯТЬ БУДЕТ ПОДПОРУЧИК БАРАНОВСКИЙ

N-ская дивизия отошла на две недели в резерв. N-цы расположились в большом селе Утином на берегу двух длинных, кривых озер, поросших тростником, по ту сторону которых сейчас же за поскотиной стояла небольшая березовая роща, а левее ее стелились сочные, зеленые ковры лугов. Озера были полны диких уток и всякой болотной дичи, а в роще, как овцы, бегали зайцы и черные косачи спокойно сидели на березах. Офицеры немедленно по приходе в Утиное принялись за охоту. Лес, луга, озера огласились раскатистыми выстрелами. Любителей было много, и все с жаром взялись за охо-

ту, привлекаемые обилием дичи. Солдаты обратили свое внимание в другую сторону — принялись за рыболовство, доставали у крестьян сети и по целым дням лазили по озерам, ловя золотистых жирных карасей. Люди посолиднее, семейные, интересовались больше скромными домашними удовольствиями — топили бани, целыми часами парились в них со всем семейством, а потом сидели в светлых и просторных горницах домовитых сибиряков и подолгу пили горячий душистый чай. Сидели за чаем с особенным наслаждением, так как на столе ласково шипел большой, сверкающий медью самовар, а любимую китайскую травку можно было пить из блюдечка, не торопясь, что ярко напоминало дом и недавнюю мирную жизнь. Бабы принялись за стирку, штопанье, чинку. По утрам суетились у печек, разводя стряпню. Ротные кухни ремонтировались, и продукты солдатам выдавались на руки. Готовить приходилось самим. Продуктов давалось много, вволю, да к тому же и в селе можно было достать что угодно по очень сходным ценам. Хозяева продавали все, что могли. Было из чего постряпать бабам, и они старались вовсю. Солдаты, сытые и отдохнувшие, ходили, как именинники. Молодежь совместно с местными парнями и девушками устраивала вечеринки, и звуки гармоники и веселых песен оглашали Утиное с вечера до рассвета. Было начало августа, ночи становились сырыми, холодными. N-цы стали поговаривать о теплом белье. Начальник хозяйственной части вернулся из Омска как раз вовремя, привез английское обмундирование на весь полк. Обтрепавшиеся N-цы получили шерстяные английские френчи, брюки, теплое белье, носки, вязаные американские фуфайки, шарфы, шлемы, перчатки и толстые суконные шинели. Оделись и принялись хохотать. Люди не узнавали друг друга: все стали похожи на англичан. Когда какая-нибудь рота, одетая во все английское, выстраивалась и лица, как всегда в строю, теряли свои характерные черты, то со стороны нельзя было разобрать, англичане это стоят или русские. Фома тоже оделся во все английское, и Барановский хохотал над ним до упаду, глядя на его неуклюжую фигуру и типичное русское лицо с вздернутым мясистым носом.

— Фомушка, да ты настоящий англичанин. Я теперь тебя буду звать Томом. Какой ты Фома? Ты Том, настоящий Том.

Фомушка хорошенько не понимал, что говорил командир, но обмундирование ему ужасно нравилось, и он довольно улыбался. N-цы, получив вещи, очень удивлялись, что за границей так хорошо одевают солдат.

Молодой татарин Валиулин, из роты Мотовилова, с кучей полученного обмундирования бежал по улице и чуть не сшиб с ног командира, шедшего ему навстречу с подпоручиком Колпаковым.

— Валиулин, это что? — сердито крикнул Мотовилов, с его языка готово было сорваться жестокое «два наряда», но лицо солдата сняло такой добродушной улыбкой, что офицер тоже улыбнулся.

— Уй, гаспадын паручик, виноват. Мы вас не видал. Моя сирдца рад стал, бульна харошь мундированья получил.

— Ну, иди, — отпустил его Мотовилов.

— Черт их знает, как дети маленькие: дай им игрушку, и они все забудут. Забудут о том, что сегодня они получат щегольской костюм, а завтра их в этом же костюме и за этот именно костюм погонят, как баранов, на фронт, где, может быть, в первом же бою их изорвет снарядом в клочья вместе с их новеньким френчем, — рассуждал Колпаков.

— Ничего, — отвечал Мотовилов, — это хорошо. Чем темнее масса, тем лучше. Чем охотнее идет она на разные такие приманки, тем выгоднее для нас. Ну, что же, отдадим мы англичанам за эти френчи сколько-нибудь золота, и ладно, зато будем знать, что наш солдат доволен, а раз доволен, то он и дерется хорошо. Это главное. Солдата нужно только одеть и накормить, и он пойдет. Он пойдет и завоюет нам власть. Ради этого не стоит жалеть кучки золота или чего-нибудь в этом роде. Да-с.

Офицеры замолчали, закурили, прошли до ближайшего угла и повернули влево, решив зайти к Барановскому, вспомнив, что он вчера ходил на охоту и что у него, наверное, будет жареная дичь. Офицеры не ошиблись. Барановский охотился вчера весьма удачно, вернулся домой с хорошим полем. Сегодня он сам возился у печки, зажаривая дичь. Молодой офицер обладал недурными познаниями в области кулинарии и при случае был не прочь блеснуть ими.

— Ага, пришли. Ну вот и отлично. А я за ва-

ми хотел уж Фомушку посылать, — встретил хозяин гостей.

— Хочу сегодня именины свои справлять. Обед закатил министерский.

— Да ты разве именинник? — удивились пришедшие.

Барановский засмеялся.

— Да нет, я именинник буду еще в декабре, да черт его знает, где в то время будешь, а пока есть возможность, так надо справить.

— Молодец, молодец, Ваня, — заревел Мотовилов. — Руку, именинник. Со днем ангела тебя. Чего там ждать, когда праздник придет, у нас, у людей военных, коли есть чего жрать, так и праздник. Это здорово ты, Иваган, придумал. Правильно. Одобряю.

Сзади Барановского стояла хозяйка дома и с ласковой улыбкой смотрела на суетившегося у печи офицера.

— Что, хозяюшка, хорош повар-то? — лукаво подмигнул Колпаков.

Хозяйка, молодая вдова, стыдливо закрылась кончиками головного платка, покраснела.

— Да уж чего и говорить, не повар, а золото. А уж знает-то все до тонкости, что, как и куда. Ох, гляжу я, не похожи вы на белых-то, — вдруг неожиданно добавила она.

— Почему не похожи? — засмеялись офицеры.

— Да уж чего там, знаю я белых. Стояли у нас и полковники, и капитаны, так к ним не подступишься. Слова не скажут тебе путем, все как-то срыву да грубо. Сами уж чтоб чего сделать, боже упаси, все денщиков заставляют. А вы что: и с народом разговариваете, а они вон и стряпают сами.

— Ну, хозяюшка, нам до капитанов-то еще далеко.

— Нет, уж не говорите, и солдаты у вас ласковые, обходительные, и порядок у вас есть. Зря не делаете вы. Ну вот в точности, как у красных.

— Что ты сказала? — нахмурился Мотовилов.

— Говорю, мол, на красных вы похожи. Они у нас неделю стояли, так очень хорошие люди. Ну, а ваши-то есть не дай бог.

Хозяйка махнула рукой. Мотовилов сердито молчал. Колпаков заметил:

— Правду, видно, говорил полковник-то пленный, что красные теперь не то, что раньше, что у них теперь

порядок, днсцнплина. От этого-то их мирное населенню и встречает хорошо.

— Ну проходите, проходнте в переднюю, я сейчас кончу,— обратнлся к офицерам Бараиовский.

Подпоручнки прошли в переднюю половниу избы н селн иа шнрокий деревяниый диван. Вскоре после их прихода прибежал веселый, возбуждеиный Петии н с порога еще закричал:

— Господа, новость. М-цы вчера чуть было самого Тухачевского не поймали.

Офицеры оживились. Мотовилов ие расслышал как следует, ему показалось, Петии сказал, что Тухачевский захвачеи в плеи. Как пружииа, вскочил ои с диваиа, схватил прншедшего за руки, иачал трясти его изо всей силы н, захлебываясь от радостн, засыпал вопросами:

— Где? Когда? Кто? Как?

— Говорю тебе, вчера перебежал одни красиоармеец к М-цам, иу и сказал им, что Тухачевский в Михайловке. М-цы, как звери, броснлись в иаступлеиие, совместно с казачьим полком, прорвалн в два счета фроит, отрезали с тылу Михайловку, а Тухачевский у иих под носом иа автомобиле проскочил.

— Фу, черт,— разочароваиио вздохнул Мотовилов.— Так его, зиачит, ие захватили?

— Коиечно, иет.

— Ну это, брат, неиитересио.

— Тебе, может быть, и ненитересно, а М-цы и сейчас не могут успокоиться, жалеют, что не пришлось нм с самого Тухачевского обмундироваине содрать.

Колпаков пускал колечкн дыма.

— Забавная эта традиция у иас в армин, господа: как попался красный в плеи — крышка, до ииточкн обсинмают всего. Оставят буквальио почти в чем мать роднла. Зимой лн, летом — все равио, тут хоть морозразмороз будь. Точио по принципу Крылова: с волками ниаче не делать мировой, как сиявши шкуру с инх долой.

Мотовилов возразил:

— Это ие забавно, а целесообразно. Обмунднрования мало, зиачит, его иужно отнять у врага.

Пришел еще кое-кто из молодежи, ие было только подтаи Капустии, очень веселый человек, имевшнй иедурной теиорок н умевший порядочио играть иа гитаре. Пришел еще кое-кто из молодежи, ие было только под-

поручика Иванова: ему пуля раздробила ногу, и он уехал в лазарет. Перед обедом разговорились о положении дел на фронте. Кто-то сообщил, что у Деникина все обстоит как нельзя лучше, что он уже в трехстах верстах от Москвы. Мотовилов говорил:

— Хорошо бы, господа, попасть к Деникину. У него ведь армия не нашей чета, добровольческая. Вот там бы можно было повоевать.

Барановский с обедом отличился. Меню было очень разнообразное. Прежде всего с графином хорошей водки была подана холодная закуска — поросенок со сметаной и хреном, студень и соленые грибы. Когда гости пропустили по «маленькой», был подан пирог с рисом и курицей. После пирога появился настоящий малороссийский борщ. Борщ сменили жареные тетерева, утки, заяц и жирный домашний гусь. После жаркого был подан пудинг и кофе. Все было приготовлено, как в первоклассном ресторане. Офицеры после однообразных щей и каши, которыми потчевали их ежедневно денщики, были в восторге от такого разнообразия блюд и хвалили наперебой искусство Барановского. Барановский, как настоящий именинник, был героем дня. Отпив полстакана кофе, штабс-капитан Капустин сделал дурашливо-плачущее лицо, взял гитару и, слегка тренькая на ней, тонким, жалобным тенорком запел:

Эх, заварили чехи кашу,
Провоевали Волгу нашу.

Офицеры, возбужденные несколькими рюмками водки, затянули припев:

Ах, шарабан мой,
Шарабан.
Денег не будет —
Тебя продам.

Барановский замахал руками.

— Да бросьте вы, господа, этот «Шарабан». Только и знают, что орут эту белиберду.

Русски с русскими воюют,
А чехи сахаром торгуют.

Не унимался Капустин:

Ах, шарабан мой,
Шарабан.
А я, мальчишка,
Вечно пьян.

— Антон Павлович, — с укором посмотрел на него Барановский.

— Ну ладно, ладно, не буду. Коли хозяин не велит, так быть по сему. Не любите, значит, вы белогвардейское творчество. «Шарабан»-то ведь во времена белогвардейщины на Волге создался.

Капустин тряхнул кудрями, закинул голову назад, лихо пробежал рукой по струнам, крикнул:

— Не хотите белогвардейскую, так вот вам пермскую народную:

Д' наша горкя,
Д' ваша горкя,
Только разница одна,
Кто мою Матаню тронет,
Тот отведает ножа.

— У-у-ух-ты!

Все засмеялись. Капустин замолчал и с серьезным видом стал допивать стакан. Колпаков развалился на стуле и, сладко затягиваясь папиросой, стал вслух вспоминать то время, когда он беззаботным ветрогоном, студентом юридического факультета, носился по Казани.

— Хорошее это время было, господа, когда я учился в университете. Учиться я начал осенью шестнадцатого, а в марте семнадцатого, вы ведь знаете, какую радость пришлось пережить.

Колпаков был кадет и немного либеральничал. Мотовилов, Петин и другие офицеры, настроенные монархически, засмеялись.

— Радость, действительно. Нечего сказать. Балаган такой на всю Россию господа социалисты подняли, такой порядок навели, что хоть святых выноси.

— Ну, господа, не будем спорить. Вы — монархисты, а я ка-де, и в этом мы никогда не сойдемся.

— Как вы сказали? Ка-ве-де? — пошутил Капустин.

— Ка-де, — серьезно повторил Колпаков.

— Да, я ка-де, вы монархисты, и все мы делаем одно общее дело, дело освобождения России от ига большевизма. Вот та плотформа, на которой мы пока сходимся.

— А я вот только одну партию и признаю — ка-веде, — продолжал смеяться штабс-капитан.

Колпаков пристально посмотрел на Капустина.

— Так вы, капитан, сами, значит, живете так — куда ветер дует?

— Именно, именно так. Как это вы угадали? — закривлялся офицер.

Колпаков серьезно смотрел ему в глаза. Капустин схватил гитару:

На Кавказе между гор
Есть одна долина.
Что ты смотришь на меня?
Я не мандолина.

Колпаков расхохотался:

— С вами не сговоришь. Нет, господа, а все-таки, становясь на объективную точку зрения... — начал он опять.

— Брось ты свои умствования революционные, — перебил его Петин. — Начнет это бесконечное «с объективной точки зрения, субъективно смотря на дело, анализируя весь пройденный нами путь и синтезируя все сделанные нами пакости», и пойдет, и пойдет. Давайте лучше споем. Правда, капитан?

— Я всегда готов, — отозвался Капустин.

Прапорщик Гвоздь предложил спеть малороссийскую. Все согласились. Гвоздь начал:

Гей вы, хлопцы, добры молодци,
Чого смутни, не весели?
Хиба в шинкарки мало горилки,
Пива и меду не стало?

Офицеры дружно поддержали:

Повни чары всим налывайте,
Щоб через виниця лылося!
Щоб наша доля нас не цуралась,
Щоб лучче в свити жилося!

Песня понравилась всем, и все пели охотно. Каждый в глубине души чувствовал, что доля его незавидная и что всех их жизнь порядочно пощипала. Долго в избе лились грустные звуки мотива и, мягко вторя им, звенела гитара. Хозяйка стояла в дверях передней, не спускала с Барановского глаз, часто смахивала с своих длинных ресниц блестящие слезинки. Фомушка подал на стол кипящий самовар, поставил банку варенья, положил несколько плиток шоколада и коробку карамели.

— Откуда у тебя, Ваня, такое богатство? — спросил Колпаков.

— Как откуда? Да сегодня же подарки получили. Омские дамы послали сладости, а Колчак по две смены

белья. Начхоз когда выдавал, то говорил, что Колчак это лично от себя офицерам шлет.

— Ну, наш батальон не получал еще, значит, — сообразил офицер.

Офицеры, смеясь, стали садиться к столу.

— Я хочу, господа, все-таки сказать несколько слов о том, что мирная жизнь лучше, интересней боевой.

Все молчали, занятые чаепитием. Видя, что никто не возражает, Колпаков продолжал:

— Ну что, сидел бы вот я теперь дома с хорошей книгой или свежей газетой, шипел бы около меня самоварчик, и в ус бы я не дул. Пожалуй, ничего бы и жениться. Жил бы себе мирно, тихо, не признавал бы никаких командиров, никаких приказов по полку. Знал бы я, что я Михаил Венедиктович Колпаков, и баста. А то вот теперь выпекли из меня подпоручика, дали роту и лишили вольной волюшки.

Мотовилов потянулся за карамелькой, презрительно бросил:

— Эх, Михаил, попом бы тебе быть, а не офицером.

Колпаков не обиделся.

— Пожалуй, я бы не прочь, хоть сейчас, попом, дьяконом, чертом, кем угодно готов быть, только не офицером. Ох, тяжелы эти погоны золотые. Да и что они дают в конце концов? Вот ты офицер, командир роты, в снег, в грязь, в непогодь, в дождь шлепаешь по лужам с ротой. Валяешься в мокрой грязи, зарываешься, как крот, в землю, подставляешь свою башку каждый день под все виды огня и каждый день имеешь девяносто девять и девять сотых за то, что тебя ухлопают или изуродуют. А главное, будь всегда на высоте своего положения, будь каким-то сверхчеловеком: ты и струсить не моги, ты устать не смей, и ошибиться тебе нельзя, потому что солдаты на тебя смотрят, с тебя пример берут, а начальство тебя дерет как сидорову козу опять-таки потому, что ты офицер. Завидная доля, нечего сказать!

Многие в душе соглашались с Колпаковым, понимали его. Многих офицеров тяготила та страшная служебная зависимость младшего от старшего, та сугубая субординация, с которой приходилось сталкиваться каждый день, в условиях которой нужно было жить. К тому же походная и боевая жизнь с ее длительными переходами пешком, по грязи или снегу, днем и ночью, без пищи, без воды, без смены белья не привлекала

никого. Многие с удовольствием мечтали о теплой, светлой комнате, о стакане чая в кругу родной семьи, о чистом белье, о спокойном нормальном сне. Штабс-капитан Капустин задумчиво помешивал ложечкой в стакане и говорил о том, как хорошо теперь у них на Волге:

— К осени Волга у нас полноводной делается. Плавно так, спокойно она, как дородная красавица, идет между берегов. С берегов леса да горы смотрятся в ее глубокие очи, приветливо кивают своими верхушками могучие дубы, развесистые белые березы и широкие, кряжистые, как купцы, вязы, и осина серебристая при виде ее дрожит и трепещет всеми своими листочками.

Колпаков засмеялся:

— Вы чего это, капитан, в лирику пустились. Кажется, гоголевский Днепр перефразируете?

Капустин взглянул на него ласковыми, добрыми глазами.

— Разве? Э, ей-богу, это нечаянно. Это у меня от души, господа, вырвалось. Должен вам сказать, господа, что я хотя и штабс-капитан, но человек не военный и не злой я, нет. Нет у меня этого драчливого задора военного. Противна мне война и всякая военщина. Служил я раньше преподавателем естественных наук в женской гимназии и реальном, никогда я политикой не интересовался, зоология для меня была интересней всяких социологий, политических экономий и историй революционных движений. Знал я только букашек да мошек, ездил на охоту. Занимался препарированием всякой всячины. Грезил немного геологией. Есть у меня в этой области даже работа. Жил себе человек тихо, мирно. А тут вдруг этот чешский переворот, и забрали меня, голубчика, за то, что я имел несчастье в германскую войну школу прапорщиков кончить и штабс-капитаном стать. Я было это по-обывательски нейтралитетом хотел отговориться, ссылаясь, что это война просто, мол, за власть. Пригрозили расстрелом. И вот пошел я на войну. Но даю вам честное слово, господа, что пошел я без всякой злобы на большевиков, не знал я их, да и сейчас не знаю и сейчас не понимаю, за что, собственно, мы деремся. Деремся мы под красным флагом, кричим о какой-то свободе. Красные тоже говорят, что революцию спасают. Ничего не разберешь. А как вспомнишь Волгу, свой кабинет, свои работы, так и хочется сказать: пошли вы все к черту с вашими большевика-

ми, меньшевиками и революциями. Дела мне нет до вас. Не мешайте работать.

Капустин замолчал, стал торопливо закуривать. Ноздри его слегка раздувались, глаза были серьезны, горели огоньками возбуждения. Мотовилов мерил капитана презрительным взглядом и, обращаясь к Петину и другим своим единомышленникам, заговорил, подчеркивая и отчеканивая каждое слово:

— Вот тебе и славные N-цы, каковы, господа, в недурную компанию мы попали? Полюбуйтесь, пожалуйста, не угодно ли: вот господин Колпаков, либерал до мозга костей, имеющий намерение сменить офицерский мундир на поповскую рясу и спрятаться от страшных большевиков за юбку своей попадьи; вот штабс-капитан, друг букашек, таракашек и сам божий бычок, до сего времени не знающий, за что он воюет, и в простоте душевной думающий, что с красными можно столковаться о мире.

Капустин побледнел, выронил папиросу. Волнуясь и задыхаясь, он остановил Мотовилова:

— Послушайте, поручик, какое вы имеете право так издеваться над людьми, чем вы, собственно, лучше нас, в чем ваше преимущество? Кто это вам позволил обливать всех презрением?

Мотовилов нагло улыбнулся.

— Кто позволил? Вот это мило. Презирать вас я имею полное право, ибо я сознательно и убежденно веду борьбу с красными, борюсь с ними, как с разрушителями государства, как с продавцами России. Я иду на смертный бой за воссоздание великой единой России во главе с самодержавным монархом.— Мотовилов закурил.— Да, с самодержавным, непременно, и таким, какого еще не было раньше. Я верю, что только он воссоздаст армию и поставит офицерство на должную высоту. Вот что дает мне право презирать вас, шпаков, позволяет мне плевать в ваши заячьи душонки. Эх вы, крохоборы, дальше своего носа ничего не видящие.

Офицер встал, глаза его сверкали гневом, грудь поднималась порывисто и часто, он сердито бросил окурок, заходил по комнате.

— Правильно, Мотовилов, правильно, крой полтинников, — загудели его единомышленники.

Что-то тяжелое и напряженное повисло в комнате. Недавние собутыльники разделились на два враждеб-

ных лагеря. Офицеры, ранее, до отхода в резерв, связанные общими боевыми задачами, думавшие только об отдыхе и еде, еще ладили между собой. В училище тоже все были спаяны железной дисциплиной, о политике почти не говорили, побаиваясь друг друга. Теперь же каждый почувствовал себя более или менее самостоятельно, к тому же несколько рюмок вина развязали языки. Барановский в училище молчал и считался весьма исполнительным и надежным юнкером. В полку он тоже себя ничем не проявлял, был как все — офицер как офицер. Но, будучи человеком не глупым и чутким, он переживал в душе за последнее время сильную ломку. Судя по докладу пленного командира бригады, по рассказам местных жителей, по литературе, оставляемой красными в деревнях, у него складывалось весьма хорошее мнение о Советской России. В его воображении не раз вставал образ титана-пролетария, рвущего свои оковы в неудержимом, всесокрушающем порыве к освобождению, вышедшего на защиту своих прав с винтовкой и молотом в руках. Не столько умом, ясно и определенно, сколько в душе, смутно, он начинал чувствовать, что правда на стороне красных. Что не кто другой, а именно они борются за освобождение всего человечества от ига войн, рабства и насилия. С каждым днем приглядываясь к тому, как ведут себя белые на фронте, судя об их поведении в тылу по рассказам крестьян, он приходил к убеждению, что их дело, дело армии Колчака, — неправое дело. Ему начинало казаться, что Колчак только пока лицемерно лжет, говоря, что ведет борьбу за власть народа, за Учредительное собрание, им же разогнанное в Уфе. Чем дольше Барановский служил в белой армии, тем больше убеждался, что белые просто-напросто хотят залить кровью, закидать трупами ту громадную трещину, которая появилась на жирном чреве золотого истукана — идола старого, подлого мира, мира лжи, насилий и угнетения. Мотовилов был неприятно удивлен, когда Барановский, всегда такой вежливый и сговорчивый, подошел к нему и, смело смотря в глаза, с нервной дрожью в голосе спросил:

— Ну, скажи, Борис, скажи ты, считающий себя человеком, а не букашкой, думающий, что у тебя большая человеческая, а не звериная душонка, где правда твоей жизни? На что опираешься ты, когда говоришь с таким

презрением и злобой о красных или о людях, не желающих ввязываться в граждаискую войну? Скажи?

— И ты Брут?

— Ну, Борис, я иикогда ие считал тебя своим другом.

— Ах так. Что же, я скажу, пожалуй.

Мотовилов стал медлеино закуривать, стараясь выиграть время для того, чтобы обдумать лучше ответ.

— Так вот ,видишь ли, по-моему миеиию, в жизни торжествует только сила. Не верю я и ие иитересуюсь иикакими правдами в жизни. По-моему, где сила, там и всякая ваша правда. Торжествует всегда только сильиый. Это осиовиой закои жизни. Ну вот, голубчик, я и думаю, что сила-то, а значит, говоря по-вашему, и правда-то иа иашей стороие, ибо иас поддерживает вся культуриая Европа. К иашим услугам все усовершеиствоваиия и открытия науки, с иами лучшая европейская интеллигеиция, у иас огромные запасы иеобходимых продуктов, а главиое, хлеба. Армия иаша дисциплииироваина, вооружеиа до зубов. Наши сиаряды не советским чета. Наши солдаты идут в бой, зная, что жить с красиыми иельзя. Коиечио, эту дряиь, сибиряков, я ие считаю, — оговорился офицер. — А там банда, а ие армия, которую гоиит в бой кучка комиссаров-проходимцев. А вооружеиие их, а обмундироваиие? А тыл, где люди пухнут с голоду? Э, да что говорить. Это всем известио. Кроме того, я думаю, что русский иарод моиархичеи по своей иатуре. Без идола ему ие обойтись. Ему обязательио иадо кому-иибудь поклоииться и чтобы кто-иибудь порол иагайкой.

Бараиовский громко засмеялся:

— Ну, Боря, хоть и большая у тебя душа, как ты думаешь, а умишко-то куриный. Сказать, что русскому иароду, тому самому иароду, который вот уже два года ведет жестокую борьбу со всем миром, который разбивает одного геиерала за другим, сбрасывает в море разиых союзииков, сказать, что этому иароду иужиы царь и иагайка, по меиьшей мере смешио. Сказать, что Красиая Армия баида — клевета. И ты сам зиаешь, что Красиая Армия теперь имеет дисциплиич лучше иашей, что оиа оргаиизоваиа ие хуже, может быть, даже лучше любой европейской армии. Что оиа сильиа, что ты испытал на своей шее: слава богу, с Волги-то оиа иас в Сибирь загиала. Нет, брат, там ие кучка комиссаров-про-

ходимцев, а настоящие вожди. У нас, посмотришь, кто во главе дел — старые чинуши, отжившие свой век. Ни мысли у них яркой и живой, ни творческой инициативы. Жизнь бежит вперед, а они пытаются загнать ее в старые рамки. Она не слушается, хлещет половодьем через берега и плотины, а старцы дрожат и бессильно разводят руками. Совсем не то там. Там, брат, широта размаха, планы грандиозные и дела великие. Ты говоришь, что с нами европейская интеллигенция, то есть опять-таки люди, насквозь проникнутые рутинерством, люди, которые могут строить новое только на старый лад. А у красных теперь весь богатый запас революционной и творческой энергии народа получил свободный выход и приложение. Да у них и интеллигенция есть, только своя. Нет, брат, сила на их стороне, и, посмотришь, разобьют они нас.

Мотовилов презрительно молчал. Петин вызывающе смотрел на говорившего.

— Так вам, Иван Николаевич, осталось только к красным перебежать, ведь вы же форменный большевик.

— И перебегу, — с силой и злобой ответил Барановский, круто повернулся и вышел из избы.

Колпаков спокойно констатировал:

— Пьян, как сапожник, и больше ничего. Проспится — и опять будет подпоручик Барановский.

Барановский прошел в огород и, прислонившись к изгороди, стал смотреть на кривые блестящие стекла озер. Грудь его дышала глубоко и ровно, и весь он был полон легкой радостью. Ему было приятно, что он наконец смело и прямо бросил людям в лицо свои мысли. Он чувствовал себя внутренне удовлетворенным. «Как хорошо в глаза сказать правду, резко так сказать, как ножом обрезать», — подумал офицер.

Сзади послышались шаги. Барановский обернулся. Спотыкаясь и торопясь, шла к нему хозяйка. Подошла, остановилась и молча опустила голову.

— Вы что, Настенька? — Барановский привык к ней и звал ее просто по имени.

— Да я вот за вас испугалась. Сердитый вы такой выбежали из горницы. Думаю, как бы не сделал чего с собой.

Хозяйка стояла, не поднимая головы, она была без платка, луна хорошо освещала ее русые, пышные воло-

сы. Барановский смотрел на иее, вспоминая, что у нее хорошие, ласковые голубые глаза, чистое, бледное лицо, яркие губы и маленький, немиого вздернутый нос. И вся она ие была похожа на грубых деревенских женщин, было в ней что-то хрупкое, нежное. Офицер сделал шаг в ее сторону, и она, вздрогнув, вдруг порывисто обняла его, прижалась к его груди. Бараиовский осторожно отвел ее голову и крепко поцеловал в губы...

Гости посидели иемиого после ухода Барановского, потом подиялись все сразу н, громко разговарнвая, стуча сапогами, стали расходиться.

19. НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО

N-ская дивизия обратила на себя виимание днктатора, он верно оценил ее как одну из лучших и надежнейших частей. N-ской днвнзии верховным правителем было пожаловаио георгиевское знамя и срок стояики в резерве продлеи еще иа полмесяца. По случаю такого радостного события, как получение георгиевского знамеии, в днвизни был устроен праздник. Почтн все офицеры и солдаты прииимали эту награду как должное, были весьма довольны и польщеиы. Некоторые же смотрели на это дело совершеиио с другой стороны. Барановский был из числа тех, которые посмеивалнсь в душе иад хитростью Колчака, так ловко сменившего у N-ской днвизии ненавистиое красное зиамя на полосатое, желто-черное, георгиевское. Злые языкн говорнлн, что если бы у N-цев было белое знамя, то адмирал, пожалуй, и не надумал бы иаграднть их георгиевскнм, а тут уж волей-иеволей пришлось, так как нельзя же было терпеть дольше, чтобы в армии его высокопревосходительства было проклятое красное зиамя, этот символ борьбы раба за свое освобожденне. Праздннк прошел оживлеиио, весело не потому, коиечно, что солдаты были особеиио рады высокой иаграде, а потому, что всем была нзвестиа приятная иовость о продленин срока стоянки в резерве. После всех церемоний богослуження, парада н дефилироваиия церемоинальиым маршем N-цы получили америкаиские подаркн — сигареты, какао, рыбиые консервы и консервироваиные сосиски. Какао было получено в больших банках, для выдачн его рассыпали в бумагу, н от этого произошло

немало курьезных недоразумений. Некоторые солдаты, не попробовав и не узнав, что это им выдали, приняли какао за перец, высыпали его в суп, а потом ходили и жаловались, что у американцев ужасно скверный перец, без запаха и совсем негорький.

Расходились с парада с песнями. Мотовилов и Барановский, отправив свои роты с помощниками, стояли на углу главной улицы, смотрели на проходившие мимо части дивизии. Татарский батальон пел по-своему. Песня татар была похожа на ворчание большого зверя. Временами она переходила в злобный шепот, затихала и вдруг разрасталась в рев, звенела сталью кривых мечей и кинжалов.

Афисер погон кайса [1].

Больше Барановский с Мотовиловым не могли ничего понять. Слова сливались в сплошную тарабарщину.

Ал-а-ла-ла-ла-ла-ла!

— Вот у этих не сорвешься, брат. Хорошо дерутся.

Мотовилов разглядывал скуластые широкие лица солдат.

— Ну, тоже аллаяров[2] порядочно и среди них есть, — возражал Барановский.

— Меньше, чем в чисто русских частях.

Учебная команда шла редким, широким шагом. Концы штыков стояли над головами солдат ровной щетиной.

Калинушку ломала, ломала, ломала, ломала.
Чубарики чубчи ломала.

Учебники ногу держали хорошо. Ряды их не гнулись. Дистанция между отделениями была отрезана как по мерке.

...ломала, ломала, ломала.

Было что-то широкое в этой песне, спокойное и ленивое. Барановский стоял, слушал, и в его воображении вставали залитые солнцем тучные заволжские степи, необъятные поля спелой пшеницы и тишина над

[1] Офицер погоны надел.
[2] Аллаяр — ругательное слово для татарина. Дословно перевести — разбитый бог.

всем этим простором. Тихо, жарко, нет мыслей и желаний.

> ...бросала, бросала, бросала, бросала.

Первая рота третьего батальона шла со своей песней.

> Вдоль по линии Кавказа,
> Там сизой орел летал,
> Православный генерал...

Мотив был немного смешной, прерывистый. Стрелки пели заикаясь, спотыкаясь на каждом слоге.

> В-д-о-л-ь по лини-и-и-и Кав-каза...

Легкая пыль подымалась из-под ног роты. Солнце грело сильно. Барановский снял фуражку и задумался, слушая четкий шаг, старые знакомые слова песни. Он почувствовал себя перенесенным в обстановку мирного времени. Ему начинало казаться, что он не в Утином, в сорока верстах от фронта, а где-то далеко в тылу, что вообще даже нет войны, ни красных, ни белых.

> Правосла-а-авный генерал-а-ал
> Нам такой приказ давал.

«Ничего не произошло. Ни революции, ни войны, ничего нет», — думал офицер.

Мотовилов говорил:

— Приятно, Иван, все-таки посмотреть на наших добровольцев. Дисциплина, порядок. И всем им это нравится. Ведь они и восстание-то подняли за порядок! Их борьба — это бунт против анархии. Мне почему-то хочется сравнить наши части и шатию Керенского. Помнишь?

> На солнце ничем не сверкая,
> В оружье какой теперь толк?
> По улице пыль поднимая,
> Идет наш сознательный полк.

Мотовилов восстанавливал в памяти пародию на песню гусар.

> Марш вперед, трубят в поход,
> Вольные солдаты.
> Звук лихой зовет нас в бой, —
> Не пойдем, ребяты.

— Сволочь! Надо было пережить этот всероссийский кавардак. Как метко все-таки, Иван, здесь схвачены яр-

кие черты керенщины. Это — самый ее сок, душа. Не пойдем, ребяты. Что нам родина, честь нации. Все к черту, все пустяки. Слава богу, больше этого нет и не будет. Хорошо. Любо посмотреть.

Мимо шла комендантская команда.

Права-а-аславный генер-а-а-а-л.

На другой день после праздника зашел к Барановскому за деньгами местный кузнец, ковавший ему лошадь. Барановский с Фомой и Настей сидели за столом и пили чай. Офицер предложил кузнецу стакан чаю. Кузнец был очень удивлен таким приемом и стал отказываться, называя Барановского «ваше благородие». Барановский смеялся, говоря, что родился ничуть не благороднее его, а просто, как и все.

— Брось ты это, дядя, а зови-ка меня просто Иваном Николаевичем.

Кузнец недоверчиво крутил головой.

— Да ты чего, Никифор, ломаешься? — сказала Настя. — Садись, выпей стаканчик. Он у нас простой. Садись!

Она перевела свои сияющие лаской глаза на офицера. Никифор положил шапку, перекрестился на передний угол и нерешительно сел на край стула. Настя налила ему чаю в чашку с золотыми разводами и надписью «В день ангела» и подвинула крынку густого, жирного молока. Барановский, указывая на мешочек с сахаром, предложил гостю:

— Пожалуйста, с сахаром.

Кузнец махнул рукой.

— Мы уж отвыкли от него, спасибо. Забыли уж, когда пили-то с ним.

— Ну вот теперь попейте.

Никифор налил чай на блюдечко и стал пить, откусывая сахар маленькими, чуть не микроскопическими кусочками. Выпил чашку и, подавая ее Насте, вспомнил:

— А я, однако, наврал вам насчет сахару-то. Ведь недавно я пил с ним. Вот как красны-то у нас были, так угощали.

Барановский обрадовался.

— Как у вас тут, интересно, красные жили? Расскажите, что они говорили про нас, про войну, вообще, какие у них порядки?

Никифор замялся, начал говорить общие фразы;

— Известно, чего говорили, как уж враги, так, значит, враги.

Настя резко обернулась к кузнецу:

— Ты, Никифор, не мнись, а говори толком, что, как и чего. Не гляди на него, что он в погонах, он хоть и офицер, а вовсе не белый.

Фома, ничего не знавший о той перемене взглядов, какая произошла у Барановского в последнее время, не подозревавший о его близости с Настей, фыркнул и, опрокинув свой стакан, закатился долгим смехом. Ему было очень смешно, что Настя называла его командира не белым. Он смеялся над глупостью деревенской бабы.

— А ты, Фома, не фыркай. Не понимаешь ничего и молчи. Ишь, раскатился, — прикрикнула на него Настя.

Фома, видя, что командир молчит, не поддерживает его, не останавливает хозяйку, немного обиделся:

— Конечно, вы много понимаете. Вам сверху-то видней.

Фома закурил и вышел на улицу. Никифор молча дул в блюдечко. Настя опять обернулась к нему:

— Слышишь, Никифор, нечего сопеть-то. С тобой, как с человеком, хотят поговорить, а ты, как медведь — молчишь.

— Я тебе, Иван Николаевич, прямо скажу, — обратилась она к Барановскому, — этот кузнец у нас первеющий большевик в селе. Сейчас он, видишь, христосиком прикинулся и на икону крестится и тебя вашим благородием называет, а послушал бы ты, как он этих ваших благородий-то прохватывал. О красных порядках он очень даже хорошо знает и все может тебе рассказать.

Кузнец перестал пить чай, побледнел и заспешил с оправданиями:

— Ты что, Настасья, белены, что ли, объелась, какой же я большевик? Неужто вы бабьей болтовне доверите, ваше благородие?

Барановский стал успокаивать его, говоря, что никакого значения словам Насти он не придает и что ему безразлично, кто он — большевик или нет, а ему важно только и интересно познакомиться с порядками у красных.

Долго говорил офицер, стараясь осторожно подойти поближе к кузнецу, вызвать его на откровенность. Ни-

кифор, видя, что офицер не арестовывает его, не кричит, не ругает, а говорит ласково, тихо, стал успокаиваться. И Настя опять принялась убеждать его, чтобы не боялся, смеясь уверяла, что белены она не объелась. Никифор неуверенно начал говорить. Скажет слова два, помолчит, выпьет блюдечко чаю, опять заговорит. Барановский умело поддерживал разговор, и мало-помалу кузнец увлекся, принялся с жаром рассказывать офицеру о всем, что пришлось ему увидеть и услышать у красных.

— Там, я вам скажу, порядок так порядок, — горячился Никифор. — Уж этого баловства никакого нет. Чтобы там крестьянина обидеть, даром что взять, боже упаси. А если какой найдется такой охальник, так сейчас его к стенке. Очень строго насчет этого. Ну, с командирами они как с товарищами обращаются, так и называют — товарищ командир. Но уж в строю, извини, командир как командир. Приказал, и кончено. Насчет обмундирования у них не больно важно. Супротив вашего им далеко. У вас, посмотришь, солдаты, как купцы, одеты, и подарки им, и всякая такая штука. Хоть сегодня я посмотрел: на празднике чего только не надарили им. Сразу видать, что у вас богачи, миллионщики, делом-то всем ворочают, хотят народ-то задобрить, подкупить, чтобы он, значит, за их стоял. У красных насчет этого потуже. Правда, харч у них хороший, но до вашего далеко, потому у них за спиной голодная Рассея, там ведь тоже всех накормить надо. А насчет всего прочего взять-то им негде, потому там все бедняки дерутся и управляют государством-то сами рабочие и крестьяне. Известно, нашему брату откуда взять такое богатство? Может, когда война кончится, наладится работа на фабриках, и все будет, а пока что туговато, — обстоятельно объяснял кузнец. — Дерутся они, значит, за освобождение этой самой пролетарии от буржуазии. Хотят жизнь по-новому устроить.

Барановский слушал внимательно.

— А скажите подробнее, как они это хотят жизнь-то по-новому устроить?

Никифор многозначительно поднял палец кверху:

— О, это у них очень умственно, планно так разработано. Только не все они так-то говорят, а есть у них партейные, коммунисты, так вот они все сказывают насчет этой коммунии, новой-то жизни. Говорят, дескать,

мол, между людьми не должно быть никаких войн, ссор и боев. Все, мол, должны жить в мире, а пока, дескать, существует всякая собственность, то будет существовать зависть, а раз зависть, то и вражда, и брань, и драки. Каждому ведь захочется иметь больше да лучше. А они вот и хотят собственность-то уничтожить, сделать всех вроде как бы пролетариатами, а имущество разное — землю, скот, фабрики, заводы — все сделать общественными. Оно так умственно и выходит: и будто нет у меня ничего своего и есть все, потому я имею право всем с общего, так сказать, котла пользоваться. И никому не завидно, потому все равны и у всех все поровну есть. А коли недород какой случится, коли хлеба не будет, то уж у всех его не будет, а не то что раньше: один с голоду пухнет, а другой от обжорства жиреет.

— Ну, а как они работать-то думают, скажем, хоть на фабрике? Как прибыль делить думают?

— У них прибыли этой, значит, никакой нет, а есть только материал, который изготовляют, и уж этот-то материал и делят всем. А работают все сообча, всем обчеством, коммунией-то, значит, и сообча всем пользуются. И много, говорят, в Рассеи этих у них коммуний развелось, и живут, сказывали, согласно все, как одна семья, потому распорядок весь умственно, планно сделан.

Барановский смотрел на смуглое, со следами копоти лицо кузнеца, на его серые, умные глаза, слушал его голос, сильный, звучащий нотками непоколебимой веры в новую жизнь, в «коммунию», и в его пылком воображении раскрывались грандиозные картины жизни нового прекрасного мира.

Кузнец ушел. Настя принялась убирать со стола. Барановский сидел в глубокой задумчивости, разбираясь в массе мыслей, возбужденных отрывочными рассказами Никифора. Офицер теперь представлял себе более ясно, что красные идут за определенную идею, за осуществление идеалов социализма, и сейчас же, делая сопоставление, разбираясь в том, за что дерутся белые, Барановский не находил подходящего ответа. Слишком разнокалиберен был состав как белой армии, так и вообще людей, в той или иной степени причастных к борьбе с красными. Одни думали, что идут за революцию, какую — неизвестно, другие шли определенно за реставрацию монархии, третьи — черт знает за что, четвертые — просто потому, что их силой гнали в бой, потому что не

разбирались, на кого поднимают руку. Бараиовский всем существом своим чувствовал, что больше ои ие в снлах идти иа фронт, и ломал себе голову, как бы избавиться от скверной роли, навязаииой ему судьбой, руководителя, инструктора убийства, истреблеиия себе подобных. Подошла Настя, села рядом, положила ему голову иа плечо. Он обнял ее.

— Милый, не ходи ты иа войну,— начала Настя,— убьют тебя там. Да и за кого ты пойдешь драться? За что? А с кем? Ведь ты сам говоришь, что у красиых порядки хорошие. Не ходн, дорогой ты мой, остаиься у меня. У иас мужнки народ дружиый, спрячем тебя, инкто ие иайдет. А красиые придут, вот ты н свободен будешь.

— Я давно об этом думал, Настя. У меня даже хранится прнказ, где оии говорят, чтобы всех белых перебежчнков прннималн и делнли бы с иимн хлеб-соль. Там у ннх есть такая фраза: «Увидев, иа чьей стороне правда н снла, ие только солдаты Колчака, ио и миогие из его офицеров будут честио работать в Советской Республнке». И вот я думаю бежать к красиым н боюсь. Ведь н вашн-то крестьяие, пожалуй, чего доброго, выдадут, еслн здесь остаться?

— Голову даю на отсечеиие — ие выдадут.

Барановский задумался, горько улыбнулся.

— А ты думаешь, красные-то меия так и примут с распростертыми объятиями? Как же. Скажут, золотопогонннк, и поставят к забору.

Настя молчала, н слезннки быстро капалн у нее из глаз. Она сильио прнвязалась к Бараиовскому, полюбнла его: ои был первый у иее в жизни мужчнна, который подошел к ней по-человечески. Ей иравнлась его мягкость и доброта. Настя ннкак ие могла поиять, за что бы красиые могли расстрелять Барановского, когда ои такой хорошнй и совершенно иепохож на белого. Бараиовскнй, мучимый сомиениями, начал ходить из угла в угол. Настя сидела, иизко уроинв голову, н плакала. Бараиовскнй в сотый раз мысленно повторял, что против красиых ои идти не может. Но где выход? Сдаться в плен — опасио. Сбежать н от красиых, и от белых, но куда? Барановский иервио хватался за голову и бегал по комнате. Для молодого офицера иаступнли мучительиые дии сомненнй и колебаний.

Время летело быстро. Срок отдыха днвизии близил-

ся к концу. Офицеры в полку развлекались как могли. Ко многим из них приехали жены, вызванные телеграммами. В местной школе часто устраивались семейные вечера с танцами, картами и выпивкой. Скуки ради флиртовали все отчаянно. Подпоручик Петин был удостоен высоким вниманием самой супруги командира полка. Молодой офицер ходил, как обалделый, опьяненный своим успехом. О своей победе Петин рассказывал в среде товарищей с бахвальством мальчишки, примешивая к этому и некоторую долю серьезных соображений материального характера. Зеленый подпоручик мечтал уже об аксельбантах адъютанта и весьма недвусмысленно намекал, что его, пожалуй, скоро представят в поручики. Офицеры завидовали ему, и злились, и мстили тем, что во всеуслышание говорили о его связи с Ларисой Львовной, женой командира полка. Но не одна Лариса Львовна стала предметом злых сплетен и нападок досужих болтунов. С женами других офицеров обстояло не лучше. Жена командира восьмой роты была замечена в весьма вольной позе с командиром второго батальона. Жена командира второго батальона часто уединялась с командиром первого батальона. Командир восьмой роты почему-то перестал охотиться, а в рощу стал ходить с женой начальника хозяйственной части и так далее в этом роде. Сложная любовная интрига переплела весь полк. Люди, не интересовавшиеся любовными утехами, подвизавшиеся на зеленом поле, в объятиях зеленого змия, не раз, сидя за картами, говорили, что за время этой стоянки в резерве в полку все стали родными. Все происходившее в полку не ускользало от внимания местных жителей, крестьян, и они, посмеиваясь, говорили о том, как весело и беззаботно живут господа, и очень удивлялись, что они отбивают друг у друга жен.

— Точно нарочно, сговорившись, все это они делают,— недоумевали мужики.

— Один ахвицер отбил у другого жену, ан, смотришь, и у няво-то своя с другими улетела. Чудеса!

Кузнец Никифор, сердитый и черный, стоял среди кучки односельчан и говорил, что никакой в этом потехи нет, а что крестьянину даже противно смотреть на все эти гадости.

— Ты целый день горб гни, а они только пьянствуют, баб друг у друга воруют да хлеб переводят, а отку-

да они берут его? С чьего поля? Все с нас, дураков. Эх, так бы я их всех. У-у-у!

Никифор сжал кулаки и грозил в сторону школы, откуда неслись звуки веселых танцев.

Срок отдыха истек, и дивизию потребовали на фронт. В день выступления из Утиного N-цев подняли до рассвета. Ночь была холодная, ветреная, шел мелкий, затяжной осенний дождь. На улицах нога вязла в липкой и жидкой грязи. Люди зябко кутались в поднятые воротники шинелей. Мотовилов со своей компанией стоял на крыльце ротной канцелярии, дожидаясь, пока фельдфебель выстроит роту. Оделся он немного щеголевато, легко, не по сезону, холод пробирал его, но он был в хорошем настроении и, чтобы согреться, мелко приплясывал на крыльце, подпевая себе вполголоса:

Кто народу дал свободу?
Кто его вывел из тюрьмы?

Остальные офицеры тоже прыгали с ноги на ногу.

Солдатики, ваши братики —
Московские шулера.
Кто с кухарками флиртует?
Кто их жарко так целует? —

продолжал Мотовилов.

— Первый батальон, смирна-а-а, господа офицеры!— заревел батальонный. Офицеры вытянулись.

— Господа офицеры! Здорово, лихие N-цы,— поздоровался командир полка.

Сонными голосами, вразброд ответили N-цы. Настя не вышла на улицу провожать Барановского, боясь, что ее слезы заметят односельчане. Они простились дома. Настя, глухо рыдая, припала лицом к окну, не сводила глаз с темного силуэта офицера. Она видела сквозь тяжелую муть рассвета, как Фома подвел ему лошадь, как он сел в седло. В ушах ее долго звенели последние его слова: «Девятая рота, шагом марш!» А в глазах мелькали сгорбившиеся, озябшие фигуры солдат, тяжело шагающих по вязкой и глубокой грязи улицы.

20. НЕ БЕСПОКОЙСЯ, МИЛОЧКА

На улицах под ногами, как в отхожем месте, расплываясь, чавкала липкая, жидкая грязь. Круглыми, мут-

ными, вонючими плевками серели лужи. Небо, забросанное скомканной грязной бумагой, мокрыми тряпками, нестираным рваным бельем, слезилось, роняло вниз холодные нити мертвой слюны. Было скользко и холодно. Толпа на тротуарах двигалась тихо, осторожно ступая, засучив концы брюк, высоко подняв юбки, засунув руки в карманы, спрятавшись в воротники, надвинув шляпы. На заборах, в витринах магазинов плакали, кисли от дождя белые бумажки:

Братья христиане!
Настал час, когда мы должны спросить себя, идем ли мы со Христом или против него.

Толпа, слепая, озябшая, ползла мимо, не замечая.

Кто с большевиками или помогает им, тот снимает с себя крест и идет против Христа и церкви его.

Они шли. Почти все с крестами. На золотых цепочках, на серебряных, на шнурках. Но не все ли равно? На фронте положение было безнадежное. Ну, безнадежное, ну и что же? К чему кресты, Христы? Не поможет. Нет. Все равно. Закрытые шляпами, зонтиками, они не хотели думать. Все равно. В дождь хорошо сидеть у огня. Под теплым одеялом. Дремать.

Если мы — христиане, то не страшны нам большевики, как не страшны бесы силе креста. Позорно христианину, осененному силой креста, бояться силы бесовской.

Позор. Зачем же? Нет, это не нам. Зачем бегут с фронта. Это им. Бесы. Сила бесовская. У камина светло. Не страшно. Везде перед иконами лампады неугасимые. Не страшно. Холодно. Скучно. Только.

Не сумев защитить Родины, защитим хотя бы семьи наши. Для сего образуем дружины креста.

Злоба трясет мелкой дрожью. Скользко. Проклятый Брест. И опять. Опять. Они бегут. Неужели новый позор? Не пускать их. Наставить кругом пулеметы. Загородить трусам дорогу. Семьи. Разрушают уют. Загадят комнаты. На улицу выкинут. Холодно. Скользко. Нас не будет. Уничтожат всех. Кафе манили их. Там тепло, уютно.

Родина-мать изнывает в крови и страданиях. Ножи палачей повисли над ней... Руки убийц терзают ее и хотят стереть самое имя «Россия». Будут немцы, китайцы, французы — России и русских не будет.

Стена кусками роняла размокшую бумагу. Ветер подхватывал черно-белые кружева воззваний, тискал в грязь, швырял на тротуары. Вывески скрипели. Недалеко стучал завод. Сотня рабочих чинила пулеметы. Люди в погонах, с винтовками стояли у них за спиной.

Спешите же в наш стан, в русский стан, стан демократии.

Толпа ползла. Из ресторана пахло жареным мясом. Бифштекс с кровью очень вкусен. В подвале, забившись в угол, грызла руки жена Иванова. Его вчера расстреляли на дворе завода. По подозрению.

Нас ждут там, ждут как спасителей. И мы должны идти.

Брызги грязи липли на сапоги, на короткие английские шинели. Винтовки с ложами из черного ореха резали плечи. Огромные вещевые мешки и сотни патронов гнули к земле. Скользко и сыро. Песня путалась, обмазанная грязью, глохла.

Эту войну не мы начали, а большевики. Они и погибнут.

В кафе хорошо. Фронт еще далеко. Ну и хорошо. Там голодают. В далеком красном, там. Пусть. Не умеют жить. Мы умеем. Мы все можем. Мы накормим всех. Не хотят, не надо. Будем смеяться.

Живем сытее вас, спокойнее вас, хотя у вас всякие усовершенствования — совнархозы, центроспички, комбеды, только вот есть вам нечего.

Сцепщик, трусливо озираясь, нырял под вагоны. Черные руки с усилием накидывали тяжелые цепи. Красные вагоны прыгали, покачивались. Из окон и дверей хохотали. Сильно несло спиртом. Визжали женщины. Добровольцы уходили на фронт.

Правы советские газеты, говорящие, что в России в смертной схватке встретились два мира. Два мира: мир справедливости и мир измены и хулиганства, мир христианский и мир антихриста, мир адмирала Колчака и мир шляпных торговцев...

Колокола говорили нежно, едва слышно. Ладан застилал глаза.

— Господу помолимся!

Живот у батюшки был круглый. Риза блестела золотом. Ветер не унимался. Белые лохмотья трепались на стенах.

Что большевики обещали: мир, волю, хлеб.
Большевики обманули. Мы не обманем. Мы все дадим.
Стремясь обеспечить крестьян землей на началах законных и справедливых, правительство с полной решительностью заявляет, что впредь никакие самовольные захваты ни казенных, ни общественных, ни частновладельческих земель допускаться не будут и все нарушители чужих земельных прав будут предаваться законному суду.

Лошади были сытые, зады у них лоснились. Широкая спина кучера мягко покачивалась. Бутовы ехали на вокзал.

— Ты, Шурочка, не беспокойся. Поездка в Японию обеспечит нас на всю жизнь.

— Митя, я не беспокоюсь, но зачем это сейчас? Ведь мы сыты — и хорошо. Лучше быть вместе теперь. Смотри, все бегут из Омска. Я боюсь, что ты не успеешь вернуться. Они придут. Ах, это ужасно.

— Не беспокойся, милочка. Их отгонят. Я вернусь. Все будет хорошо. Не беспокойся, милочка.

Рессоры плавно опускали и поднимали экипаж. У вокзала стояла вереница пролеток, телег, тарантасов. Уезжающих на восток было много. На запасных путях беженцы жгли костры. Грязное белье на небе набухло. Вода текла с него ручьями. По улицам было трудно идти. Скользко. Холодно. Платформа черная блестела. На больших ресницах Бутовой висели горячие капельки. Не дождь. Слезы.

— Не беспокойся, милочка.

21. ПОКАТИЛИСЬ ВНИЗ

Стоял октябрь.

Голые белоствольные березы беспомощно гнулись под напорами сильного осеннего ветра. Легкие первые снежинки кружились в воздухе, тихо ложились на озябшую землю. Иногда ветер разрывал тонкие снежные одежды земли, обнажая ее грудь, сплошь покрытую багряницем опавших листьев. а людям, измученным долгими боями, грязным и дрожащим от холода, казалось, что из-под снега огромными яркими пятнами выступает пролитая ими кровь и молчаливо напоминает об изуродованной, загаженной человеком жизни. С каждым днем он все плотнее закрывал израненное, изорванное снарядами и пулями тело земли. Стоял октябрь, фатально





счастливый для красных месяц. В этом году они опять, как и в прошлых двух, в октябре были победителями. На фронте дела белых становились все хуже и хуже. В старых добровольческих полках, основательно потрепавшихся в боях, чувствовались упадок духа и усталость. Молодые сибирские части были настроены враждебно по отношению к правительству Колчака и не только уклонялись от боев, но даже перебегали на сторону красных целыми ротами, батальонами. Финансовые операции, закон о земле, карательная политика сибирского правительства, умело использованные красными в целях агитации, делали свое дело.

Наступление от Петропавловска до Кургана и захват берега Тобола были последним успехом белых, последней предсмертной судорогой армии Колчака. На Тоболе, получив смертельный удар, белая армия начала безостановочное, беспорядочное отступление. Отступление без всякого нажима со стороны противника, который едва поспевал за отходящими. Отход армии прикрывался незначительными, бутафорскими, арьергардными боями. Каждому, от рядового до генерала, было ясно, что дело проиграно, что армия Колчака скоро прекратит свое существование. Не понимал, видимо, это только один генерал Сахаров, который предложил Колчаку организовать защиту Омска, настаивая на том, что столица Сибири не должна быть сдана. Колчак согласился. Конечно, ничего из этой затеи не вышло, и Омск был сдан почти без боя теми самыми образцовыми егерскими частями, на которые так надеялся диктатор. Взятие Омска нанесло последний сокрушительный удар армии Колчака. Грозный призрак коммунизма стал в Сибири реальным воплощением дня. С запада наступала на белых крепнувшая с каждым днем Красная Армия, с севера, юга и востока наседали на них, перегораживая путь отступления, красные партизаны. Местные жители без принуждения не давали отступающим ни крошки хлеба, ни фунта мяса, ни одной подводы. Белая армия заметалась, как зверь в капкане.

Тяжкий молот классовых противоречий разбивал в куски разлагающееся тело белогвардейщины, тысячами разил белых, гнал их безостановочно. Красная Армия наступала, побеждала, брала одну губернию за другой. И чувствовалось, что берет верх она не численным превосходством, не техническим преобладанием. Было что-

то в ее железном марше страшное и неотвратимое, как судьба, что-то необъяснимое, но огромное и властное, вселявшее панику в ряды белых.

Белая армия расползалась по всем швам и соединениям. Оборвалась связь между корпусами, несогласованно действовали дивизии, полки отрывались десятками и растекались поротно, повзводно или просто кучками. Дисциплина совершенно пала. Никто никого не слушался, никого не признавал, каждый действовал по своему усмотрению и за свой страх. Начался массовый переход на сторону красных. Сдавались поодиночке и целыми частями. Сдавались, таща с собой громадные запасы обмундирования, снаряжения, боевых припасов, продовольствия. Не желавшие сдаваться, вернее боявшиеся сдаться, отходили в глубь страны. Отступали главным образом офицеры и добровольцы и люди, просто захваченные потоком движения, шедшие по инерции.

После Омска можно было отступать только по одной дороге, на которой сошлись и смешались все части когда-то хорошо организованной армии. Тут шли каппелевцы, ижевцы, уфимцы, действовавшие в последнее время на левом фланге армии: с ними в одном потоке откатывались воткинцы, оперировавшие ранее на правом фланге, тут был и какой-то степной корпус, и прифронтовые полки, и тыловые части, управления, учреждения, эвакуировавшиеся за недостатком вагонов на лошадях; тут же отходили только что прибывшие на фронт добровольческие дружины святого креста и полумесяца, бежали и жалкие остатки сибирских дивизий, таявшие с каждым днем, так как солдаты-сибиряки отходили только до родных сел, где и оставались. К отступавшей массе военных примешивались волны беженцев, ехавших с войсками на восток. Казенные фургоны, орудия, зарядные ящики, сани, кошевки, телеги, верховые лошади, солдаты, офицеры, женщины, дети, чиновники гражданских учреждений, полки кавалерии, гурты скота, обозы подводчиков — местных жителей, казачьи части — все смешалось в одну массу и в хаотическом беспорядке стремительно откатывалось на восток. Широкой черной лентой ползла волна отступающих, пожирая и уничтожая все на своем пути. На десятки верст вправо и влево от железной дороги, по главному тракту и небольшим проселочным дорогам деревни, села, заимки, города были битком набиты белыми. Армия как организованная бое-

вая и хозяйственная единица перестала существовать, но масса людей, входивших в ее состав, осталась, нуждаясь по-прежнему в пище, одежде, перевозочных средствах. Огромную дезорганизованную массу людей, конечно, некому было кормить, снабжать всем необходимым, и она, голодная и холодная, подгоняемая сильным врагом, свирепела, как зверь, жадно накидывалась на города, села, деревни, заимки, громила склады обмундирования, вина, продовольственные магазины, тащила с крестьянских полей последнюю охапку сена, соломы, выгребала из амбаров и кладовок местных жителей все запасы муки, зерна, картофеля, масла, убивала массами крестьянский скот, птицу, жгла на своих кострах все, что можно было, обрекая остающиеся на местах население на голод и холод. По ночам огромное багровое зарево стояло на всем пути отхода бывшей армии Колчака — то люди, не захватившие квартир, вынужденные ночевать на снегу, жгли костры, прячась около них от жестоких сибирских морозов. Среди отступавших начались массовые заболевания тифом. Целые обозы и сотни подвод с больными и обмороженными тянулись в города. Лазареты не в силах были принять всех, и масса больных бросалась на дорогах в санях или просто на снегу, где смерть быстро и верно излечивала их, раз и навсегда освобождала от всех страданий. Фуража не хватало, и загнанные и голодные лошади сотнями падали на дороге. Трупы замерзших людей и дохлых лошадей, как страшные вехи, обозначали путь отступления. Точно смертоносный смерч несся на восток, крутясь по городам и селам, оставляя после себя ужас смерти и разрушения, устилая свой путь трупами людей и животных, черными полосами пожарищ.

На остановках, во время ночевок, теснота была невероятная. Люди набивались в избы так, что в них буквально можно было только стоять. Холодные и усталые солдаты, ища защиты от ветра и снега, забивались в хлева, амбары, конюшни, располагались на гумнах, у зародов сена или соломы. Самые несчастливые, приехавшие позднее всех в деревню, отпрягали лошадей на улице, раскладывали большие костры и тут же спали в санях, тесно прижавшись друг к другу.

Барановский, Мотовилов и Колпаков с остатками своих рот оторвались от полка и ехали вместе, составив, по выражению Колпакова, «ударно удирающий» ба-

тальон. Барановский ехал, занятый своими мыслями, ни во что не вмешивался, с каким-то безучастием и покорностью подчиняясь распоряжениям энергичного Мотовилова, фактически ставшего командиром всех трех сведенных рот, потому что и Колпаков, человек с ленцой, с удовольствием свалил с себя все хозяйственные заботы. «Ударно удирающему» батальону не везло: он третьи сутки ночевал на улице. Запасы продовольствия истощились. Хлеба не было, мяса тоже, оставалось только несколько бочек масла, которое люди грызли на морозе с луком, захваченным на одной из хохлацких заимок. С последней остановки Мотовилов выехал злой и угрюмый, с твердым намерением во что бы то ни стало захватить в следующей деревне квартиру и в тепле хорошенько выспаться. Мотовилов ехал и мысленно рассуждал о том, как надо жить, и приходил к своему старому выводу, что нужно брать все силой, что живет только сильный. Ему вспомнилась только что оставленная деревня, где они и могли бы втиснуться кое-как в избу, но солдаты не пустили их, и они вынуждены были ночевать на морозе. Офицер краснел от одного воспоминания о том унижении, какое пришлось им пережить на последней остановке. Иззябшие и голодные, после шестидесятиверстного дневного перехода, они стали просить каких-то солдат, занявших избу, пустить их погреться. Из избы в ответ на вежливое «пожалуйста» офицеров раздалась грубая площадная ругань и крики:

— Много вас тут найдется, катитесь дальше! Самим сесть негде!

Один пьяный, с оборванными погонами, в английской шинели, вышел из избы и, громко икая и покачиваясь, глядя на офицеров мутными глазами, дыша им в лица винным перегаром, засмеялся:

— Что, господа офицеры, плохи дела-то! Не пускают. Н-да-с, прошли золотые денечки. Теперь мы все равны. Все бегунцами стали. Ик, ик! Все бегунцы. Н-да... ик, ик!

Солдат сильно покачнулся и, чтобы не упасть, схватился руками за угол избы, закинул голову назад, попытался запеть, но у него из горла вырвался прерывистый, заглушенный вой, и весь он, лохматый и грязный, был похож на дикого зверя. Замолчав, пьяный выпрямился и, обращаясь к офицерам, продекламировал:

Офицерик без погон,
Вспомни, что было.

Мотовилов молча размахнулся и сильно ударил пьяного кулаком в ухо, тот без звука рухнул на снег, потеряв сознание. Офицеры вышли со двора. Барановский с нервно подергивающимся лицом спрашивал:

— Ну зачем это, Борис? Зачем?

— Дурак ты, — коротко ответил Мотовилов.

Теперь, сидя в санях и вспоминая эту сцену, офицер со злобой думал о «серой скотине». После нескольких часов езды Мотовилов остановил свой батальон на вершине холма, у подошвы которого стояло село. С холма хорошо было видно, что село кишит людьми и обозами. Свободных квартир в нем, несомненно, не было. Офицер подошел к саням с пулеметом и твердым, властным голосом приказал пулеметчику:

— Снимай пулемет. Ставь на дорогу.

Кольт зачернел на снегу, вытянув свое дуло в сторону села.

— Заряжай! — командовал Мотовилов. — Церковь видишь?— спрашивал он пулеметчика.— По вершине креста, с рассеиванием,— продолжал командовать Мотовилов.— Пулемет, очередь!

Двадцать пять пуль со свистом пролетели над селом, и сердитый стук пулемета разнесся по всем улицам. В селе поднялась суматоха. Люди, измотавшиеся вконец за долгое отступление, не разбираясь ни в чем, услышав только стрельбу, решили, что подошли красные, в панике метнулись из села. Обозы сплелись в запутанный клубок, сгрудились на узких улицах в несколько рядов, не могли разъехаться, выехать в поле. Мотовилов, смеясь, наблюдал в бинокль, изредка выпуская из пулемета небольшие очереди. Обозники рубили постромки и гужи, садились на лошадей и удирали верхом, бросая сани со всяким добром. Минут в пятнадцать село было очищено совершенно, и Мотовилов въехал в него с батальоном, приказав людям набрать из брошенных обозов необходимые продукты и вещи поценней. Солдаты, обрадованные легкой добычей, со смехом принялись за разборку брошенного, хваля находчивость своего командира. Жадный и запасливый каптенармус из роты Колпакова бегал между санями и, задыхаясь, кричал солдатам:

— Ребята, ничего не бросай. Там если чай или что,

тащи. Масла тоже надо взять. Лошадей достанем. В дороге все годится.

Офицеры заняли один из лучших домов. Мотовилов с видом победителя сидел в переднем углу. На столе дымилось большое блюдо разогретых мясных консервов, брошенных какими-то штабными. Фомушка трясся от душившего его смеха, вскрывая банку забытых консервированных фруктов.

— Ты что, Фомушка?— устало спросил Барановский.

— Да как же, господин поручик, тутока за версту кто-то в небо палит, а тысячи людей бегут. Ну и трусы,— раскатывался и фыркал вестовой.

Трофеи превзошли все ожидания. Взято было масло, мясо, консервы, сахар, чай, мука, крупа, рис, овес, полвоза валенок, десяток полушубков, белье. N-цы в этот день основательно поужинали и в теплых избах расположились спать. Но к утру стали подходить новые обозы, и людей в избы налезло опять так много, что на рассвете офицеры едва выбрались из квартиры, с трудом шагая по груде человеческих тел, лежащих на полу в тяжелом забытьи. Ехать по большой дороге не было никакой возможности. Обозы шли по ней в четыре ряда, сплошным потоком, растянувшись на десятки, а может быть, и сотни верст. Движение было крайне медленное. Впереди идущие то и дело останавливались, задерживая из-за какой-нибудь поломки саней или порчи сбруи тянущийся сзади хвост на несколько верст. Люди стояли, злобно ругаясь и крича:

— Ну, понужай там, понужай!

Мотовилов решительно повернул со своим батальоном влево, заметив небольшую полевую дорожку, и к концу дня весьма удачно вывел его на глухую брошенную хозяином-немцем богатую заимку. Обозов на заимке было мало. Большая рабочая казарма с нарами была свободна, батальон разместился в ней. В казарме была плита с двумя вмазанными в нее котлами и русская печь. N-цы пришли в восторг от таких удобств. Солдаты шутили, отогреваясь в теплом помещении.

— Вот, ребята, повезет так повезет. Вторую ночь под крышей ночуем,— говорил кто-то, залезая на верхние нары.

Вестовые и несколько солдат отправились за дровами. Вернулись они, таща части разломанных фур, телег и даже принесли шикарное дышло от какого-то экипа-

жа, покрытое черным лаком. Вестовой Мотовилов принес пару хороших венских стульев и несколько гравюр, снятых им со стены в доме хозяина.

— Это для чего?— спросил его Мотовилов.

— На разжигу, господин поручик. Лучины нет, — простодушно объяснил вестовой и приимялся небольшим топориком рубить спинку стула.

Мотовилов махнул рукой:

— Валяй, ребята, жги, руби, только красным не оставляй.

Колпаков с глубокомысленным видом счел долгом присоединиться к мнению коллеги.

— Правильно, Борис Иваиович, правильно. Помиите, Кутузов, отступая, жег все на своем пути, чтобы французам не досталось? Безусловно, мы должиы поступать так же. На войне как иа войие!

Полотно гравюр с масляной краской и сухие ножки стульев горели хорошо. Дрова быстро разгорались и, потрескивая, стали бросать в казарму полосы мятущегося, желтого света. Фома явился после всех, сгибаясь под тяжестью большого мешка. Офицеры встретили его спрашивающими, любопытными взглядами. Вестовой подошел к огню и вытряхнул из мешка окровавленных гусей, индеек, кур, уток.

— Браво, Фома. Хо-хо-хо! Ого-го!— загоготал довольиый Мотовилов, щупая жирную, откормлеиную птицу.

— Где это ты словчил, молодчага?

Фома вытирал рукавом нос:

— На дворе тутока, господин поручик. Смотрю, солдаты откуда-то гусей да парышек тащат. Я подследил. Оказывается, из хлевушка такого, особенно для птицы устроен. Я туда, а там птицы этой видимо-невидимо. Ножик был при мне, я и давай полосовать. Чать красным ие оставлять?— закончил вестовой.

— Верио, Фомушка, однако, ты куда логичиее своего командира рассуждаешь,— заметил Колпаков.

Мотовилов повернулся к нарам.

— Ребята, тут гусей и индюшек до черта. Кто хочет, вали, режь. Сейчас их в котел и гусиный суп иа весь батальон сваргаиим. А ты, Фома, не зевай, тащи еще. Годится в дороге,— вполголоса приказал он вестовому.

Фома схватил мешок и побежал из казармы, а за

ннм десятка полтора солдат. Немного спустя оии поодииочке возвращалнсь, таща гусей, кур, уток. Фома вернулся опять с полиым мешком, но пряннес одних только ииндеек.

— Этн скусиее всех, — объясннл он.

Несколько солдат с хохотом втащили в казарму отчаяиио визжавшую большую породнстую свнныю, повалнли ее около печки и тут же всадилн ей в горло длинный японский штык. Потом притащилн и зарезали шесть поросят. Мотовилов только одобрнтельно гоготал, поощряя солдат.

— Вали, валн, ребята. Не все же иам лук без хлеба жрать. Пора и мясцом побаловаться.

Вестовые суетились у огия. Фома жарнл пару индеек, а другие двое пекли блнны. Несколько гусей были быстро ощипаиы и брошены в котел. К полуночи по казарме распространился вкусный запах супа н жаркого. Ужнн был готов. Прежде чем подать на стол нндеек, Фома куда-то нсчез н вериулся через несколько минут с двумя стекляиными баиками в руках. В одной была марнноваииая свекла, в другой брусннчное варенье.

— К жареному, господии поручнк,— сказал он н засмеялся.

— Ну н сокровнще у тебя вестовой, Ваня. Кладовую взломает, семь замков сшибет, а достанет все для своего барнна.

Барановскнй молча ложнлся на нары.

— А ужннать-то, господнн поручнк?— спроснл Фома.

— Я не хочу, Фомушка,— тихо ответнл офицер и закрылся шубой.— Я спать хочу.

Фомушка немного обнделся.

— Ну, господии поручик, я старался, старался для вас, а вы спать.

Мотовнлов с аппетнтом ел нндейку, жалея, что иет его приятеля Петина, убнтого в последннх боях, который так любил покушать.

Утром при выстраиваиии батальона Мотовнлову броснлась в глаза фнгура его фельдфебеля, важно сидевшего в саиях иа мягком кресле, обнтом малиновым плюшем.

— Где достал?

— У иемца, господнн поручик. Все равно пропадет,— как бы оправдываясь, ответнл фельдфебель.

Мотовилов добродушио засмеялся:

— Ничего, ничего, это хорошо. Смотри только не слети. Вон какую калачу соорудил.

Обоз тронулся, держась стороной от главного тракта. Вечером приехали в небольшую деревушку. На этот раз в избу попали только офицеры. Солдатам пришлось разместиться в хлеве и конюшне вместе со скотом хозяина. Изба была полна народу. Люди стояли, сидели, лежали на скамьях, на полу, толкая и давя друг друга. В более лучших условиях находилась компания офицеров-артиллеристов, сидевших за столом с батареей бутылок и игравших в карты. Вся семья хозяев — муж, жена, старуха бабушка и несколько ребятишек забились на полати и печь. Хозяйка сидела на краю печи с грудным ребенком на руках.

— Здравствуй, хозяюшка,— с трудом пробираясь к столу, сказал Барановский.— Чем угощать будешь гостей непрошеных?

Хозяйка, запуганная голодными озлобленными людьми, лезущими в избу без конца и счета днем и ночью и требовавшими с нее каждый день хлеба, молока, муки, не поняла шутки офицера, заплакала.

— Батюшка мой, да какие же у нас угощенья? Ведь вот третью неделю войско идет беспеременно, беспеременно,— причитала она сквозь слезы.— Все у нас посъели. Хлебушко весь повыгребли. Двух коровушек зарезали. Овечек всех взяли. Ой-ой-ой!— рыдала женщина — Самих, видишь, на печь затолкали, и больше места нам нету. В избе ступить негде. А на печке мы от жару пропадаем. Каждый солдат, как придет, так печку затапливает и лепешки стряпает. Того и гляди изба сгорит. Ребеночек один от жару помер. Ой-ой-ой, горе наше горькое.

— Да ты чего это, хозяюшка, расплакалась, ведь я пошутил,— успокаивал ее Барановский.

Бородатый мужик слез с полатей на печь и заговорил с каким-то отчаянием:

— Какие теперь шутки, господин офицер. Нас они, шутки-то эти, как ножом по сердцу режут. Вы подумайте только, как жить-то? Чего я весной делать буду, коли у меня последнюю лошадь взяли? А мне вон одра хромого, раненого подкинули. Разве это хорошо, господин офицер?

Барановский смущенно опустил голову, не зная, что сказать крестьянину.

Мотовилов злобно цедил слова:

— Н-и-ч-е-г о! Придут красные, ваши избавители, которых вы ждете, как манны небесной, и все вам дадут. Они вас облагодетельствуют. Подождите уж немного, сибирячки милые.

— Нам все равно, что красны, что белы, только бы жить дали. А ведь это, сами видите, господа офицеры, не жизнь, а каторга. Как варнак какой, на печи день и ночь жарюсь. Хозяйка и от печи отступилась — все солдаты стряпают, а нам времени нет, да и не из чего. Все забрали.

Мужик тяжело вздохнул и смахнул рукавом горькую слезу. Мотовилов не унимался:

— Вон что, он на печи сидит, да жалуется, а люди недели на морозе, да молчат.

— Борис, оставь, как тебе не стыдно,— упрекал Мотовилова Барановский.

— Коллеги, чего вы там слезливые антимонии с хозяевами развели? Есть о чем говорить. Все они хнычут, а поищи как следует, у них все найдется, только припрятано хорошо. Садитесь-ка лучше к нам. Сыграем по маленькой,— пригласил офицеров какой-то пожилой капитан.

— Бог вам судья,— сказал мужик и опять полез на полати.

Колпаков и Мотовилов сейчас же согласились, сели к столу. Барановский поколебался минуту и, решив наконец, что азартная игра развлечет его, присоединился к играющим. Банк метал молоденький поручик с черненькими усиками. Банкомет метал удачно, убил порядочно карт. Дошла очередь до Барановского. Офицер закурил и, не глядя на кучу денег, сказал:

— Все.

Руки банкомета дрогнули. Он дал карту и проиграл. Банк перешел к Барановскому. Ему сильно повезло. Бумажки, шурша, непрерывно текли к нему. Многие офицеры основательно проигрались, волновались, бледнели и усиленно пили спирт. Барановский не пил, только курил папироску за папироской. Играл он небрежно, равнодушно, игра не захватывала его. В клубах табачного дыма тусклыми пятнами мелькали лица игроков. Банкомет не следил за партнерами, и проигравшийся в пух молоденький поручик с черненькими усиками несколько раз как бы по рассеянности не ставил своих проигрышей. Некоторые проиграли все деньги, но

игру не бросали, думая отыграться. На столе появились золотые монеты, часы, портсигары. Барановский бил карту за картой. Около него уже стояла порядочная пирамидка золота и звонко тикали массивные серебряные часы. Фомушка стоял сзади Барановского, жадными, блестящими глазами смотрел на стол, дрожа от радости. За несколько месяцев службы он привязался к своему командиру, даже больше, питал к нему какую-то особую нежность, как к младшему беззащитному брату. Барановский с своей непрактичностью и мягкостью характера возбуждал в Фоме жалость, и ему было всегда приятно заботиться об этом большом ребенке. Фома ни на минуту не забывал, что молодой подпоручик был первым офицером, заглянувшим ему в душу и согревшим ее теплом ласки и участия. Стоя за спиной Барановского, он и радовался его выигрышу, и боялся, как бы он не проигрался под конец. Счастье не покидало молодого офицера, он выигрывал неизменно. Капитан, пригласивший офицеров играть, поднялся со скамьи.

— Ну, последняя ставка. Или пан, или пропал, но больше играть не буду. Ставлю своего вороного, если выиграю, то вы мне платите тридцать пять тысяч николаевскими. Идет?

— Идет,— вяло отозвался Барановский и дал карты. Капитан на секунду потерял самообладание, сильно стукнул кулаком по столу. Жировик упал набок, горящее сало потекло на бумажки, подожгло их. Все, кроме самого банкомета, бросились тушить. Когда огонь был снова зажжен, то от банка осталось очень мало, исчез куда-то и серебряный портсигар с золотой монограммой. Барановский брезгливо поморщился и встал.

— Я кончил, господа.

— Как? Почему? Обыграл всех, да и уходить? — не сдержался черноусый.

Барановский смерил его взглядом и спросил:

— Сколько вы проиграли, поручик?

— Семнадцать тысяч.

— Получите.

Офицер швырнул на стол пачку кредиток. Поручик, не смущаясь, опустил их в карман, насмешливо поблагодарив:

— Мерси.

Игра кончилась. Капитан, пошептавшись с своими коллегами, вышел на двор, а за ним вестовой стал вы-

носить вещи. Барановский слышал, как заскрипели ворота, захрустел снег под санями. Капитан пожалел своего вороного. Барановский смеялся. Ему противна была жадность людей и их трусость, с которой они цеплялись за деньги, не брезгуя даже кражей. Мотовилов и Колпаков, проигравшиеся вдребезги, сидели с бледными, осунувшимися лицами. Барановский сел с ними рядом. Офицер был в хорошем настроении. Ему было приятно от сознания того, что он своей удачной игрой заставил подрожать человеческие душонки. Барановскому всегда везло в картах, и он любил иногда поиграть в блестящей компании своих товарищей по оружию, любил вытащить из-за брони мундиров их души, потрогать за самые больные места, усилить жажду приобретения и, вдруг прекратив игру, уйти, оставив всех со скверным чувством проигравшихся скупцов.

— Ну, что, дюша любезный, продулся? — дурашливо спросил Барановский Колпакова.

— Ни копейки, все спустил. Башка трещит ужасно. Спирт скверный попал. Жар во всем теле, горю как в огне,— ответил Колпаков.

— Нишаво. Твоя сколько проиграл?

— Около сорока тысяч, Иван Николаевич.

— А твоя не обидится, когда моя твоя деньги отдавал обратно?

Колпаков молчал. Мотовилов, сильно захмелевший, пытался улыбнуться.

— Я не обиделся бы, Ваня, если бы ты вернул мне мои тридцать тысяч.

Колпаков решительно тряхнул головой:

— Какого черта в самом деле, что за счеты между своими? Ну, поиграли, немного кровь порасшевелили, и будет. Я согласен!

Барановский обрадовался:

— Ну вот, ну вот и отлично.

И стал быстро считать деньги. Фомушка с разочарованием вздохнул и вышел на двор кипятить чай. Дуя на шипящие, сырые щепки костра, он думал о своем командире и никак не мог понять, зачем тот отдал свой выигрыш обратно.

«Ведь если бы они его обыграли, так небось не подумали бы, все бы до копеечки сорвали»,— мелькало у него в голове.

Воздух в избе был полон удушающего, сгущенного

зловония, шедшего от грязных, кишащих паразитами, спящих людей. Табачный дым висел под потолком облаками. Старуха на полатях задыхалась в едких клубах махорки, кашляла и стонала. Громко плакал ребенок. Солдаты храпели на полу. Некоторые бредили. Офицеры кое-как напились чаю и тронулись в путь до рассвета. Оставаться дольше в избе не было сил. Когда вестовые стали выносить вещи, хозяйка обратилась к офицерам с просьбой:

— Господа офицеры, посмотрите вон того солдатика, что лежит на постели. Он никак помер? Все метался да колобродил сильно, а теперь чего-то затих?

Барановский положил руку на лоб солдату и сейчас же отдернул ее. Неприятное ощущение холода трупа заставило его вздрогнуть.

— Умер. Фомушка, вынесите его на двор.

Хозяйка перекрестилась.

— Царство ему небесное. Мать, поди, старуха осталась. Ох-хо-хо!

Уходя, Барановский сунул в руку хозяйке несколько золотых. Женщина раскрыла рот от удивления.

Колпаков жаловался на сильное недомогание. Температура у него была страшно высокая. Мотовилов, пощупав лоб и пульс больного, безнадежно махнул рукой.

«Тиф»,— подумал он.

Больного положили на одни сани с захворавшим татарином Валнулиным и сдали их на попечение санитару. Мороз стоял крепкий, с легким ветром. Было холодно. Больные то метались в жару, то дрожали, синея от озноба.

Мотовилов подошел к их саням.

— Уй, господин поручик, холодна,— жаловался Валнулин.

Офицер пообещал татарину достать шубу. Навстречу порожняком шел обоз подводчиков, возвращавшийся домой. Подводчики сидели спиной к ветру, закутавшись в теплые дохи и тулупы.

— Обоз, сто-о-ой! — заорал Мотовилов и вытащил наган. Первый подводчик сразу остановил лошадей и, бросив вожжи, соскочил с саней, встал на колени, умолял офицера не задерживать их.

— Господин офицер, вторую неделю как из дома, лошади пристали, сами которые сутки голодом. Сделайте божеску милость, отпустите.

— Встань, дурак. На кой черт ты мне нужен,— сказал Мотовилов.— Мне доха твоя только нужна. Живо раздевайся.

Мужик заплакал.

— Господин офицер, сделайте божескую милость, не обижайте, последняя. Ребятишки, жена...— бессвязно лепетал подводчик, щелкая зубами от страха.

Офицер направил на него револьвер:

— Снимай! Застрелю, как собаку!

Крестьянин со стоном встал:

— О господи, да что же это такое? — снял и бросил на дорогу свою доху.

— Ну, а вы что стоите? — налетел Мотовилов на толпившихся сзади подводчиков.— Раздевайтесь сию же минуту!

Высокий худой старик с большой бородой упал на колени:

— Ваше высокоблагородие, явите такую милость, не обижайте меня, старика. Замерзну ведь я без шубы-то, не доеду. Пожалейте моих сирот, внучат, у них ни отца, ни матери.

— Без разговоров раздевайся, старый черт, чалдон проклятый. Не привыкать тебе к морозу-то.

Старик покорно снял тулуп. Остальные крестьяне молча, с мрачными лицами, снимали шубы и бросали на снег. Фельдфебель Мотовилова соскочил с своего кресла и быстро стал распрягать у одного из подводчиков лошадь.

— Что вы делаете? Креста на вес нет. Совсем людей разоряете! — закричал мужик.

— Замолчи! — прикрикнул на него фельдфебель и стал припрягать его лошадь себе в пристяжку.

Вестовому Колпакова понравились крепкие сани старика, и он забрал их под офицерские вещи, оставив хозяину полуразвалившиеся дровни. Старик стоял среди дороги и разводил руками.

— Боже мой, что же это такое делается?

— Шагом ма-а-арш! — скомандовал Мотовилов, и батальон пошел дальше.

К рассвету обозы стали скапливаться на дороге, быстро образовалось несколько рядов. Движение сделалось неравномерным. Обозы то медленно ползли сплошной вереницей, то разрывались, останавливались или летели вскачь, стараясь обогнать друг друга. Приблизи-

тельно около полудня обозы остановились. Мотовилов покричал, покричал обычное в таких случаях «понужай, понужай!» и заснул. Валиулин и Колпаков, покрытые дохами, метались в бреду. Татарин был более спокоен, он только кричал:

— Тыганда, шрапнель! Кувала! Кувала! — Его, видимо, давили воспоминания о последних боях с поспешными отходами с позиций. Офицер бредил атаками. Он выскакивал из саней, кидался в сторону с дороги, увязая по пояс в снегу, и, махая руками, командовал:

— Восьмая рота, за мной! Ура! Ура!

Когда его укладывали опять в сани, то он просил у какой-то Лели «маленький-маленький кусочек ласки» или со слезами на глазах декламировал:

Я ребенок больной,
Я так ласки хочу.

Потом снова начинал звать свою роту, снова кричал «ура» и выскакивал из саней под крепкую ругань санитара, которому надоело вытаскивать его из снега.

— У, дьявол, хоть бы сдох, что ли, скорей,— ворчал санитар.

Младший офицер, прапорщик Гвоздь, пошел вперед узнать, где и от чего произошла задержка. Оказалось, что верстах в двух впереди был большой овраг с единственным узеньким мостиком. Обозы подошли к нему в три ряда. Подошедшие первыми спорили, какому ряду идти вперед. Прапорщик Гвоздь вмешался в общий спор, защищая интересы своего ряда. Слово за слово спор стал разгораться, какой-то солдат толкнул прапорщика в грудь, пытаясь въехать на мост. Горячий Гвоздь не выдержал, выхватил револьвер и застрелил солдата. Товарищ убитого быстро сорвал с плеча винтовку и выстрелом в упор размозжил офицеру голову. Кто-то воспользовался суматохой и въехал на мост.

— Понужай, понужай! — заорали тронувшиеся обозники.

Другие ряды попытались задержать счастливцев, но было уже поздно. Обоз пошел. На убитых никто не обратил внимания, и они так и остались лежать в снегу, около самого берега оврага. Мотовилов проснулся, когда мост был уже пройден. Офицер оглянулся назад, пересчитал свои подводы и спросил фельдфебеля:

— Фельдфебель, кажется, у нас чего-то маловато стало и подвод и людей?

— А как же,— ответил фельдфебель,— конечно, меньше. Почти что в каждой деревне одного, а то двух оставляем — то больных, то мертвых, то замерзших.

— Отчего это мрут так?

— Все больше от тифа, господин поручик.

— Да, да, тиф, тиф! Скверная штука тиф.— Офицер зевнул и устало опустил голову.

22. АГА! АГА!

На внутреннем фронте, так же как и на внешнем, белые терпели поражение за поражением. Партизаны заняли район в несколько волостей. В Пчелине над зданием школы снова развевался красный флаг с инициалами—ТСФСР. Пчелино играло роль столицы всего повстанческого района, всей Таежной Социалистической Федеративной Советской Республики. Село было обращено в укрепленный лагерь. Глубокие окопы двумя поясами охватывали его со всех сторон. Далеко впереди за ними, на широких полянах, на дорогах, сплошной лентой лежали кверху зубьями бороны, запорошенные снегом. Тонкой паутиной путалась колючая проволока. Бугры и покатости на подступах к позициям были утоптаны, залиты водой, заморожены. В темные прорезы бойниц смотрели толстые, зеленые «максимы», черные, поджарые, ребристые «кольты». Из оконца большого блиндажа, выходившего на Медвежинский тракт, торчало широкое горло самодельной железной пушки — гордости 1-го Таежного полка.

За время с отхода на Черную гору в организации управления Республикой и армией произошло много перемен. Вместо прежнего Военно-революционного районного штаба был избран главнокомандующий, который единолично разрешал все вопросы оперативного, боевого характера. Остальные дела перешли к созданному на выборных началах из представителей бойцов и мирного населения армейскому совету. Был организован государственный контроль — контрольно-ревизионная комиссия. Таежный район военных действий стал называться Северным таежным фронтом.

Острая нужда в обмундировании, оружии и огнепри-

пасах заставнла партнзан наладить и пустить в ход свои мастерские и химнческую лабораторню. В Пчелине работалн полным ходом швальня, шубная мастерская, изготовлявшая полушубки и собачьн дохи, сапожная, пимокатная, шорная, кожевенный н солеваренный заводы и, иакоиец, химическая лаборатория и починочная оружейная мастерская. В лаборатории снаряжалнсь патроны, изготовлялись ручные гранаты, фугасы, подрывные снаряды для порчн мостов и лннин железной дорогн. Недостаток командиров побудил организовать инструкторскую школу, которая работала очень успешно второй месяц. Заведовал школой перебежчик, колчаковский прапорщнк. В армии было уже миого пулеметов, захваченных у белых. Для более правильного и удобного использования их сформнровалась пулеметная команда. Школы грамоты, имевшиеся в селах, входнвших в состав Республики, былн открыты, учнтеля все взяты на учет и в порядке трудовой повинностн обязаны вести занятия. При совете работал военно-революционный трибунал. В ротах, батальонах и в полках существовали свои суды. Больница и лазарет содержались в порядке, несмотря на то, что врач н два фельдшера с половиной медикаментов перебежалн к белым. Агитацнонный отдел фронта вел усиленную агнтацию среди крестьян, звал к немедленному свержению властн Колчака. Отделом регулярно выпускались газеты «Военные известня Северного таежного фронта», в которых помимо воззваний давались оперативные сводки о положении дел на фронте н сообщения о событиях и настроениях в тылу у белых и в их армии. Армия и беженцы были на полном иждивенин Совета народного хозяйства, который снабжал всех продовольствием, одеждой, обувью н медикаментами. Совет же народного хозяйства закупал через своих агентов в тылу у белых оружие, патроны, порох, свинец, медикаменты, бумагу, перевязочные средства. Денежный фонд Республики был довольно велик, составился он нз добровольных пожертвований н внутреннего займа, выпущены былн так называемые товарищеские заемные пнсьма. Фуражные и продовольственные запасы составлялись частью так же из пожертвований, частью с помощью реквизиции у богатого населения или просто захватывались, отбнвались в боях у врага. Вся черная тыловая работа — рытье окопов, постройка укреплений, заготовка топлива — велась пленными бело-

гвардейцами, содержавшимися в концентрационном лагере.

В школе шло очередное заседание армейского совета. Место секретаря занимал Воскресенский. Говорил председательствовавший Жарков.

— Товарищи, сейчас мы получили радостную весть.

Жарков немного волновался, говорил с усилием. Лицо его освещалось нервным возбуждением. Кулаки, сжатые, он медленно подымал и опускал. Бритый, помолодевший Воскресенский улыбался, смотря на плотные, ровные ряды голов насторожившихся партизан.

— Разбойничье гнездо разорено. Белое воронье разлетелось. Паук Колчак бежал. Омск взят Красной Армией.

Стены затрещали, звонко вскрикнули стекла в окнах, пол заколебался.

— Ура! Да здравствует Советская власть!

— Да здравствует Красная Армия!

— Смерть палачам! Колчачишка не убежит! Поймаем! Попадется, кровосос! Ура! Ура! Попадется!

Делегаты сорвались с мест, опрокидывая скамьи, толкаясь, столпились около стола президиума, махали руками.

— На журавец его, паука, плясать заставить! Неделю шомполами пороть! Мост через Чистую взорвать надо! Поймать убивца! Поймать! Ловить! Не упустить! Рассказывай подробней! Как их, гадов, поколотили!

Крепкие кулаки Жаркова бессильно разжались, стучать он больше не мог.

— Товарищи, к порядку! К порядку!

Председатель поднял обе руки:

— Товарищи, послушайте! Есть еще новости! Товарищи!

Волна покатилась обратно. Ликующий порыв массы, стиснутый стенами тесного класса, стал задыхаться, глохнуть. Делегаты, громко разговаривая, рассаживались по местам.

— Товарищи, прекратите разговоры! Внимание!

Собрание затихло.

— Час окончательной победы близок. Еще немного, и мы войдем в город, в притон кровопийцы Красильникова,

— Правильно!

— Буржуйские банды бегут, сами не зная куда. Они,

товарищи, совсем бессильны. Железное кольцо советских войск сжимает их, душит. Вся Сибирь восстала. Колчаковская сволочь еще удерживает за собой железную дорогу.

— Сшибить их с линии!

— Удрать им, конечно, нужно. И вот они, гады, ухватились за последнее средство: распускают по селам и деревням свои подлые воззвания «К беженцам», «Призыв к женщине», надеются, видно, что крестьяне забудут, значит, ихнее мародерство, порки и виселицы, развесят уши.

— Ошибутся, господа! Ошибутся! Правильно!

— Вот что они пишут, товарищи: «Погибнет Россия, погибнете и вы. Погибнут ваши мужья, дети и отцы. Они будут ими расстреляны». Это, значит, нами. «В лучшем случае будут рабами большевиков».

— Рабами не рабами, а заставим, гадов, исправить все, што они испакостили! Поработают, белоручки!

— Если палачи заговорили уж так, кинулись защиты и помощи у баб искать, дело их, значит, конченое. Скоро всем им амба будет.

— Правильно! Амба! Амба!

Делегаты не могли сидеть спокойно, не могли оставаться только слушателями. Радость близкой и окончательной победы волновала сердца. Воскресенский смотрел на партизан серыми ласковыми близорукими глазами. На душе у него было тихо, светло и немного грустно. Жену и ребенка он не забыл еще. Жарков овладел и собой и собранием, говорил уверенно, не торопясь.

— «Родина гибнет»,— пишут гады в своих газетах. На это мы отвечаем им, что у рабоче-крестьянского класса, угнетенного и измученного разбойничьим правительством, родины нет, слово «отечество» нужно только вам для прикрытия разных темных делишек. Для нас родина — весь мир, и скоро мы восстанем во всем мире против буржуазии. Мы в германскую войну сумели через окопы и проволоку сговориться с немецкими товарищами, сговоримся и теперь с заграничными братьями.

— Правильно!

— Сговоримся и раздавим вас, гадов, никуда вы от суда народного не убежите.

— Врут, голубчики! Не убегут! Переловим!

— Гады, гады, вы даже умереть-то не умеете по-человечески: подыхая, стараетесь отравить нас своей ло-

жью. Нет, никакого снисхождения вы не заслуживаете, вас проклинает весь род человеческий.

— Палачи! Кровопийцы! Паразиты!

— Последняя твердыня буржуев — Омск пал. Белым волкам теперь остается только разбегаться по лесам, скрываться. Наша святая обязанность вылавливать их и уничтожать без пощады.

— Уничтожить! Уничтожить всех! Пощады нет им! Они нас не щадили!

— Товарищи, тише! Слушайте, товарищи, теперь еще одну новость.

Собрание притихло, снова насторожилось.

— Белые живоглоты не только думают одурачить нас своими воззваниями, но они еще имеют нахальство оскорблять нашу честь партизан своими мирными предложениями. Колчаковская власть из губернии обратилась к нашей республике с мирной нотой.

— Чего? Как? Ты не врешь?

Жарков нахмурился.

— Я не думаю шутить, товарищи, на заседании. Вот сейчас товарищ Воскресенский, как секретарь, значит, огласит вам эту ноту:

— Мир! Ха-ха-ха! Хе-хе! Ого! Го-го! Ого! Ха-ха-ха! Мир! Нашли дураков! Ха-ха-ха! Когда бежать некуда, так и мир! К стене буржуев прижали! Пардона запросили! Ха-ха-ха! Читай, Воскресенский! Читай! Ха-ха-ха!

Воскресенский встал со стула, поднял в руках большой лист. Насмешливая улыбка двумя складочками залегла у партизана по обоим концам губ. Глаза, опущенные вниз, смеялись. Делегаты перестали шуметь.

— «К повстанцам Таежной Социалистической Федеративной Советской Республики»,— начал Воскресенский.

— Не кой-как, к Республике. Ну, вали, вали!

С каждой выпущенной пулей народное богатство России уменьшается по-теперешнему на десять рублей. С каждой загубленной жизнью земля лишается своего пахаря, завод лишается своего работника, школа своего учителя, семья своего кормильца, государство теряет своего гражданина.

— Хорошо поет, не знай, где сядет! Лицемеры! Прохвосты!

Суровцев, сидевший у окна, положив на подоконник записную книжку, набрасывал проект ответа белым:

В разорении страны, прежде всего, виновато так называемое Сибирское правительство, с своей спекулятивной финансовой вакханалией и карательной политикой, политикой истребления лучших, активнейших своих граждан, сожжения и уничтожения целых областей.

Мы прекрасно понимаем, из какого источника протекают ваши крокодиловы слезы о «загубленной жизни», о «бедном пахаре», «о рабочем, лишенном работы», о «страждущем учителе» и т. д.

Воскресенский читал следующий пункт ноты:

Чем дальше идет братоубийственная борьба, тем она жесточе, тем больше мы, русские, обескровим нашу мать Родину, тем большее историческое преступление мы совершаем против своего государства, против самих себя.

Партизаны молчали. Рука Суровцева быстро бегала по бумаге.

Не вам говорить об «историческом преступлении». Вы кощунствуете, ссылаясь на историю, вы не можете представить себе ее иначе, как в виде продажной женщины, которую можно использовать за медный грош. Что же касается государства, то у трудящихся свой государственный идеал, идеал Советской Республики, но не ваш растленный идеал государства-паразита и денежного мешка.

Все наши неурядицы и междоусобицы только радуют наших иностранных врагов. Да и наши заграничные «друзья» от нашей внутренней распри только выигрывают: мы у них покупаем обмундирование, снаряжение. Каждый день борьбы разрушает все больше нашу промышленность, и мы в будущем вынуждены будем сдавать за бесценок за границу наши продукты, чтобы получить оттуда гнилую сарпинку и другие низкопробные фабрикаты.

Да, международные шакалы не прочь поживиться, половить рыбку в кровавой луже, точно так же как и наши отечественные «благодетели». Крокодиловы слезы и показной страх за разрушение промышленности — все это ваше либерально-поповское кликушество никого не обманет, ибо всем известно, что в разрушении промышленности виноваты вы, затеявшие гражданскую войну.

Чем дальше тянется кровавая распря между нами, русскими, тем Россия ниже опускается в глазах других народов, и когда-то гордое слово — «русский» вызывает теперь у наших врагов и «друзей» улыбку презрения.

В этом пункте красноречиво замалчиваются такие явления, как сожжение сел, деревень, грабеж крестьянского имущества, издевательство над личностью крестьянина, закапывание живыми, запарывание насмерть, смерть на виселице, расстрел женщин и детей и тому подобные расправы колча-

ковских правителей. Кто же является в этом кровавом споре обвиняемым во всех злодействах, о которых умалчивает ваша пресловутая юстиция? Имейте мужество, не виляя, дать прямой ответ на эти вопросы. Эти вопросы — вопросы сфинкса, и вы на них не можете ответить, и потому вы должны быть пожраны сфинксом революции. Воистину своим молчанием вы вырываете себе могилу.

Чем дольше продолжается кровавый пир, тем дальше мы отходим от намеченных революцией идеалов равенства, братства, свободы, тем дольше мы тормозим созыв истинного хозяина русской земли — Учредительного собрания.

— Ха-ха-ха! Куда метнул! Это Красильников с Орловым, что ли, будут всех нагайками в Учредилку загонять! Равенство! Свобода! Ха-ха-ха! Это на журавце, в петле свобода-то? Ха-ха-ха!

Воскресенский ждал, пока перестанут шуметь. Суровцев писал:

История показывает, что буржуазия неоднократно топтала ею же выдвинутые великие идеалы равенства и братства, как только рабочие пытаются осуществить их полностью на практике. Русская буржуазия в лице, с позволения сказать, своего Сибирского правительства идет по стопам западной буржуазии, которая во имя равенства, братства, законности и порядка расстреляла десятки тысяч парижских коммунаров в 1871 году. Культурные звери, до каких пор вы будете кощунствовать, произнося эти слова? И это после того, как вы создали миллионы мучеников, кровь которых вопиет о мщениях... Ха... Учредительное собрание... Мы прекрасно видим вашу удочку, мы не караси-идеалисты, чтобы добровольно идти на вашу сковородку. Не обманете.

Воскресенский выпил стакан воды.

— Много, гады, написали, слюной, товарищ Воскресенский, не истеки.

Партизан улыбнулся, махнул рукой. Насмешливые складочки залегли глубже.

Хищные волки рыскают в поле и гложут трупы лучших сынов России, черные вороны клюют их глаза.

— Колчак со своими бандитами!

С каждой новой жертвой, с каждым новым убийством все больше ожесточается сердце людей. Люди тоже становятся хищными зверями, преступниками в силу этого исторического рока, и наряду с нашим экономическим обнищанием открывается неизмеримая бездна нашего морального падения.

Русские люди, очнитесь!

Прервем язык ружейных выстрелов. Год междоусобной

распри нас ни к чему не привел и не приведет. Взаимно оружием друг друга мы не убедим и не уничтожим, а только обессилим на радость наших иноземных «друзей» и врагов.

— Эге, прослабило буржуя! Напустил в штанишки! Ага! Не убедим! Ага, сдаешься, сволочь! Нет, мы тебя убедим! Мы тебя уничтожим! Мы тебя убедим, коли ты с нами заговорил так! Сволочь! Ага! Ага! Ага!

Собрание качнулось всем телом вперед. Заостренные злобой глаза массы впились в бумагу в руке Воскресенского. Воскресенский почувствовал тяжелый взгляд собрания. Прилив гнева и ненависти передался и ему. Насмешливые складочки растянулись в нервную гримасу. Лицо немного побледнело. Глаза стали серьезными.

Поищем путей более разумных, чтобы сказать друг другу, чего мы хотим. Приступим к мирному улаживанию нашего «семейного» спора. Поговорим как люди, а не как звери о наших задачах, о наших целях. Может быть, мы и не так далеки друг от друга в наших стремлениях, есть возможность объединения, сплочения всех вокруг непартийных программ и лозунгов во имя великой идеи воссоздания великой демократической России через Учредительное собрание. Взаимно мы должны быть снисходительны друг к другу и друг друга не судить.

Злоба сжимала грудь массы, мешала дышать.

— Ага! Ага! Ага! Чует кошка, чье мясо съела! К стенке вас всех, палачей! К стенке! Ага! Ага!

Суровцев писал листок за листком, стараясь кончить скорее. Воскресенского он не слушал, так как перед ним лежала копия ноты.

Здесь говорится об улаживании нашего «семейного» спора. И тут лицемерие автора ноты, представителя колчаковского правительства, достигает геркулесовых столбов! Г. Бондарь не настолько наивен; мы полагаем, что он изучал социальные науки во Франции; знаем также, что он участвовал в вооруженном восстании в Красноярске в декабре 1905 года, знаем его, что он был убежденным террористом. Следовательно, он прекрасно знает, что революционный пролетариат и трудовое крестьянство, с одной стороны, и буржуазия — с другой, такая же семья, как сожительство волка с овцой. И тем не менее ему приходится лгать на каждом шагу, глубокомысленно толкуя о нашем «семейном» споре. Поклонник колчаковского кнутодержавия, мы вам не верим. Ренегат, вы слишком низко пали. Вы предлагаете нам говорить о наших задачах и целях. Наша задача и цели, как небо от земли, далеки от ваших грабительских целей и задач, и объединение на этой почве, да еще вокруг так называемых непартийных лозунгов и программ, представляет из себя жалкую уловку.

Суровцев заторопился. Из-под карандаша побежали крупные кривые буквы:

Что касается до великой демократической России, то она осуществится только через труп Колчака. «Мы должны быть снисходительны друг к другу, друг друга строго не судить...» Что за жалкие слова. В этих словах видна ваша фигура пресмыкающегося гада, который молит о пощаде. И это вы мечтаете о пощаде после того, как вы сами же себе подписали смертный приговор. И это вы делаете попытку войти в мирные переговоры после всех сделанных вами чудовищных злодеяний, перед которыми бледнеют ужасы средневековья. Поздно. Будьте прокляты.

Воскресенский начал предпоследний пункт:

Уже командующий войсками округа объявил полную амнистию, полную безнаказанность всем повстанцам, добровольно сложившим оружие. Можете верить в искренность и высокие побудительные причины этого шага.

— Довольно! Это оскорбление! Довольно! Долой белых гадов! Мерзавцы! Мы не позволим марать честь партизан гнусными предложениями. Они ответят у нас за это! — разгневанная масса зашумела. Дальше читать не стали. Вынесено было постановление поручить написать ответ агитационному отделу. Перешли к очередному вопросу порядка дня. На трибуну вышел чернобородый Сапранков. В последнем бою он был ранен в левую руку, носил ее на белой повязке. Волосы на голове у него, давно не мытые, смятые малахаем, торчали во все стороны, вились узлами. Лицо обветренное отливало бронзой.

— Товарищи, теперь аккурат настало время, когда нам надобно сурьезно подумать об установлении строгого порядка в нашей армии. Все может статься, что скоро нам придется схлестнуться с белыми гадами в последний раз, схлестнуться, значит, начистую, до сшиба. Или мы их, или они нас. Мы уже знаем, что подходят к нашей местности сильные ихние добровольческие дивизии.

— Правильно, Сапранков, надо подвинтить гайки!

— Товарищи, к порядку. Ораторов прошу не перебивать.

Жарков внимательно посмотрел на собрание.

— Наша армия, товарищи, армия восставшего народа, сильна тогда, когда она дисциплинированна, значит. Наша Республика устоит от напора разбойников, если все мелкие штабы, еще кое-где орудующие самостоятель-

но, подчинятся нашему главнокомандующему товарищу Мотыгину. Вот мое мнение. Акромя того. Да. Самогонку, значит, долой, чтобы ни один из нас и ни-ни, никогда ни в одном бы глазу не был. Мы, таежные, должны заявить, что с пьяным работать не будем и не желаем погибнуть в пьяном состоянии. Пусть напивается до омерзения банда белых разбойников, но нам, истинным борцам за свободу, стыдно и преступно делать то, что делает банда разбойников Колчака. Мы должны быть примером в глазах трудового народа и защищать свободу с трезвой головой. Всякое хулиганство надо вывести из нашей среды. За самовольство, за аресты, обыски, расстрелы без разрешения и приговора трибунала стрелять как собак. Крестьян обижать мы не должны, и таких хулиганов, которые бы нашлись у нас, мы должны уничтожить. А теперь у нас это может быть, потому што мы теперь победители и к нам налезло много и дерьма.

Горячие, дружные аплодисменты проводили Сапранкова на место. Вопросы, затронутые партизаном, были очень важны. Преступный элемент, идущий обычно по ветру, за последнее время в связи с успехами красных стал усиленно пролезать в ряды идейных борцов.

Лохматые папахи, малахаи, стриженые головы, усатые, бородатые, бритые и безусые задумались. Жарков молчал. Воскресенский заносил в протокол предложение Сапранкова, сильно наклонившись над бумагой. Суровцев черкал что-то у себя в записной книжке, ерошил волосы.

В селе мастерские работали. Из трубы лаборатории летели искры. Топился свинец. В оружейной звонко стучали молотки и зубила, визжало сверло. Десятка два пленных белых солдат пилили дрова во дворе пимокатной. В избе, занятой агитационным отделом, щелкала машинка. Широкий белый лист гнулся через резиновый вал.

Омск пал. Деморализованные банды белых бегут.

. . . .

Долой подлое колчаковское самодержавие! Долой негодяев, убийц, грабителей, палачей! Долой буржуазию!

Да здравствует Всемирная Революция!

Да здравствует Интернационал и Всемирная Советская Республика!

Война до победного конца над белым дьяволом, до полного уничтожения буржуазии всего мира!

Вперед, товарищи, не выпускать оружия из рук!

На кожевенном заводе вынимали из зольников кожи. Совет думал.

23. ЗЛОЙ СТАРИК

Эпидемия тифа усиливалась. Истощенные, измученные тяжелым отступлением, люди валились под ударами болезни, как мухи. Лекарств не было. Лазареты, летучки, околотки перестали работать. Заботиться о больных и раненых никто не хотел, так как каждый думал только о себе, каждый думал только о том, как бы выбраться целым и невредимым из страшного потока пьяных, грязных, вшивых, больных, озверевших людей. Смердящие зловонием гниющих ран, кишащие паразитами люди в слепом безумии бежали на восток.

Барановский захворал возвратным тифом и ехал то в полном сознании, то бредил целыми сутками. Мотовилов остался совсем один. Закутавшись в доху, он часами неподвижно сидел в санях, угрюмо смотря на бесконечную дорогу. Скверные мысли вертелись в голове офицера. Иногда у него являлось острое, раздражающее желание взять револьвер, приложить холодное дуло к виску и сразу перестать думать, чувствовать, жить. Рука тянулась к деревянной рукоятке нагана и, едва коснувшись ее, отскакивала в сторону, как обожженная. Мотовилов вздрагивал, легкий холодок знобящими мелкими волнами пробегал по телу. В воображении всплывали картины смерти. Офицеру было особенно противно, что с него, когда он умрет, снимут теплую доху, полушубок, обмундирование, может быть, даже и белье и самого, голого, беспомощного, бросят на снег или стащат в яму и наскоро забросают мерзлыми большими комьями земли, которые своими острыми, угловатыми краями врежутся в него и раздавят своей тяжестью, расплюснут, как лепешку.

«Не хочу»,— мысленно говорил Мотовилов и тоскливо вглядывался в темнеющую даль зимнего вечера.

Деревни еще не было видно, но она была уже близко; офицер угадывал это по тому особенному нервному беспокойству, которое вдруг овладело всеми едущими. Мотовилов подозвал Фому:

— Фомушка, не зевай. Насчет квартиры постарайся.

— Никак нет, не прозеваем, господин поручик.

Вестовой быстро стал обходить и обгонять подводы,

торопясь попасть на головные сани. Въехали в деревню. Фома успел найти квартиру. Быстро завернул он свой обоз в первый переулок и, остановившись у первой угольной избы, стал приглашать Мотовилова осмотреть помещение. Мотовилов пошел. Фома, провожая его, говорил:

— Она, хвартера-то, ничаво, только упокойница тутока есть.

Задняя половина избы была забита солдатами, сидевшими плотной массой на полу. Воздух, спертый и тяжелый, пропитанный едким, табачным дымом, с непривычки захватывал дыхание. Кто-то курил, и огонек цигарки освещал вспышками света рыжие усы и кончик носа. Скрипела люлька, и женский голос тянул заунывную, однообразную песню:

— А-а-а-а-а-а!

— Затворяй дверь. Холодно. О-о-о-й, о-о-о-й. Холодно,— заныл больной солдат, едва офицер с вестовым вошли на порог.

Фома открыл дверь в горницу. В переднем углу на высокой скамье без гроба лежала мертвая старуха. Прерывистый, дрожащий свет лампадки освещал строгое восковое лицо со сжатыми губами и заострившимся носом. Один глаз покойницы был закрыт, другой сверлил вошедших неподвижной острой черной точкой своего зрачка. Мотовилов отвел взгляд в сторону. Горница была пуста. Никому, видимо, не нравилось соседство со старухой.

— Ни черта,— сказал офицер вестовому.— Тащи сюда Колпакова и Барановского.

— Холодно, холодно. О-о-о-й, ох, ох,— застонал опять больной.

Барановский был в сознании. С усилием передвигая ноги, вошел он в избу, опираясь на руку вестового. Колпаков лежал в беспамятстве. Его внесли на руках. В горницу стали набираться солдаты. Зябко ежась от холода, тихо садились они на пол, плотно прижимаясь друг к другу. Фома принес банку наполовину отогретых консервов и кусок грязного, закопченного хлеба.

— Извините, господин поручик, закоптил хлеб-то маленько. Дров нет, на навозе да на соломе разогревал.

Мотовилов махнул рукой. В избе кроме двухспальной кровати с кучей спавших на ней ребятишек и скамьи, за-

нятой покойницей, ннчего не было. Офицер посмотрел кругом, нща места, где бы можно было поужинать. Мертвая старуха была невысокого роста, конец длинной скамьи, на которой она лежала, оставался свободным. Мотовилов решительно поставил банку на скамью, вынул складную вилку н принялся закусывать, стараясь не смотреть на новые остроконечные чулки старухн.

— Ваня, а ты не хочешь поесть? — спроснл он Барановского.

Барановский молчал, вглядываясь равнодушным взглядом в лицо покойницы.

— Все сдохнем,— глухо сказал он.

— Они не хотят, господин поручик. Я предлагал нм. Кушайте одни,— ответил за Барановского Фома.

Колпаков плакал в бреду, как мальчнк.

— Иван Иванович, за что вы мне двойку поставили? — умоляющим голосом, всхлипывая, спрашивал больной.— Ведь я же знаю все наречия на ять.

Колпаков бормотал, как школьник, хорошо выученный урок:

— Возле, ныне, подле, после, где, отменно, вне, совсем, вдвойне, втройне, вчерне, наедине. Иван Иваныч, я и на «е» знаю, поставьте мне три, ну хоть с минусом. Иван Иваныч,— молил больной офицер.— Вовсе, прежде, еще, крайне, втуне, вообще... Коренные слова знаю, знаю,— вдруг весело закричал Колпаков н зачастил: — Белый, бледный, бедный бес побежал за редькой в лес... Ой, папа, не бей! Я не останусь на второй год. Я выдержу переэкзаменовки.

Больной снова заплакал. Мотовилов молча ел. Бред Колпакова напомнил ему то время, когда он учился в кадетском корпусе. Офицер вспомннл, как блестящим кадетом с погонами вица щеголял он на институтских балах, кружа голову наивным доверчивым институткам.

«Фу, черт, в такой-то дыре бал вспомнил»,— подумал Мотовилов, отгоняя от себя неожиданные воспомннания.

Колпаков приподнялся на полу, сел н блуждающим взглядом обвел комнату. Заметив покойницу, больной вздрогнул, с ужасом отшатнулся н закричал дико, громко:

— Я жив, я жив. Зачем меня с мертвецами положили? Ха-ха-ха,— истерически захохотал он.— Хороши друзья, заживо человека схоронилн. Я жнвой, а они ме-

ня в одну яму с мертвецом столкнули. Не хочу я умирать. Возьмите меня отсюда. Жить! Жить!

Фома стал успокаивать больного. Офицер, не умолкая, истерично кричал:

— Жить! Жить! Жить!

Разбуженные криком, проснулись, завозились на полу солдаты, заплакал ребенок. Заскрипела люлька:

— А-а-а-а-а-а-а!

Мотовилов раздраженно нахмурил брови.

— Фома, сию же минуту с Иваном вытащите эту старуху на двор.

Хозяйка, услышав приказание офицера, перестала качать люльку, слезла с печки:

— Что вы делаете? Крещены вы аль нет? Мертвому и то спокою не даете,— запротестовала женщина.

Офицер посмотрел на нее долгим, тяжелым взглядом. Хозяйка как-то сразу замолчала, глаза у нее испуганно раскрылись.

Старуху вынесли на двор, положили около избы, прямо на снег. Колпаков успокоился, пошарил вокруг себя руками, нащупал горячее лицо спящего солдата и, ложась, улыбнулся.

— Живой. И я живой.

Мотовилов лег на освободившуюся скамью. Ночью шел снег с ветром. Старуху почти всю занесло. Из-под сугроба торчали только ее ноги в остроконечных чулках, острый нос и замерзший глаз. Мотовилов утром, выходя из избы, взглянул на мертвую и отвернулся, потом дорогой у него все стояли в глазах чулки с острыми носками и космы седых волос, как пудрой, пересыпанные снегом. Офицер ехал и считал, сколько верст осталось еще до Читы. Считал долго, путался, забывая расстояния от одного города до другого. К счету верст примешивался счет пройденных деревень, городов, счет убитых и раненых однополчан. Погода была теплая. Нежно ложились на лицо мягкие снежинки. Мотовилов стал дремать. Проснулся он, когда было уже совсем темно. Батальон подходил к большому селу, пылавшему багровым заревом десятков костров. Улицы села были забиты обозами. Люди черными, мятущимися тенями мелькали на ярком фоне огненных языков. N-цы с трудом проехали по главной улице и остановились на площади, сплошь загроможденной санями, лошадьми, орудиями. Площадь была вся в огнях. Сотни людей копошились у костров,

готовили ужин, чай, таяли снег, грелись, закуривали, дремали. Мотовилов остановился с батальоном в нерешительности среди площади у самой церкви.

К вечеру стало подмораживать, подул холодный ветер. Ночевать на улице не хотелось. Ехать дальше не было сил, да и надежды на то, что в следующей деревне будут квартиры. Церковь была не заперта, внутри ее мерцал огонь. Мотовилов вошел, снял шапку. Старый дьячок гнусаво читал псалтирь над двумя покойниками. Несколько свечей дрожащими, прыгающими бликами играли на позолоте иконостаса, освещая суровые лица святых.

— Вскую шаташася языцы и людие поучашася тщетным,— бормотал дьячок.

Офицер подошел к нему:

— Скажите, отче, как у вас тут, в церкви, переночевать можно? Случалось, ночевали здесь наши?

Дьячок остановился и, поправляя очки, сказал:

— Случалось, клали здесь раненых.

— Ну вот, так и мы, значит, с больными остановимся.

Дьячок не ответил, уткнулся в псалтирь.

— Отступите от меня вси делающие беззаконие...— точно упреком Мотовилову звучали строки псалма.

Офицер постоял немного, посмотрел на спокойные лица покойников, сам не зная для чего, перекрестился. Выйдя к своим, приказал заехать в церковную ограду.

— Кашевары, живо ужин. Кто свободен, заходи в церковь. Фома, тащите больных и вещи.

Офицер вернулся в храм. Прошел вдоль стен, осмотрел все углы — мебели не было. Зашел в алтарь, чиркнул спичку: за престолом стояли два широких дивана, два кресла и стол для просвирок.

— Отлично, здесь и расположимся,— решил Мотовилов.

Фома с Иваном внесли Барановского.

— Сюда, сюда, Фомушка. И его и Колпакова на диваны положите. Здесь вот,— офицер отворил правую дверь алтаря.

Стали входить солдаты, большинство не снимало шапок. За долгий путь люди перестали разбираться в том, где они останавливаются, важно было только попасть в теплый угол. Шаги вошедших глухо стучали под сводами храма. Трепетали, колебались огоньки свечей.

Неприветливо смотрели сверху темные лица икон. Дьячок перестал читать, обернулся назад и, укоризненно покачивая головой, прогнусил:

— Шапки-то снять бы надо, господа. Не в кабак ведь пришли.

Солдаты сконфузились, неловко стали снимать папахи, креститься. Мотовилов вынул из чемодана свечку.

— Господин поручик, печку бы затопить надо, да дров нет,— обратился к нему Фома.

Офицер задумался.

— Вот что, Фомушка,— решительно сказал он.— Там около входа есть свечной ящик и стойка. Бери топор и руби их. Вот тебе и дрова, а будет мало, так вот эти книги сожжем.

Мотовилов показал на большую кучу книг, сложенных в углу алтаря. Фома заработал топором, подняв страшный треск и грохот в церкви. Дьячок взглянул на солдата, всплеснул руками и побежал в алтарь:

— Господин офицер, что вы делаете? Храм божий рушите.

Мотовилов посмотрел на тщедушного рыжего человека в черном подряснике.

— Ах ты, кутейник, блинохват паршивый, тоже еще учить меня хочешь, чего мне делать. Брысь отсюда!

Дьячок, испуганно крестясь, вышел из алтаря. Фома затопил печь. Бойкие язычки огня быстро лизали полированные сухие доски.

— А ну-ка, Фомушка, прибавь книжечек-то. Светлее будет.

Вестовой стал тискать в печь псалтири, часословы, молитвенники, старые поминания. Мотовилов подвинул кресло к самой печке и, грея ноги, стал наблюдать за огнем. Какая-то книга развернулась и, корчась от жару, смотрела на офицера черным узором своих строк:

«Древле убо от несущих создавый мя и образом твоим божественным почтый, преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от нея же взят бых...» — читал Мотовилов в горящей книге.

«Это как же понимать? — соображал офицер.— Значит, сдохнешь, сгниешь и обратишься в землю. Так, это правильно, но до этого еще далеко. Нужно еще пожить».

Фома принес ужин. Мотовилов сел к столу. Кто-то с силой хлопнул входной дверью и застучал по полу

мерзлыми сапогами. В алтарь вошла женская фигура, закутанная в оленью шубу.

— Здравствуйте, офицерик,— обратилась она к Мотовилову и, снимая с головы длинноухий сибирский малахай, бойко заговорила, как старая знакомая:

— А мы ехали, ехали, перемерзли все. Думали в селе где-нибудь остановиться — все занято. Смотрим, в церкви огонь и люди ходят, ну и мы сюда. А я вот, видите, как бабочка, к вам прямо в алтарь на огонек и залетела.

Женщина села в свободное кресло и засмеялась, сверкая большими блестящими глазами.

— Как, не обожгусь тут я у вас, не опалю около огонька-то вашего свои крылышки?

Что-то лукавое бродило по лицу незнакомки. Мотовилов вскочил с кресла.

— Ах, черт возьми, да вы не из робких, видно. Разрешите представиться,— офицер сделал легкий поклон и подал руку.

— Подпоручик Мотовилов.

Маленькая, крепкая ручка ответила:

— Сестра милосердия Воронцова.

— Ваше имя?

— Антонина Викторовна.

— Великолепно, Антонина Викторовна, значит, мы ужинаем вдвоем?

— У вас ужин? Отлично. А у меня есть вино. Я сейчас.

Воронцова вышла на амвон и закричала сильным грудным голосом, на всю церковь:

— Николай, Николай, вы здесь?

— Здесь,— ответил сиплый бас.

— Принесите мою корзинку сюда да вносите скорей больных.

Барановский начал бредить:

— Таня, на вашем платье кровь. Таня, Таня, смотрите, каждый ваш шаг, каждое движение оставляет за собой кровавые следы. Что такое, вы вся в крови? А ваши ручки? Боже мой, вы убили кого-то? Таня, Таня, что вы наделали?

Воронцова вернулась.

— Кто это звал меня? — спросила она.

— Это больной в бреду. Не вас, а Таню.

— А, больной. Ну, а вы не больной?





— Нет,— сказал Мотовилов и засмеялся.

— Так чего же вы стоите, как соляной столб? Помогите мне раздеться.

Мотовилов засуетился, стал снимать с Воронцовой шубу и, заметив ее красивые золотистые волосы, пропел вполголоса:

Люблю я женщин рыжих,
Нахальных и бесстыжих.

Антонина Викторовна выскользнула из мехов и погрозила офицеру. Мотовилов ловко поймал ее руку и поцеловал. Вестовой внес в алтарь корзину. Воронцова вынула из нее большой флакон прозрачной жидкости, показала ее Мотовилову.

— Это spiritus vini cum formalini. Поняли! Винный спирт с формалином. Чистого нет. Ну, да и этот не вреден. От формалина только легкая застопорка сердечных клапанов может быть, и все.

Сели за стол. Захлопали входные двери: вносили больных. В церкви стало шумно. Дьячок перестал обертываться и возмущаться, ровным, гнусавым голосом читал псалтирь. Церковь стала наполняться. Входили все новые и новые люди. На полу уже негде было ступить. Дьячка стиснули со всех сторон спящие, больные солдаты. Люди черной копошащейся массой лежали на полу. Кое-кто курил. Больные кашляли, плевались, бредили, метались в жару, вызывая злобную ругань и тычки здоровых соседей. Здоровые, раненые — все смешались в одну огромную, стонущую, хрипящую, харкающую, бормочущую, зловонную груду тел. Равнодушно сверху смотрели каменные лица святых. Гнусавыми волнами носились стихи псалмов:

— Дал еси веселие в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея.

Мотовилов с Воронцовой пили спирт.

— По-моему, Борис Иванович, нам вовсе незачем ехать к Семенову,— говорила Воронцова.— Нам нужно, не доходя до Нижнеудинска, повернуть на Белогорье и уйти в Монголию, а оттуда в Китай, а там — и поминай как звали. Что Семенов, пустяки, его тоже разобьют,— убеждала сестра офицера.

Мотовилов соглашался, так как в глубине души у него давно созрело желание уехать за границу, избавиться от тяжелой обязанности подставлять свой лоб под пули.

— Но только за границей нужно золото, золото и золото. Иначе пропадешь,— продолжала развивать свои планы Воронцова.

— А где его взять?

Какая-то мысль блеснула в глазах офицера. Он встал, стукнул себя по лбу.

— Эврика! Фома!

Фома дремал на коврике около царских врат.

— Фомушка, убери с престола все чаши и крест ко мне в чемодан, а то большевики придут, осквернят. Когда будем наступать, тогда привезем, попу сдадим обратно.

Вестовой раскрыл большой кожаный чемодан и сложил в него все золото с престола. Дьячок читал:

— Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст, гортань их, языки своими льщаху...

Воронцова смотрела на Мотовилова и смеялась:

— А вы не глупый малый. Только к чему лгать и стесняться? По-моему, вестовому вы просто могли сказать, что, мол, на это нам молиться теперь не годится, пора уж горшки покрывать, или объяснили бы ему, что раньше у вас был бог, вы ему верили, по крайней мере делали вид, что верите, прикрывали им все свои дела и делишки. Имели вы тогда успех, били красных, ну, а если теперь они вас разгромили,так, значит, бога нет или обманул он просто-напросто вас и тех, кого вы его именем посылали в бой. Обманул старикашка, ну и кончено, прекратить с ним всякие сношения, отобрать у него все имущество, как у обанкротившегося должника.

Мотовилов возражал:

— Мы ведь еще в Монголию-то не уехали, значит, пока что бог нам нужен. Вот перевалим через границу, тогда уже все пошлем к черту.

— Нет, по-моему, никогда не стоит стесняться своих мыслей и чувств. Вот оттого, что мы много скрываем друг от друга, лжем, загромождаем себе жизнь всякими условностями, она у нас и складывается часто скучно, скверно.

Воронцова медленно выпила рюмку разведенного спирта.

— Нужно быть всегда откровенным, прямым, смелым. А условности все долой, к черту.

Сестра шаловлнво тряхнула головой и запела:

Захочу — полюблю,
Захочу — разлюблю,
Я над сердцем вольна.

Глаза Антоинны Викторовиы сверкиули плутоватыми огоньками. Женщииа дышала сильио и часто. Мотовилов чувствовал близость ее разгоряченного тела, вздрагивал от возбуждення.

— Вот, Борис Иванович, насчет этих условностей возьмем такой прнмер. Сидите вы сейчас и смотрнте иа меия, как баран на иовые ворота. Я зиаю, вы с удовольствием заключили бы меия в свои объятия, но ие решаетесь, мешает что-то. Я вот ие такая. Я хочу сейчас сесть к вам иа колеии и сяду.

Вороицова быстро встала и, обияв Мотовилова, села к нему на колеин.

— Ну что, испугались?

Глаза сестры горели, резко очерчеииые губы былн совсем рядом с усами офицера. Она тяжело дышала. Мотовилов крепко прижал к себе Вороицову и стал целовать.

— Жизиь коротка. Нас могут завтра же убнть, как бродячих собак,— задыхаясь, говорила оиа.— Живите ж, пока живется. Берите жизнь.

Мотовнлов встал и понес Аитонниу Викторовиу в боковой пустой и темиый алтарь. Барановский вскочил с диваиа, пробежал по алтарю, упал в дверях иа колеии. Вся церковь полна была стонами н бредом больных. Офицер сжал кулаки, поднял кверху руки и, грозя икоие бога-отца, закричал:

— Ты видишь? Видишь наши муки, злой старик? Как глуп я был, когда верил в милость и доброту твою. Страдаиия людей тебе отрада? Нет, ие верю я в тебя. Ты бог лжн, иасилия, обмаиа. Ты бог иинквизиторов, садистов, палачей, грабителей, убийц. Ты их покровитель и защитиик.

Офицер заскрипел зубами, зарыдал.

— Будет. Поцарствовал ты, довольно. Будет. Гибиут создавшие тебя, погибнешь с ними и ты.

Бараиовский ничком без чувств упал на пол.

— Запрягай! — приказывал кому-то тифозиый.

— Поиужай, поиужай! — торопился кто-то в другом углу.

Татарин в большой черной папахе кидался на стену и в ужасе визжал тонким надтреснутым голосом:

— Кувала! Кувала!

Колпаков кричал из алтаря:

— Господа, за что? За что?

Равнодушно, молча темнели лики святых, освещенные трепетными огоньками свечей. Дьячок монотонно гнусил псалтирь:

— Гу-гу-гу-гу-гу...

Вся церковь металась в безумии бреда. Седой старик с высоты купола бесстрастным взглядом смотрел на муки людей.

24. ОПЯТЬ СТАРИК

Колпаков умер, и его бросили на одной из остановок в тех же санях, в которых он ехал больной.. Хоронить было некогда. Тиф гулял по рядам белых, укладывая их в могилы тысячами. Ехать становилось чем дальше, тем труднее. Угрюмыми, молчаливыми стенами стояла тайга по обеим сторонам узкого пути бегущих, скрывая в своей глуши отряды красных партизан, часто нападавших на отходящие обозы. Большая армия потеряла всякую способность к сопротивлению. Люди были так панически настроены, что стоило только прогреметь нескольким выстрелам, чтобы создать полнейшую растерянность среди отступающих. Едва заслышав стрельбу, обозы кидались вскачь, но скверная дорога быстро утомляла лошадей, подводы наскакивали друг на друга, запутывались, образовалась пробка. Недолго думая, обозники рубили гужи, садились верхом и скакали без оглядки. Батальон Мотовилова таял с каждым днем. У него осталось всего сорок штыков. Мотовилов стал мрачным, раздражительным. Ему казалось, что солдаты не по болезни остаются в каждой деревне, а просто потому, что не хотят идти дальше.

«Если я растеряю в конце концов всех людей, то будет скверно. Один до Монголии не доберешься»,— думал офицер и сейчас же, стараясь отогнать от себя дурные мысли, подзывал кого-нибудь из солдат и заводил разговор:

— Ну, скажи, Черноусов, ты красным не думаешь сдаться? А?

— Что вы, господин поручик,— возмущался солдат,— за кого вы меня принимаете? Чай, мы добровольцы. Что нам, что вам — конец один будет, коли к красным попадем. Знаем мы их приказы-то. Мобилизованные — по домам, офицеры и добровольцы — по гробам. Нет, уж мы к Семенову, а нет, так пулю сам себе в лоб пущу.

Мотовилов успокаивался и говорил солдату, что при встрече с партизанами теряться не нужно, что нужно отбиваться до последнего патрона.

— Да уж будьте благоиадежны, господии поручик. Наши не сплошают, чать не впервой нам.

Ночь начинала покрывать тайгу темно-синим, почти черным покровом, усыпанным яркими мерцающими огнями звезд. Обозы еле ползли в один ряд узкой дорогой, часто останавливаясь, стояли на одном месте по нескольку часов. Лошади с трудом то выбирались из огромных выбоин с тяжело нагруженными санями, то снова ныряли, скрываясь в них вместе с дугой. Батальон шел непрерывно четвертые сутки, останавливаясь только для кормежки лошадей. За четверо суток прошли всего сорок верст. До деревни оставалось верст двадцать. Утомленные люди засыпали на санях, и Мотовилову приходилось следить, чтобы какой-нибудь подводчик не уснул, не разорвал бы обоз, так как лошади без кнута не шли, и едва их переставали подгонять, останавливались.

— Господин поручик, вы бы отдохнули, легли. Я останусь за вас,— сказал фельдфебель Мотовилову.

Мотовилов как-то сразу почувствовал страшную усталость.

— Спасибо, фельдфебель, останься. Я уже вторые сутки не сплю.

Офицер лег в сани, накрылся тулупом и забылся тревожным, кошмарным сном. Ему снилось, что в тайге поднялась сильная буря. Ураган носится между деревьев, с грохотом и треском валит их в снег и ревет, то густо и глухо раскатываясь по земле, то со свистом летя по вершинам. Тайга ожила, заговорила тысячами голосов, засверкала сотнями горящих волчьих глаз. Мотовилову казалось, что волки бегают вокруг обоза, сверкают своими огненными глазами, воют протяжно и резко, щелкают зубами. Потом офицер увидел, что и его солдаты стали, точно волки, сверкать глазами, а фельд-

фебель завыл отрывисто и громко. Лошади захрапели, поиеслись, не разбирая дороги, во весь опор. Офицер просиулся, открыл глаза и увидел, что обоз, сгрудившись в одиу кучу, стоит средн большой таежной поляны, а кругом в тайге вспыхивают огоиьки выстрелов, пули свистят над мечущимися теиями людей, с чмокаиьем хлопаются в сани. Фельдфебель звоиким голосом комаидовал:

— Батальон, пли! Батальон, пли!

Как волчьн зубы, щелкали затворы. По коицам винтовок бегалн яркие желтые огоиькн, похожие иа сверкающие глаза хищного зверя. Кто-то кричал отчаяиио:

— Понужай, поиужай, братцы!

Слышались голоса:

— Товарищи, сдаемся! Не стреляй!

Стоиали раиеные. Гул выстрелов, громкие крики людей, храп загиаииых и раиеиых лошадей смешивались в сплошиой рев и вой. Со стороиы тайги огоиьки приближалнсь, вспыхивали чаще. На снегу зачериели длинные теии всадников. Как мельиичные крылья, махали нх рукн, рассыпая всюду холодиую сталь ударов, и без звука, без стона падали под их тяжестью темиые фигуры с подиятыми кверху руками. Чериая тайга в суровом молчаиии смотрела на людей, двумя высокими стенами огораживая дорогу с обеих сторои. Зажатые в узком лесном корндоре, метались в ужасе люди, вязли в глубоком снегу, падали, сражеииые пулями. Вестовой, думая, что Мотовнлов еще спит, тряс его за плечо:

— Господнн поручик, просиитесь, красные. Проснитесь!

Мотовнлов вскочил с саней.

«Жнвой не сдамся, но уж и нх, чертей, поколочу. Надо дороже продать свою жизнь»,— вихрем иеслись у иего в голове мыслн.

Бараиовскнй был в созиаиии, чувство смертельиой опасиостн стеснило ему грудь, откуда-то иабрались силы, он встал с саией. Мотовилов бежал мимо иего к фельдфебелю.

— Боря, надо бросать все и отступать. Ведь иас прнкончат,— крикиул ему Барановскнй.

— Сейчас, сейчас, Ваня,— не останавлнваясь, ответнл тот.

Батальон, отстрелнваясь, удачио ушел от плеиа, потеряв несколько человек убитыми н раненымн, бросив

обоз. После боя Мотовилов пересчитал людей. В строю осталось двадцать девять. Барановский снова впал в беспамятство, и Фома нес его с другим вестовым на носилках, наскоро связанных из сосновых веток. По разбитой дороге идти было очень трудно. Солдаты выбивались из сил, а Фома еле передвигал ноги. Шли тихо, с остановками. Сидя на снегу, подолгу курили.

— Ну и жара была нам, господин поручик,— говорил Черноусов, попыхивая цигаркой.

— Да и сейчас не холодно,— пошутил кто-то в толпе, снимая со взмокшей головы папаху.

— Надо лошадей доставать, господин поручик. Пешком пропадем.

Мотовилов соглашался:

— Непременно лошадей. Утром же достанем.

Покурили, отдохнули, пошли. Сделали еще версты три и остановились. Двигаться дальше не было сил. Разложили костер. Люди набирали в котелки снег и вешали их над огнем. Жажда мучила всех. У запасливого Фомы в боковой сумке нашлось фунта два муки, из которой он немедленно начал стряпать заваруху. Мотовилов съел несколько ложек пресного, мучного киселя и махнул рукой:

— Ну ее к черту, заваруху эту. Преснятина противная.

«Надо идти дальше. Деревня недалеко»,— подумал офицер и вслух сказал: — Ребята, до деревни недалеко. Идти надо!

Фома с другим вестовым спеша доели заваруху и снова взялись за носилки. Батальон пошел. Покачиваясь от усталости, как пьяные, вошли N-цы в деревню. Рассвет был близок. Обозы начинали выходить из деревни. N-цы заняли только что освободившийся овин, разложили в нем три костра. Овин был большой и круглый с высокой крышей, продырявленной посередине. Дым клубами выходил через отверстие, седой пеленой закрывая начинавший светлеть темно-синий звездный свод неба. Измученные люди тремя клубками свернулись вокруг кустов. Разгоряченные утомительным переходом по разбитой дороге и глубокому снегу, мокрые от пота, солдаты спали как убитые. Не спалось только одному командиру, да Барановский громко разговаривал в бреду. Отогревшиеся паразиты зашевелились под потной рубашкой у Мотовилова; его тело горело от их укусов, как

обожженное крапивой. Офицер вертелся с боку на бок, чесался, никак не мог заснуть. Барановский говорнл кому-то:

— Вы знаете Японию! Это дивиая страна. Страна восходящего солица. Как красиво — восходящего солнца. Там солнце яркое-яркое, ласковое. Япония — счастливая земля. Солнце заливает ее теплом н светом, а безбрежный океан, шумя н волнуясь, дышит на нее свежей прохладой. Солнце, море, цветы, вечнозеленые деревья. Как хорошо там. Боря, ведь мы уедем в Японию? — не приходя в сознание, спрашивал Барановскнй.

Мотовилов услышал последнюю фразу и, подкладывая в тухнувший костер дрова, ворчал:

— Да, да, приезжай в Японню. Там тебе рады. Сейчас оседлают, верхом на шею сядут и возить себя заставят. Там тебе покажут кузькину мать. Куда все твои цветочкн, лепесточки полетят. Папу, маму позабудешь, как звалн.

Костры догоралн. Через отверстие в крыше, в щелн стен заглядывал слабый свет. Ночь уходила, бросая последнне багровые отблески тухнущих углей на плотиую груду спящих солдат. Барановскнй бредил:

— Настенька, я не останусь у тебя. Убьют меня красные. Скажут: золотопогонник — и к забору.. Ну, прощай, прощай, Настенька, надо к роте идти,— торопился больной.

Помолчав мииуту, Барановскнй приподиялся, сел на носилках и, грустными глазами смотря на костры, говорил. И нельзя было поиять, бредит ои илн находится в сознаннн.

— Жнзнь уходнт. Я чувствую. Я вижу, Борис, как какая-то туманная легкая завеса отделяет меня от всех вас. Я умру скоро. Как жаль, ведь я так еще молод... Двадцать лет... Боже мой, и уже смерть. И сколько нас, таких молодых и сильных, лишенных радости жизни, думающих только о ией, костлявой. Уйди, проклятая!

Мотовнлов подошел к больному, ласково погладил его по голове:

— Не волнуйся, Ваиечка, ляг. Какая там смерть? Ты поправишься. Эдакий молодец умирать собрался. Мы еще повоюем.

— Нет, Боря, не беспокойся, я наполовнну уже нездешнн. Ты говорнmь — воевать? — лнцо больного передернулось нервной гримасой.— Нет, нет, не хочу я

больше этого ужаса. Не хочу смотреть, как люди рвут людей на клочья. Как рычат они противно. А кровь, кровь. Захлебываются все...

— Ванечка, успокойся. Ну, чего это ты?

Мотовилов с ласковой настойчивостью попытался положить Барановского на спину. Больной раздраженно задергал плечами.

— Не хочу лежать. Подожди, скоро лягу навсегда.

Офицер приложил руку к глазам, как бы закрываясь от солнца.

— Ага, Свистунов едет,— и громко на весь овин закричал: — Ординарец, лошадь командиру батальона! Боря, скажи, где здесь дорога в Японию?

— Не знаю, Ванечка.

— Ах ты, господи, да кто же знает, где дорога? Ведь вот сколько их, все путаются, перемешиваются. Не разберешь, какая же в Японию,— и, обращаясь к какой-то хозяйке, говорил: — Хозяюшка, скажи, милая, как от вашей Крутоярки проехать в Японию? Где у вас тут дорога? Хозяюшка, а ты молочка дашь нам к чаю?

— Ничего не понимаю, все дороги в одну сторону,— плачущим голосом жаловался больной.— Ох, боже мой, за что такие страдания? У, злой старик, ты издыхаешь. Тебе досадно, что мы молоды, что мы жить хотим, и ты загнал нас в этот хлев и мучаешь. Сам подыхаешь, так и всех других погубить хочешь.— Злая улыбка кривила губы Барановского.— Нет, старый дьявол, не погубить тебе людей. Ты сдохнешь, а мы будем жить. Хозяюшка, да скоро, что ли, ты молока-то дашь? — больной устало закрыл глаза и лег. Проснулся Фома и, почесываясь, стал греть у огня озябший бок.

— Фомушка, пожрать бы чего,— нерешительно сказал Мотовилов.

— У нас ничего нет, господин поручик, пойду вот схожу на улицу, обозов много стоит, может быть, выпрошу чего у каптеров.

Вестовой надвинул шапку на уши и тяжелой походкой неотдохнувшего человека пошел к выходу. Костры почти совсем потухли. На улице было светло. Солдаты зябко жались друг к другу, вертелись с боку на бок, чесались. Некоторые, продрогнув, вскакивали, начинали плясать. Фома вернулся злой, с пустыми руками.

— Ни один черт крошки хлеба не дал.

— Ты еще молод, Фома. Поучись-ка вот у меня,—

смеялся молодой отделенный, замешивая в котелке тесто. Фома обернулся к нему.

— Ты где это взял?

— Ха-ха-ха! Взял. Гусь ты, Фома. Разве нашему брату можно брать так?

— А што у сибиряка не взять? Они все за красных.

— Ну, нет, брат, воровать я не согласен. Я купил за два оглядка. Ха-ха-ха!

— Где? — полюбопытствовал Фома.

— Тамока, поди поищи,— неопределенно махнув рукой, посоветовал отделенный и, вытащив из огня раскаленный камень, стал наливать на него жидкое тесто. Сняв две первых лепешки, он предложил их Мотовилову, тот с радостью взял и стал есть полусырое тесто. подгоревшее с одного бока. До двух часов дня просидели N-цы в овине. Кое-кто наворовал картошки, муки, масла. Кое-как поели. Перед выступлением из деревни Фома разыскал у хозяина спрятанную лошадь и сани, приспособил все это для перевозки своего больного командира. Хозяин, надеясь, что лошадь ему вернут, если он поедет с подводой, оделся и вышел из избы. За ним с кучей ребятишек вышла и хозяйка.

— Ты нам не нужен,— сказал Мотовилов.

— Господин офицер, а как же лошаденку-то — мне отдадите? — заискивающе спросил крестьянин.

— Лошадь я у тебя реквизирую за то, что ты ее прятал, думая лишить нашу армию одной лишней подводы, то есть, короче говоря, ты прохвост, большевик и действуешь в их пользу.

— Барин, пожалейте ребятишек малых, не берите сивку,— заголосила баба и, упав на колени, хватала офицера за полы шубы. Вслед за матерью заплакали и ребятишки. Мужик ухватился за повод и кричал:

— Как хотите, господин офицер, хоть убейте, лошадь не отдам, последняя. Разоряете совсем ведь.

Мотовилов был взбешен сопротивлением. Грубо оттолкнув ползающую на коленях женщину, он подбежал к крестьянину и со всего размаху ударил его нагайкой по лицу. Мужик схватился руками за глаза, взвизгнул и упал на снег.

— Батюшки, глаза выхлыснули? — закричала женщина и бросилась к мужу.

Батальон пошел. Оглядываясь назад, Мотовилов видел, как на крик хозяйки выскочили соседи и несколько

баб принялись громко выть, причитая. Верстах в трех от деревни дорога поворачивала сначала вправо, потом влево, образуя нечто вроде большого колена. Командир решил, что самое лучшее будет напасть на обоз в месте сгиба дороги, так как тогда задние и передние подводы за поворотами ничего не будут видеть и, услышав стрельбу, постараются удрать. Мотовилов расположил батальон за ближайшими деревьями и стал пропускать обозы, выбирая наиболее подходящие для нападения. После нескольких десятков минут ожидания с засадой поравнялись подводы беженцев на шикарных лошадях и остатки какого-то штаба или штабной канцелярии. Пули взвизгнули над головами беженцев. Мотовилов с револьвером выскочил из-за деревьев.

— Ура! Сдавайтесь! Сдавайтесь!

Черноусов схватил под уздцы высокого тонконогого вороного.

N-цы черным кольцом облепили обоз.

— Сдавайтесь!

Пожилой полковник с рыжей бородкой клинышком, в большой белой папахе дрожащей рукой отстегивал крышку кобуры.

— Жорж, скорее убей нас!

Жена полковника прижимала к себе семилетнего сына. Глаза женщины с ужасом перебегали от цепи N-цев на руку мужа. Блестящий никелированный браунинг мягко стукнул у виска. Длинная шуба и длинноухая шапка откинулись в сторону, свалились из саней. Револьвер опять стукнул. Мальчик не успел заплакать, скатился под сиденье. Рыжая бородка острым клинышком поднялась кверху, папаха слетела. Полковник перегнулся на спинке кошевки. Остальные сдались. Победитель развязно предложил пленникам выйти из саней. Люди, дрожащие от страха, молча повиновались. Женщины плакали. Офицер начал сортировать вещи своих жертв. В снег полетели чемоданы с бельем, ящики с посудой, пишущие машинки, канцелярские книги, бумаги. Оставлено было только съестное. Разгрузив обоз, Мотовилов приказал переложить Барановского в другие сани.

— Вот вам две подводы под вещи.

Офицер взглянул на кучку дрожащих пленников, нагло оскалил зубы:

— Расстреливать мы вас не будем.

Дорога впереди очистилась. Мотовилов повел батальон рысью.

25. У НАС МАЛО ПАТРОНОВ

Снег белой искрящейся накипью садился на зеленые иглы деревьев, пенясь, стекал по корявым темно-красным стволам, пушистыми, легкими клубами расползался под корнями. Холодные, мягкие потоки заливали тайгу и кривую узкую дорогу. Раненых убрали. Замерзшая кровь рассыпалась пунцовыми лепестками мертвых цветов. Убитые лежали кучкой. Поручик Нагибин и прапорщик Скрылев с синими, помертвевшими, каменными лицами медленно раздевались. Семеро партизан, опершись на винтовки, ждали. Черная доха Петра Быстрова серебрилась инеем.

Длинные усы Ватюкова побелели от мороза. Тяжелые широкие шубы делали людей похожими на неуклюжие обрубки. Нагибин, скрывая трусливую, непроизвольную щелкающую дрожь зубов, снимал с себя английский френч с потертыми суконными погонами. Скрылев, прыгая на одной ноге, стаскивал брюки. У обоих офицеров кальсоны внизу были завязаны тонкими тесемочками. Оба полуголые, еще теплые, пахнущие потом, согнувшись, долго возились с ними. Партизаны молча ждали. Быстров стал складывать в сани офицерские костюмы, теплые бешметы на кенгуровом меху, белье. Нагибин, совсем голый, переминался с ноги на ногу, дул в замерзшие руки. Скрылев тер себе уши.

— Ну, натешились, товарищи? Кончайте.

Поручик глазами рвал на клочья спокойных, неумолимых врагов, тяжелыми мохнатыми глыбами окаменевших в пяти шагах. Синие щеки и носы офицеров покрылись белыми пятнами. Скрылев не в силах был больше удерживать нижнюю челюсть, рот у него широко раскрылся, зубы щелкали. Под ногами у офицера, в снегу, дымясь теплым паром, желтела круглая воронка.

— У нас патронов мало. Стрелять мы вас не будем.

Белый кусок ваты упал с усов Ватюкова.

— Бегите к своим. Добегете, ваше счастье. Не добегете, не взыщите.

Офицеры повернулись. Оба с трудом вытащили ноги из снега, побежали. И Скрылеву и Нагибину казалось, что бегут они страшно быстро, ветер свистел у них в ушах. Деревья мелькали мимо, валились набок. Парти-

заны наблюдали. Босые ноги высоко отскакивали от снега, как от раскаленной плиты. Толстый кулак, обросший колючей щетиной, воткнулся Нагибину в горло. Крутая снежная гора выросла перед офицером, опрокинулась на него, повалила навзничь. Скрылев свернулся калачиком рядом. Кулак раздирал легкие. Ничего, кроме снега, офицеры не видели. Снег засыпал их.

— Готовы, как мух сварило.

Партизаны сели в сани, поехали в село. Навстречу ползли две санитарные подводы.

— Как, товарищи, раненых, поди, нет больше?

— Нет, убитые только остались. Все равно подбирать надо.

— Конечно, надо. Сейчас подберем, костер уже готов.

Лошади остановились у кучи мертвецов. Партизаны, тяжело ступая по рыхлому снегу, путаясь в дохах, поднимали убитых за ноги и за руки, бросали в широкие розвальни. Стукнувшись затылком о мерзлую мертвую голову Пестикова, Костя Жестиков пришел в сознание, приподнялся.

— Господа, скорее меня в лазарет. Я доброволец. Я сильно ранен. Скорее, господа, а то нас бандиты накроют.

Старик Чубуков переглянулся с зятем.

— Слышь, живой доброволец.

— Какие бандиты? — притворившись, с нотками безразличия спросил Чубуков.

— Известно какие, красные партизаны.

— Ну, брат, до них далеко. Их угнали и не видать.

— Угнали, это хорошо. Только скорее, господа, а то я истеку кровью.

Жестиков оживился, поднял воротник, засунул руки в рукава. Ранен он был в бедро. Кровь промочила у него все брюки, натекла в валенки.

— Сейчас, сейчас, мы вас за полчаса доставим.

Партизаны сели в сани, дернули вожжи. Кругленькие мускулистые минусинки пошли мелкой рысцой. Зять Чубукова сидел рядом с Жестиковым. Черная борода партизана тряслась, на лицо добровольцу падали с нее холодные мокрые комья снега.

— Давно вы эдак добровольцем-то воюете?

— С самого первого дня переворота. Да до переворота я еще в офицерской организации состоял.

— Гм... Награды, поди, имеете?

— Нет, у нас полковник скуп на этот счет. Хотя меня все-таки представили к Георгию.

— Ага, ишь ты!.. Гярой, значит!

Жестиков самодовольно улыбнулся; бедро заныло, доброволец поморщился.

— Да, я повоевал. Свой долг исполнил, теперь и отдохнуть имею право.

— Конешно, конешно. Обязательно отдохнуть.

Партизан отвернул в сторону лицо, загоревшееся злобой. Жестиков болтал без умолку:

— Пусть кто другой повоюет так, как я. Красная сволочь долго будет помнить господина вольноопределяющегося Константина Жестикова. Широкинцы уж наверняка меня не забудут. Ах, и почертили мы там. Девочка какая мне попалась!..

К горлу партизана что-то подкатилось, не своим, глухим голосом он спросил добровольца:

— Это в Широком-то?

— Да.

— Какая?

— Совсем, знаешь ли, молоденькая, лет пятнадцати, четырнадцати, не больше. Невинненькая еще была. Как ее звали?

Жестиков задумался на минуту:

— Да, Маша, Маша Летягина.

Партизан задрожал, услышав имя своей сестры.

— Мы ее с Пестиковым в курятнике прижали. Она там пряталась. Потеха. Кур всех перепугали. Девчонка наша ревет. Я говорю ей: ложись, мол, добром, а она разливается, она разливается. Но, однако, сразу поняла, в чем дело, говорит мне: «Дяденька, я еще маленькая». А Пестиков, чудак такой, он всегда с шутками да прибаутками, отвечает ей: «Ничего, ничего, Маша, расти, пока я штаны расстегиваю». Хи-хи-хи!

Жестиков тихо засмеялся, схватился за рану.

— Ох, нельзя смеяться-то, больно.

Партизан размахнулся и тяжело стукнул раненого по зубам.

— Заткни свою глотку, погань!

— Ты чего это?

Жестиков еще не понимал, в чем дело.

— На каком основании?

Партизан плюнул ему в глаза, бросил вожжи.

— Вот тебе, гаду, основания! Вот тебе основания!

Вот тебе партизанское спасибо!

Жесткие кулаки в косматых шубенках заходили по лицу краснильниковца.

— Партизаны, а-а-а, карау-у-ул!

Жестиков подавился обломками своих зубов.

— На вот тебе, сволочь!

Чубуков остановил лошадь. Летягин, черный от гнева, топтал Жестикова ногами.

— Ты чего это, Иван?

— Тятя, он ведь Маньку-то нашу изнасильничал.

Жестиков снова потерял сознание.

— Ну?

— Сам расхвастался, гад.

Иван, тяжело дыша, соскочил с саней.

— Никак околел? Айда, Иван. Время неча терять.

— Айда!

Партизаны погнали лошадей. Лицо у Жестикова стало плоским, как доска. Небольшой нос был сломан и сплюснут. Кровь дымилась и, капая с избитого, мерзла коралловыми гроздьями на воротнике, на спине мертвого Пестикова. Желтые, с полураскрытыми ртами тряслись убитые. Летягин еще раз плюнул на Жестикова. Дорога круто повернула влево, расползлась широкой белой плешью поляны. Убитых уже жгли. Огромный костер пылал недалеко от дороги. Трупы были сложены слоями. Слой дров, слой тел. Лежащие на самом верху крючились от жару. Над зубчатой огненной короной поднимались темные руки, ноги, обуглившиеся головы мелькали, скрывались в огне. Черный дым тяжелым, ровным столбом качался над костром. Трое партизан с длинными железными рычагами ходили вокруг огня, подправляли разваливающиеся плахи. Чубуков с Летягиным остановили лошадей. Стали раздевать Жестикова. Один отошел от костра, принялся стаскивать с убитых валенки. Тесть с зятем подтащили добровольца к костру, приподняли за руки и за ноги, раскачали, забросили на верх горящих тел.

— Гоп!

Летягин крякнул, стал оттирать снегом руки, запачканные кровью.

— Товарищи, подсобите мне. Одному не управиться, застыли здорово.

Пожилой, рыжеусый партизан снял шапку, тяжело вздохнул. Около него чернела куча валенок, полушуб-

ков. Жестиков очнулся, хватил полные легкие дыму, подпрыгнул, хотел встать, но бедро у него было разбито, он смог только приподняться на четвереньки.

— В-и-и-у-у-у-й!

Свиной визг тонким, едким ударом кнута метнулся в тайгу, завяз в густой безмолвной чаще.

— Эх, живой попал! — Партизан бросил кочергу, вытащил из-за пазухи длинный, тяжелый «смит».

— Чего человеку мучиться.

— Не тронь.

Черный, высокий Летягин отвел руку товарища.

— У тебя что, патронов много, что ли? По падали не стреляют. Заслужил он этого. Сдохнет и так!

«Смит» нерешительно ткнулся за пояс. Не сильно, но отчетливо щелкнув, у Жестикова лопнули глаза. Волосы добровольца пылали, скипаясь в черную, вонючую пену. Язык огня, лизавший голову, был похож на яркий ночной колпак с острым концом и мохнатой дымчатой кисточкой наверху. Раскаленные щипцы разодрали живот и грудь. Жестиков скрючился кольцом, ткнулся в угли. Чубуков с Летягиным постояли немного молча, пошли помогать рыжеусому раздевать убитых.

— Еще бы чернозубого этого, рыжего дьявола поймать, который жану-то опозорил, — вслух подумал Летягин.

Потом они еще два раза ездили за трупами, снимали с них все до нитки, голых кидали в огонь. Привезли и бросили туда же замерзших Нагибина и Скрылева. Дрова подкладывали всю ночь. Трупы горели ровным синим огнем, почти не давая дыму.

— Ишь, как горит человек. Ровно керосин али спирт.

Партизны курили, сидя на снегу. По черным сгоревшим человеческим головням бегали тихие синие огоньки. Снег кругом был залит прыгающими пятнами синьки и крови. Тайга, совсем непроглядная, темным валом обложила поляну. Мороз залазил партизанам под дохи, толкал их ближе к костру.

Утром в селе ударил колокол. Большой, тяжелый, широкогорлый. Ему ответил маленький, тонкоголосый. Вся колокольня заговорила грустно, тихо. Медные вздохи разбудили тайгу.

— Что это такое? Будто в Пчелине попа не было, а звон. Да никак похоронный? Кого-то хотят честь-честью проводить на тот свет. Но где взяли попа?

Чубуков недоумевал, разводил руками. Костер еще горел.

В комнате агитационного отдела Жарков спорил с Воскресенским:

— Слышишь, звонят, — говорил Жарков, — и ты должен будешь сейчас пойти в церковь, надеть ризу, отпеть семерых наших партизан и окрестить двух ребятишек у беженцев. Это уж ты как хочешь, а сделать должен.

Воскресенский раздраженно пожимал плечами:

— Я не понимаю, зачем эта комедия. Разве я для того снимал с себя сан, чтобы опять здесь восстановить его. Нет, я не хочу.

— Я, я тебе говорю, что ты должен. Меня старики еще вчера просили, чтобы, значит, все устроить по-христиански. Я согласился. Пойми, Воскресенский, что сознательных большевиков у нас не больно много, а попутчиков случайных сколько хочешь, их у нас сила, на них держимся. Ничего не попишешь, приходится им угождать.

— Как это все-таки противно.

— Потерпи, Иван Анисимович, соединимся с Красной Армией, тогда не станем и со стариками считаться.

В комнату вошла старуха просвирня, стала креститься на передний угол.

— Здравствуйте, крещены которы. Здорово живете.

— Здравствуй, матушка.

— Ну, который из вас батюшка-то, сказывайте?

Воскресенский слегка покраснел.

— Я, а что?

— Ждут вас уж в церкви-то. Покойничков принесли. Пожалуйте.

Жарков, смеясь, отвернулся к окну.

— Иди, Иван Анисимыч.

Воскресенский махнул рукой, стал надевать доху. Церковь была полна. Партизан боком прошел через толпу, скрылся в алтаре. Золотая твердая риза сидела неловко, мешком. Воскресенский уже отвык от неудобных одежд духовного пастыря. Яркие большие кресты из толстой ткани смешно лезли в глаза. Стриженый, бритый, скорее похожий на католического ксендза, чем на православного священника, Иван Анисимович вышел на амвон, перекрестился, перекрестил народ.

— Во имя отца и сына и святого духа.

Толпа поклонилась, вздохнула, замахала руками. Отпевание началось. Убитые лежали в белых сосновых гробах.

— Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов твоих.

Родные погибших плакали, клали земные поклоны. На улице развернутым фронтом, с красными знаменами выстроились две роты. Одна Таежного, другая Медвежинского полка. Воскресенский незаметно для себя вошел в роль священника, служил не торопясь, молитвы читал внятно, с чувством. Старики и старухи, за долгое время скитаний по тайге стосковавшиеся по церкви, стояли довольные, с ласковыми, прояснившимися глазами. Скорбными, дрожащими вздохами падали в сердце толпы слова молитвы.

— И сотвори им в-е-ечную па-а-а-а-мять!

Люди опустились на колени, с плачем молили:

— Сотвори им в-е-е-е-чную п-а-а-а-мять.

Когда гробы были вынесены на паперть, партизаны запели:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли, за него...

Старики и старухи крестились, всхлипывали:

Со святыми упокой, Христе, души усопших
рабов твоих.

Нет, они не были рабами. Красные продырявленные пулями знамена отрицательно трясли своими полотнами; нет, нет. Партизаны, сжимая винтовки, снимали шапки.

О, павшие братья, мы молимся вам.

Колыхнувшись, убитые пошли в последний поход. На кладбище Воскресенский вышел из церкви без ризы, в коротком меховом пиджаке и папахе. Поправил револьвер на широком ремне, быстро зашагал, догоняя похоронную процессию.

26. ЭТО

В деревнях, заимках, селах Таежного района белые создали тысячи мучеников. Кровавый посев давал красные всходы. Партизанское движение росло, крепло, ши-

рилось. Крестьяне и рабочие, внешне спокойные и покорные, в сердцах носили огонь ненависти и жажды мести. Красный гнев клокотал палящей лавой. Красное было разлито всюду. Красной полосой легла на белый стан Таежная Республика. Красные точки и пятна сочувствующих и помогающих партизанам кишели в тылу у белых, в их рядах. Каждый шаг белогвардейцев, верный и неверный, тайный и явный, был известен партизанам. Крестьяне, женщины, старики, подростки, девушки добровольно осведомляли красных о всем, что творилось у белых, умело, незаметно разлагали их ряды, привлекали на свою сторону мобилизованных, обманутых.

В рождественский сочельник, перед рассветом, от Медвежьего к тайге по чистому полю, поскрипывая лыжами, быстро скользили двое. Среднего роста, крепкий, широкоплечий, с длинной серебряной бородой, в малахае и белой дохе — Федор Федорович Черняков и высокий, костлявый, бритый, с короткими, обкусанными, торчащими щетиной усами, в рыжем телячьем пиджаке и таком же картузе — Никифор Семенович Карапузов. Старики гнулись под тяжестью больших мешков, привязанных за спиной. Они везли партизанам медикаменты, купленные в городе. Лыжи глубоко уходили в снег, нападавший за ночь. Идти было трудно. Под теплыми мехами на спине и на груди у лыжников рубахи отсырели от пота.

— Закурить бы надо, Федор Федорыч,— остановился Карапузов.

— Оно бы, конечно, хорошо, Никифор Семеныч, да как бы не заметили нас?

— Ну, в этаку темень да рань. Поди, спят все без задних ног.

Карапузов вытащил из-за пазухи короткую самодельную трубку. Черняков достал кисет. Сбоку в темноте фыркнула лошадь. Старики вздрогнули, насторожились. На дороге отчетливо хрустели конские копыта, едва слышно брякало оружие. Несколько красных точек, покачиваясь, плыло к тайге.

— Смотри, курят. Ведь это орловские молодцы в разведку поехали,— шептал Черняков.

Разъезд гусар шагом шел по дороге на Пчелино. Корнет Завитовский, безусый, восемнадцатилетний мальчик, опустил голову и, развалясь в седле, мурлыкал под нос:

Свое мы дело совершили —
Сибирь Советов лишена...

Молодой офицер перед выездом из села выпил немного спирту, был весел. Новенькая мягкая длиннополая черная барнаулка грела хорошо. Косматая тресковая папаха закрывала оба уха.

— Так и есть, они.

— Давай дернем в сторону с версту и прямо Пчелинским логом ударимся на спаленную сосну.

Старики спрятали табак, повернули влево. Лыжи хрустнули, тихо взвизгивая, заскользили по белому пушистому ковру. В сумерках рассвета долго, осторожно шли по тайге. Задевая за сучья, роняли вниз чистые белые хлопья. У разбитой, опаленной молнией сосны остановились, сняли с плеч мешки, закурили. Между деревьев медленно светало.

— Ну, однако, пора стучать.

Черняков выдернул из-за пояса топор, стал редко, с силой бить им по сухому стволу. Ударив десять раз, остановился. В тайге шумело эхо. Затрещал бурелом.

— Что это, медведь, что ли? — спросил Карапузов.

— Какой теперя медведь. Медведь лежит.

Карапузов сконфуженно махнул рукой.

— Фу, смолол. Хотя, мож, его спугнули? Иль, мож, это зюбрь? [1]

— Нет, зюбрь не так ходит. Зюбря не услышишь. Он идет — только хруп, хруп. Шагов пяток сделает, да и встанет, послушает и опять — хруп, хруп. А этот вон как трещит. Сохатый [2], окромя некому.

Черняков опять застучал. Треск стал глуше, затихая, удалялся.

— Тяп-шшш! Тяп-шшш! Тяп-шшш!

Тайга просыпалась. Где-то далеко слабо отозвались:

— Тяп! Тяп!

Старик перестал стучать.

— Ага, десять тоже,— сосчитал он удары.

— Наши. Сейчас будут.

Черняков засунул топор опять за пояс, сел на валенное дерево. Карапузов вытирал рукавом вспотевший лоб.

— Здорово мы с тобой, Федор Федорыч, отмахали.

— Да, подходя.

---

[1] Изюбр, или марал (благородный олень).

[2] Сохатый — лось.

В чаще замелькали пестрые лохматые дохи. Несколько партизан бесшумно на лыжах подбежали к старикам.

— Здорово, товарищи!

— Здравствуйте!

— Ну, чего принесли, старички.

— Лекарства кое-какого, товарищи. Бинтов маленько.

— Дело хорошее.

Ватюков разглаживал свои длинные усы. Быстров нагнулся, стал ощупывать мешки. Доха у партизана распахнулась, среди меха сверкнула золотом гимнастерка, расшитая выпуклыми крестами.

— Это чего у тебя, Петра?

Черняков смотрел на необыкновенный костюм партизана. Быстров засмеялся.

— Риза отца Кипарисова. Мы его на позапрошлой неделе уконтрамили[1]. Ну, добру не пропадать же. Я сшил себе гимнастерку. Крепкая штука, долго проносится.

Парень, улыбаясь, оправлял пояс, показывал старикам свою обновку.

— Чего банды поговаривают насчет войны? — спросил Ватюков.

Карапузов оживленно заговорил:

— Мне Пашка сказывал, вы знаете его, сын-то мой, что мобилизованные ждут только удобного случая, чтобы перебежать. Дела бандитов совсем плохи. Красная Армия близко. Гибель свою они уже чуют. Куируются здорово. В городу ихних беженцев полно. Офицерье свои семьи за границу, на восток, отправляют.

Гусары возвращались из разведки. Дорогой красильниковцы часто грелись из фляг со спиртом, ехали с песней:

Марш вперед, друзья, в поход,
Штурмовые роты.
Впереди вас слава ждет,
Сзади пулеметы.

Партизаны услышали, примолкли.

— Надо щелкнуть петушков красноголовых[2].

Ватюков стал распоряжаться:

— Черемных и Панкратов, вы берите мешки — и в

[1] Уконтрамить — убить.
[2] Красильниковцы-гусары носили красные бескозырки.

Пчелиио. А мы иа иих. С двух сторон надо охватить. Вали, Быстров, заходи сзаду. Я спереду. Возьми себе четверых. Остальные за мной.

Небольшой отряд разорвался надвое, лавой брызнул в разные стороиы, с легким скрипом скрылся за высокой желтой стеной тайги. Черемных и Паикратов иавалили себе мешки на плечи.

— Вы, товарищи, передайте там от иас Жаркову-то с Мотыгиным, чтобы ие сумневались, наступали бы иа Медвежье, мы поддержим. Силешки у белых почти уже, можио сказать, и не осталось. Виднмость одна только,— говорил Черняков.

— Обязательно! Уже это беспременно будет передано. Коиечно, наступать надо, коичать гадов.

Партизаиы повериулн лыжи назад, к Пчелииу, на старый след.

— Ну, прощайте, товарищи. Счастливо вам!

Черняков и Карапузов постояли немного на месте, проводилн взглядами две фигуры с мешками иа спинах.

— Пойдем восвояси, Федор Федорыч.

— Пойдем,— старики тихо пошли домой.

Обходя кучи бурелома, оглядываясь в стороиу дорогн, остаиавливаясь, прислушивалнсь, затаив дыхаиие.

— Трах! Трах! Тах! Тарарах!

Лыжиики свалили лошадь у гусар, ранили одного и одиого убили. Путь был отрезан. Красильииковцы метнулись обратно. Корнет Завистовский едва владел собой. Страх, холодиый, тяжелый, задавил офицера. Быстров с четырьмя вылетел из чащи, перегороднл дорогу.

— Трах! Трах!

И спереди н сзади. И в затылок н в лоб.

— Пиу! Пиу!

Лыжииков была иебольшая кучка. Но казалось, что их страшно миого, что вся тайга кишит нми. Гусары остановнли лошадей. Завистовский уронил повод.

— Сдавайся! Сдавайся!

Партизаиы легко и быстро двигали лыжами, виитовки держалн иаготове.

— Слезай с коией! Бросай оружие!

Высокая чериая лука казачьего седла мелькиула в последннй раз перед глазами офицера. Соскочив с лошади, он стал отстегивать портупею, солдаты снимали нз-за плеч вннтовкн, клали их на дорогу. Лыжники схва-

тили лошадей под уздцы, отвели в сторону. Гусары, скучившись, встали нерешительно, опустив руки.

— Добровольцы есть?

Пестрые дохи угрожающе стали рядом, вплотную. Красильниковцы молчали, сухо щелкнули затворы, винтовки уткнулись в головы пленных.

— Ну?

— Мы все мобилизованные. Один корнет доброволец.

— Ага!

Партизаны переглянулись.

— Солдаты, отойди к сторонке.

Гусары отошли вправо. Офицер остался один лицом к лицу с врагами. Завистовский стоял с трудом. Ноги ныли, дрожали. Корнет не мог понять, от страха это или от усталости.

— Раздевайся! Будет, погулял в погонах!

Сердце провалилось куда-то, перестало биться. Мохнатые дохи растопырились, заслонили собой солнце, дорогу и тайгу.

— Я замерзну, братцы. Холодно, не надо.

Дохи ощетинились, зашевелились, засмеялись.

— Черт с тобой, замерзай. Нам ты не нужен, нам шуба да обмундирование твое нужны.

Завистовский с трудом понял наивность своей просьбы. Но умирать не хотелось. Старуха мать встала перед глазами как живая. Он — единственный сын, он — последняя надежда. Без него она не выживет, не перенесет тяжесть утраты.

— Товарищи, у меня мама. У нее больше никого нет. Пощадите!

Офицер говорил глухим, задушенным, срывающимся голосом, с усилием поворачивал во рту сухой язык. Злая усмешка тронула лица партизан.

— Ты когда ставил к стенке моего отца, не спрашивал, однако, сколько у него сыновей?

Завистовский готов был расплакаться. Твердость и спокойная ненависть красных давили его.

— Нечего лясы точить, раздевайся.

Корнет не двигался с места, лицо у него стало темно-синим. Ватюков разраженно теребил свои усы.

— Ну, долго тебя, золотопогонника, просить? Раздевайся, а то сами начнем сдирать, хуже будет.

Последняя искорка надежды потухла где-то на дороге под лохматыми унтами[1] партизан.

— Слышишь, мол?

— Я сейчас, сейчас, товарищи, я сам.

А жить хотелось страстно. Тайга стояла молчаливая, спокойная. Ровной лентой стелилась узкая дорога. И лица партизан были самые обыкновенные. Ничего особенного вообще не было. Все было как и всегда. Но зачем-то нужно умирать. Жизнь стала вдруг в несколько секунд красивой, влекущей. Выходило так, что раньше ее как будто не было, не замечалась она. Зато теперь она стала дорога, необходима. Смерть казалась глупой, никому не нужной, страшной. Избежать ее очень просто. Вот стоит только этому длинноусому сказать пару слов, и он будет жить, его не расстреляют.

— Товарищи...

— Лучше не скули. Сказано раздевайся, и кончено.

Пестрые дохи недовольно, сердито переминались с ноги на ногу. Умирать не хотелось. Все протестовало против смерти. Оттянуть хоть на несколько минут.

— В последний раз, товарищи, дайте покурить.

— Кури.

Ноги больше не могли стоять. Офицер тяжело всем задом сел в снег. Вытащил портсигар. Лошади лизали снег. От них шел легкий пар, с острым запахом конского навоза и пота.

— Только поскорей поворачивайся.

Завистовский закурил. Вот и дым самый обыкновенный, и табак такой же, как час тому назад, когда не было еще этой необходимости умирать, папироса только очень коротка. Догорит, и придется. Нет, это нелепость какая-то. Всего только восемнадцать лет! Зачем же смерть? Надо подумать. Между бровей закладываются две глубокие морщинки. Глаза напряженно смотрят на красную точку на конце папиросы. Она приближается к мундштуку с каждой затяжкой. Значит, и та неотвратимая, ужасная тоже? А если не затягиваться? Дохам скучно. Папироса все дымится.

— Ну, ты чего же, курить так кури, а нет так нет.

— Последний раз, товарищи, дайте покурить как следует.

Ну что им стоит каких-нибудь пять минут. Прожить

[1] Унты — меховые сапоги.

еще пять минут — огромное счастье. Надо следить за папироской, чтобы сильно не разгоралась. Табак очень сух. Горит быстро, страшно быстро. Дохи обозлились.

— Ну, тебя, видно, не дождешься. Бросай папироску!

Голова офицера свалилась на левое плечо. Держать ее тяжело. Руки повисли. Спина согнулась. Мускулы раскисли. Папироска выпала изо рта, зашипев в снегу, потухла.

— Раздевайся!

Неужели все кончено? Пленные гусары отвертывались к лошадям. Но как это случилось? Почему нужно было сегодня ехать в разведку? А мама, мама-то как? Острый нож колет сердце, грудь. Едкие, огненные слезы капают на снег. Мама! Мама!

— Товарищи, у меня мама. Мамочка. Пощадите, Христа ради.

Руки хотят подняться и не могут. Голова совсем не слушается. Как хорошо плакать. Все-таки легче.

— Товарищи, мамочка, мамочка. Милые товарищи, дорогие, славные. Ну миленькие, родные, простите. Я у вас конюхом буду, за лошадьми ходить. Я лакеем буду, сапоги стану вам чистить. Милые, пощадите. Ведь у меня мамочка. Ма-а-а-моч-ка!

Зачем это так дергается все тело? Отчего так больно грудь и щиплет глаза?

— Фу, черт, измотал совсем.

Доха рассердилась вконец. Человека убить нелегко и так, а он ревет еще. Надо скорее. Иначе рука не поднимется. Может быть, мерещиться потом будет. Без команды приподнялись винтовки. Офицер заметил. Глаза залило совсем чем-то красным. И это сейчас. Сейчас случится это. Это. Осталось только оно, это. За ним неизвестно что. Самое страшное пока это еще не произошло. Когда это будет, то ничего, легко станет. Главное — перешагнуть это. Страшно. Зачем это? Надо жить. Жить! Долой это! Сил нет. Нет слов. Язык сухой, сладкий.

— Товарищи, простите. Не надо это. Товарищи милые, как же мамочка-то? Миленькие, простите.

Затворы щелкнули. Винтовки равнодушно, слепо тыкались перед глазами, покачивались едва заметно. Сейчас будет это. Еще секунда, и все кончено. Это.

— Мамочка! М-а-м-а-м-о-ч...

— Пли!

Черная бариаулка покрасиела. Колени поднялись кверху, дергались. Раздевать не стали. Там, где только что произошло это, быть тяжело. Лучше ие смотреть, уйти скорее. Сегодня это было ие как всегда. Дорога стала очень узкой, тесиой. Идти по ней свободно было иельзя. Друг друга задевали, толкали. Тут еще плениые мешаются, напоминают о нем. Лучше бы уже всех. Лыжи сняли. Оии стучали очень громко, подкатывались под ноги. Мешали. Для чего их на веревках тащить за собой? Если бросить? Мешают страшио. И тайга почему-то очень молчаливая. Мертвая, совсем мертвая. Там прячется это. Это за каждым деревом. Как надоело это.

— Скорее бы кончилась война. Опротивело.

Ватюков морщился, плевал в сторону, тряс головой.

— У-у-у! Тьфу! Гадость!

— Ну, этого мальчишку долго не забудешь.

Быстров прибавил шагу.

— Конешно, мать,— у всех мать.

Дорога с глубокими колеями затрудияла движение. Партизаны спотыкались. Почему-то было очень скверно на душе у всех. Это было и раньше, но не так сильно и остро. А теперь это давило.

27. СЕГОДНЯ МЫ ВСЕ РАВНЫ

Окна медвежинской школы были ярко освещены. На улицу пробивались сквозь двойные рамы глухие звуки пианино. В светлых четырехугольных пятнах мелькали силуэты танцующих. У полковника Орлова были гости. Сегодня к нему приехали из города несколько офицеров в обществе двух сильно накрашенных дам. Обе были вдовы офицеров одного из сибирских полков, недавно убитых. Фамилий их никто как следует не знал. Все звали их по имени и отчеству. Одиу, курносоватую блондинку среднего роста, с большим ртом и узкими глазами, в зеленом платье,— Людмилой Николаевной. Другую, высокую, полную, с пунцовыми губами, правильным носом, подкрашенными карими глазами и пышной прической завитых каштановых волос,— Верой Владимировной. Легкое светлое бальное платье открывало у нее наполовину грудь и руки до плеч. В большом клас-

се было тесно. Адъютант играл на пианино. Подвыпивший полковник развязно шутил с дамами, танцевал, преувеличенно громко стуча каблуками и звеня шпорами. Нетанцующие офицеры разделились на две группы, разместившись за столами по разным углам комнаты. У сидевших в дальнем правом углу около стола, уставленного бутылками спирта, вина и закусками, лица покраснели и вспотели, воротники мундиров и френчей были расстегнуты. Бритый, белобрысый ротмистр Шварц старался перекричать пианино, стук и шмыганье ног танцующих:

Эх вы, братцы, смело вперед!
В нас начальники дух воспитали,
И Совдеп нам теперь нипочем.

Офицеры вторили нестройно, вразброд, пьяными голосами:

Уж не раз мы его побивали
И опять в пух и прах разобьем.

Полковник закричал с другого конца комнаты:

— Господа офицеры, к черту патриотические песни и политику. Сегодня мы будем жить только для себя. Довольно, надо когда-нибудь и отдохнуть! Корнет, матчиш!

Скучающие звуки вырвались из-под клавиш. Орлов схватил Веру Владимировну, канканируя, понесся с ней по комнате. Вера Владимировна вертела задом, трясла грудью, откидываясь всем телом назад, прыгала на носках, наклонялась вперед, высоко поднимала ноги, извивалась в руках офицера, выкрикивала, тяжело дыша:

Матчиш я танцевала
С одним нахалом
В отдельном кабинете
Под одеялом...

Офицеры перестали петь, разговаривать, блестящими сузившимися глазами ощупывали тонкие ноги женщины в ажурных чулках, ловили взглядами белые кружева ее белья. Совершенно пьяный сотник[1] Раннев вытащил из кобуры револьвер. Ему надоела смуглая физиономия Пушкина в темной массивной раме. Пуля попала в угол портрета, разбила стекло. Офицеры подняли стрелявшего на смех.

[1] **Сотник** — казачий поручик.

— Попал пальцем в небо! Ковыряй дальше!

Безусый юнец, хорунжий[1] Брызгалов, бросил презрительный взгляд в сторону Раннева, выхватил свой маленький браунинг, всадил пулю поэту между бровей. Брызгалову аплодировали, пили за его здоровье. Осмеянный сотник, наморщив лоб, встал, подошел к пианино, медленно вытянул из ножен шашку, со злобой рубанул по крышке инструмента. Полозов толкнул в бок офицера.

— Ты чего это, черт, с ума спятил? Пошел отсюда.

Патруль, встревоженный выстрелами в школе, пришел узнать, в чем дело. Шарафутдин в передней успокоил солдат.

— Нищаво, эта гаспадын афицера мал-мало шутка давал.

Патруль ушел. Адъютант играл без отдыха. Людмила Николаевна и Вера Владимировна с легкостью бабочек порхали из рук одного офицера к другому. Отдыхать во время небольших перерывов дамам не давали на стульях, мужчины бесцеремонно сажали их к себе на колени. Они не сопротивлялись, смеясь, трепали офицерам прически, усы и бороды. Ротмистр Шварц, покачиваясь, волоча за собой блестящую никелированную саблю, подошел к полковнику.

— Какого черта, полковник, у вас так мало дам? Две каких-то пигалицы, и только. Нельзя ли...

— Ладно, ладно, — перебил Орлов. — Сейчас будут.

— Адъютант, корнет, женщин нам, женщин!

Адъютант закричал:

— Шарафутдин, киль мында[2].

— Я, гаспадын карнет.

— Ханым бар?[3]

Шарафутдин плутовато улыбнулся. Острые черные глаза татарина заблестели в узких жирных щелочках. Толстые масленые губы раздвинулись.

— Бар[4], гаспадын карнет.

— Бираля[5].

Группа более трезвых офицеров в левом углу класса играла в железку. Среди них был один невоенный, за-

---

[1] Хорунжий — казачий подпоручик.
[2] Поди сюда.
[3] Женщины есть?
[4] Есть.
[5] Давай.

водчик, беженец с Урала, приехавший из города, Веревкин Сидор Поликарпович. Заводчик приехал в отряд Орлова со всем имуществом, погруженным на восьми возах. В городе оставаться дольше становилось опасно, положение белых было безнадежное. В поезд, в один из эшелонов, уходивших на восток, Веревкин не сумел попасть, ехать на лошадях самостоятельно побоялся, решил присоединиться к отряду полковника Орлова, своего старого знакомого. Играл Сидор Поликарпович не торопясь, спокойно, с сожалением вздыхая, говорил об убытках, причиненных ему войной, удивлялся, почему погибло в России дело Колчака.

— Ведь правительство адмирала совершенно правильно опиралось на мелкого собственника. Оно великолепно защищало интересы частного землевладения, вообще частной собственности. Не понимаю, чего еще, какую еще власть нужно сибирякам. Ведь здесь же совсем нет этого знаменитого российского пролетаризировавшегося бесштатного крестьянства. Здесь все мужики крепкие, скопидомы, хорошие хозяева. И вот, поди же ты, идут против нас.

— Каналья стал народ, измельчал, оподлился, распустился. Забыто все: и религия, и уважение к власти, ко всякой, какой угодно, даже к советской,— говорил Глыбин.

— Вы думаете — у красных лучше? Все один черт. Никто никого не признает. Бей, громи, грабь и всех н вся. Вот чем, вот какими интересами живет теперь русский народ. Анархия, полнейшая анархия кругом.

— Мое,— открывая карты, сказал Веревкин.

— У вас сколько? — полюбопытствовал Глыбин. Веревкин показал.

— Ага! Берите.

— Но ведь нужны же какие-нибудь рамки, берега для разбушевавшейся стихии анархического разгрома, мятежа. Ведь в этом диком потоке разрушения и взаимного истребления в конце концов может сгибнуть и самая идея воссоздания России, и сам народ, ослепленный красной ложью, утопит не только нас, но и себя.

Сидор Поликарпович пристальным, спрашивающим взглядом обводил партнеров, разглаживая широкую русую бороду, поправляя на правой стороне груди университетский значок.

— Неужели уж нет больше надежды на то, что

власть останется в наших руках? Неужели все вы, господа, все наше многострадальное офицерство, должны будете до конца жизни влачить жалкое существование изгнанников? А Красильников, ведь это историческая фигура, неужели и он?

Глыбин неопределенно протянул ответ:

— Да, Красильников — личность.

Веревкин оживился. Вокруг мясистого носа Сидора Поликарповича засветились ласковые складочки, коричневатые мешочки дряблой кожи под выцветшими голубыми глазами стали меньше, наморщились.

— По-моему, господа, Красильников является наиболее яркой, красочной фигурой, наиболее видным представителем вашей славной офицерской семьи,— говорил Веревкин. Офицеры молча брали и бросали карты, двигали кучки бумажек.

— Простите, господа, я не хочу преуменьшать достоинств каждого из вас и умалять ваши заслуги перед родиной, по-моему, все вы в большей или меньшей степени являетесь его подобием, так сказать, его разновидностью. Красильников, по-моему, идеальный русский офицер, он соединяет в себе широту русского размаха с европейской методичностью и чисто азиатской жестокостью и беспощадностью, которые именно так нужны в деле искоренения большевизма.

— Черт знает, опять бита!

Глыбин швырнул пачку кредиток.

— Сколько?

— Ваша.

Игра шла. Слушали Веревкина рассеянно. Сидор Поликарпович любил поговорить.

— Атаман — художник своего дела. Он не чинит просто суд и расправу, а рисует картину страшного суда здесь, на земле, над всеми непокорными, бунтующимися. Возьмите его публичные казни, его танец повешенных, когда десятки людей сразу, по одной команде, взвиваются высоко над крышами домов и начинают, вися на журавцах, выделывать ногами всевозможные па, а тут же рядом согнано все село, стоит коленопреклоненное и смотрит. Жены, матери, отцы, дети повешенных — все тут. Атаман сам ходит в толпе, приказывает всем смотреть на казнь. Тех же, кто проявляет недостаточно внимательности или, по его мнению, нуждается во

вразумлении, растягивают, порют шомполами и нагайками. И так часами длится экзекуция, а Красильников ходит тут же и, как лектор световыми картинами, демонстрирует свои беседы с народом живыми сценками из злосчастной судьбы большевиков. В наше время, когда нравственность и религия приходят в упадок, нужно именно такими сильнодействующими средствами внедрять их в сознание масс. Нужно заставить эту серую скотинку хоть чего-нибудь бояться, хоть кого-нибудь признавать. Красильников это отлично понимает, учитывает, а так как он человек с железными нервами и волей, то немедленно проводит все это в жизнь.

Лицо Веревкина сияло восхищенной улыбкой, точно кровавый атаман стоял сейчас здесь и он любовался им.

— А его рабочая политика? Ах, это восторг! Мы уже давно, кажется со времен Лены, не получали со стороны правительства такой активной поддержки, какую имеем теперь в лице атамана. На заводах, фабриках, в шахтах он церемонится еще меньше, чем в деревнях. Там разговор короткий. Малейшее подозрение: большевик — за горло, на землю и пулю в лоб.

Офицерам надоели рассуждения Веревкина. Каждому из них все это было уже давно известно, да к тому же они не особенно интересовались отвлеченными вопросами внутренней политики. Их кругозор не выходил за пределы мелких, будничных интересов дня, дальше вопросов о повышениях, перемещениях по службе, чинов, орденов и других мелких выгод они не шли. Пожилой худосочный прапорщик Лихачев надтреснутым голосом тянул скучный и вялый разговор о том, что он при Керенском уже был прапором, в гражданскую войну дважды ранен, а все еще прапор. Его перебивал поручик Громов:

— Э, чего вы там скулите, керенка несчастная, я вот, по крайней мере, николаевский поручик и сейчас все поручик. Но я горжусь этим. У меня чин настоящий, царский. Тогда ведь не так-то легко было достукаться до поручика. А теперь что — из мальчишек полковников наделали. Не хочу я этого, не надо мне ваших чинов.

Капитан Глыбин бубнил басом себе в кулак:

— У меня вот ни одного крестишки нет, если не считать паршивенького Станиславишку. За бой под Чишмами, когда мы Уфу захватили, командир полка обещал

мие клюкву[1], да так подлые штабные душонки и запихали под сукно мое представление.

Шарафутдиков появился в дверях и, подмигивая корнету, манил его пальцем. Корнет подошел к нему.

— Гаспадин карнет, есть три баб, только ревит бульна. Ристованный баб. Красноармейский баб,— зашептал денщик.

— Ни черта, Шарафутдинушка, тащи их сюда, мы их живо утешим.

Шарафутдин с другим денщиком Мустафиным стали тащить за руки и подталкивать в спины трех молодых женщин.

— Ходы, ходы, гаспадин офицера мал-мала играть будут. Вудка вам дадут. Бульна ревить не нады. Якши[2] будет.

Женщины плакали, закрывали лица концами головных платков. Ротмистр Шварц вскочил со стула.

— Ага, красноармеечки, женушки партизанские, добро пожаловать. Вот мы вас сейчас обратим в христианскую веру. Вы у нас живо белогвардейками станете.

В соседней комнате что-то трещало, звенели разбитые стекла, шуршала бумага. Мрачный сотник Раниев рубил шкафы школьной библиотеки и рвал книжки. Жажда разрушения овладела офицером. Оскорбленное самолюбие искало выхода. Руки горели.

— Шарафутдин, Мустафин, холуйня проклятая, где вы? — кричал Раннев.

Молодое красивое лицо с небольшими усиками было перекошено злобой.

— Нате вам бумаги на цигарки.

Он выбрасывал с полок книги, топтал их, рвал и кричал:

— Берите, холуи, годится покурить.

Несколько офицеров подошли к арестованным женам партизан.

— Ну, чего вы, молодухи, расхныкались. Ведь не страшнее же мы ваших волков красных?

— Чего с ними долго разговаривать? — заорал Орлов.— Господа офицеры, не будьте бабами! Энергичней, господа! Жизни больше! Не стесняйтесь! Сегодня здесь нет начальства! Сегодня мы все равны! Да здравствует свобода!

[1] Орден Анны 4-й степени.
[2] Хорошо.

Шварц схватил полиую жеищину в корнчиевом платье, стал искать у иее застежки. Лнхачев бросил карты, подбежал к худенькой, иевысокой, в красной кофточке. Глыбнн уцепился за широкую черную юбку.

— Раздевать нх

Жеищииы визжалн, отбивались.

— Матушки, позор какой! Матушки! Ой! Ой! Ой!

Орлов бросился к Вере Владимировие.

— Я сама, сама, вы еще платье разорвете.

Жеищииа быстро расстегнула все кнопки у кофточки, сбросила легкую ткань под иоги. Орлов трясущимися руками стал расшнуровывать у иее корсет. Людмила Николаевна, совершенио голая, вскочила на стол. Жены партизан, рыдая, катались по полу, стараясь закрыть свою наготу изорваиными юбками.

— Господа офицеры, от имеии женщин заявляю протест! Свобода так свобода! Равенство так равеиство! Вы должиы сейчас же сбросить свои тленные одежды!

— Правильио! Прррравильио! Браво! Браво!

Офнцеры с ревом срывали с себя мундиры, расстегивались. Веревкин с замаслившимся, помутиевшим взглядом нерешительно теребнл себя за ворот рубахи.

— Матушки! Ой! Ай! Ай! Ой! У-у-у-у! У-у-у!

Жнрный живот полковнника белой, трясущейся массой вывалился из-за тугого широкого пояса брюк. Жеищин было меньше, чем мужчии. Вокруг каждой закрутился горячнй, потный клубок голых тел, дрожащих, с перекошеиными похотью лнцами, с полураскрытыми слюнявыми ртами, усатымн, брнтыми, бородатыми, безусыми.

— Жеищии мало!

— Женщин!

— Нам не хватает!

Вера Владимировна вырвалась из самой середииы голой толпы, со смехом побежала от погиавшегося за ней Орлова. Наглое белое тело с округлеиными упругими формамн мелькало по комнате, туманило мысль, иаполняя всех мужчин одним страстным, непреодолимым желаиием. Орлов в одиих носках, тяжело топая, наскочил животом на стол, опрокинув посуду, со звоном упал на пол. Веру Владимировну схватил Полозов. Людмилу Нниколаевну возил на себе ротмистр Шварц. Босые ногн женщины торчалн впереди голой груди кавалериста.

— Мало женщин!

— Ой! Ой! Ой! У-у-у! Помогите!

— Здесь живут четыре учителки.

— К ним! Взять их! — Десяток ног затопал по коридору. Голые, мокрые от пота навалились на запертую дверь. Дверь упруго тряслась, трещала. С этажерки посыпались книги. Ольга Ивановна решительно схватила со стола подсвечник, выбила стекла в обеих рамах. Царапая и режа руки, учительницы вылезли на улнцу. Дверь с дрожью рухнула на пол пустой комнаты. Из разбитого окна клубами валил холодный пар. В классе кричал полковннк:

— Господа, это безобразие! Надо организовать вечер! Господа! Господа!

Голые, со спутавшимися волосами люди оглохлн. Орлов схватил шашку н, махая острым клннком, набросился на клубок белых червей. Темные и рыжие пятна шерсти на животах, на головах путались в глазах полковника.

— Зарублю! Смирна! Сволочь! Смирна!

Сверкающая сталь, обернувшись боком, сыпала на горячие тела холодный горох ударов.

— Смирна, сволочь!

Живот у Орлова трясся жидким студнем, волосатая грудь дышала с шумом. Крепкая, обросшая шерстью рука поднималась и опускалась, как шестерня.

— Смирна, сволочь!

— Ой! Ой! Ой! У-у-у... Позор какой! А-а-а!

28. «УФИМЬСКАЙ СТРЕЛЬКА»

Серо-свинцовая муть рассвета плавала в воздухе. Село спало. Снег мягкими мокрыми хлопьями падал сверху. Было тепло и тихо. Ночной дозор остановился на кладбище. Солдаты, прислонившись к ограде, курили, разговаривали вполголоса. Высокий рябой уфимский татарин говорил молодому сибиряку Павлу Карапузову:

— Слышна, брат, красный бульна близка подходит. Абтраган [1].

— Чего ты плетешь, Махмед? Какой абтраган? За что меня красные бить будут, если я насильно мобилизованный? Да я только до первого боя, сам к ним перебегу.

Махмед недоверчиво крутил головой, сосал цигарку.

[1] Боюсь.

— Уфимскай стрелька красный не берет плен. Уфимскай стрелька абтраган.

Карапузов убежденно возражал:

— Возьмут, брат, красные возьмут.

— Уй, красный Рассею бирал, Сибирь забират, как жить с ним?

Вспышки цигарки освещали рябое скуластое лицо татарина с черными щетннистыми усами.

— Муй брат китайска поход ходил — тирпнл, японска война ходил — тирпнл, германска война с сыном ходил, лошадкам отдавал — тирпнл, ну русскай свабод никак, говорит, тирпить невозможна. Эта красный свобод сапсим всих разорял.

Молодое пухлое лицо Карапузова насмешливо улыбалось.

— Зря ты, Махмед, говоришь. Красные только буржуев разоряют. Буржуям они, верно, спуску не дают. Конечно, если у тебя брат буржуй, так ему красных не нужно, для него онн плохи. А тебе что? Ты буржуй, что ли? Нет ведь?

— Уй, брат, боюсь красных, абтраган.

— Чудак ты, Махмед, по-твоему, выходит, белые лучше для тебя?

— Мы белый не видал, не знаем. Белый у нас мало стоял, отступал.

— То-то и дело-то, кабы ты знал их, так тогда не говорил бы так.

Недалеко раздался сухой, короткий треск, точно кто-то быстро стал ломать ветки деревьев.

— Диу, дзиу, джиу, дзиу,— запели над головами говоривших пули.

— Эге, это нашн,— сказал Карапузов.

— Какуй нашн, то красный.

— Ну да, красные; вот я и говорю, наши. Ты думаешь белы, что ли, наши? На кой черт сдалнсь мне эти кровопивцы? Язви их душу!

Торопливо, захлебываясь, застучал белый пулемет. Ему вторнл частый, беспорядочный огонь винтовок. Сзади деревни глухо и тревожно ухнуло дважды дежурное орудие, и снаряды с воем и визгом полетели в серую мглу предрассветных сумерек.

— Дзиу, дзиу, дну, диу,— редко, но уверенно свистели пули красных.

Два орудия белых изредка посылалн из-за деревни

свои снаряды, но в их вое и визге было больше жалобных, плачущих иоток, чем злобы и силы. Ружейная пулеметная стрельба не ослабевала. Бой разгорался. Карапузов забрался на кладбищенскую изгородь, долго вглядываясь в мутиую даль зимнего утра, вертел головой, прислушивался к звукам боя.

— Махмед, айда к красным,— спрыгнул он на землю.

— Уй, баюсь, брат. Абтраган.

Лицо у Махмеда вытянулось, глаза со страхом прятались в землю, голова опустилась. Карапузов схватил татарина за рукав, с уснлием потянул к себе.

— Айда, Махмед, ты ведь не буржуй. Чего тебе красных бояться? Айда!

Щеки Карапузова, полные, розовые, круглымн пятнами стояли перед уфимцем.

— Мулла наш бульна пугал красным. Присяг бирал с нас.

— Ну, черт с тобой, «уфимьский стрелька», шары твои дурацкие, язви тебя.

Сибиряк плюнул. Сиял с вннтовки японскнй штык, отточенный на конце, не торопясь срезал себе погоны.

— К черту, довольно!

Две зеленые тряпочки полетели в снег.

— Ай! Ай! Ай!

Татарин хлопал себя по боку, качал головой.

— Ай! Ай!

Снова примкнутый штык мягко щелкнул пружиной. Не взглянув на рябого, Карапузов закииул за плечи винтовку, пошел в сторону усиливавшейся перестрелки.

29. НИ ЧЕРТА

Хорунжий Брызгалов и поручнк Ивин стояли с эскадроном в резерве. Брызгалов тянул из фляжки спирт, морщился, крякал. Разговаривали о первых восстаниях против Советской власти.

— Смотрю я, господин поручик, на здешний народ, на сибиряков, и думаю, что сволочь здесь сидит на сволочи. Все большевики. Тут пули ждн и спереди и сзади. Эх, вот в нашнх казачьих областях, там совсем не то. Казаки иарод дружиый. Взять хоть нашнх уральцев. Они за крест и бороду стояли. Все староверы, все бородачи, как однн. А дрались как? Голыми руками броне-

вики у красных крали. Рубились как? Боже мой, как ворвутся, так все метут как метлой — и старого, и малого, и комиссаров, и рядовых, и врачей, и сестер, и подводчиков.

— Бросьте вы, пожалуйста, кошму свою хвалить. Знаем мы этих станичников. Герои тоже, в тылу, за спиной у пехоты, а как на фронте набьют им морду, так они так пятки смазывают, так маштачков подхлестывают, что только пыль столбом летит.

Брызгалов недовольно дернул губами, но возражать не стал.

— Пришлось мне в самый переворот, во время свержения советской власти, быть в О. Какой подъем там был, какое единение. Казалось, что проклятой революции пришел совсем конец. Мы, юнкера, прямо уверены были, что никаких больше Учредилок и Советов не будет, а будет его императорское величество, и баста.

Ивин ядовито улыбнулся.

— Какое хорошее это было время, с каким увлечением лупили мы эту красную рвань. Патронов у нас было мало, так больше шашками рубили. Или поставишь целую шеренгу в затылок, выровняешь почище да первому в лоб и ахнешь, а пуля так всю шеренгу и снижет. Забавно.

Брызгалов сделал несколько глотков из фляжки.

— Казни и наказания у нас обставлялись с особенной торжественностью. Мы старались придать им характер справедливого суда народного. Для этого население всегда оповещалось, неофициально, правда, что «сегодня состоится казнь большевика такого-то». Помню, очень интересно прошла казнь бывшего заведующего народным образованием, какого-то студента. Вывели его из тюрьмы ночью. Народу собралось масса. Конвоиры — конные казаки с факелами: как только вывели его, так сейчас же и раздели, совсем донага. Повели.

Брызгалов закурил. Несколько раз затянулся.

— Да, повели, а толпа плюет ему в лицо, кидает в него камнями. Один камень, видно, здорово стукнул его по голове, он упал. Казаки его сейчас же в нагайки взяли да стали слегка шашками подкалывать. Живо встал, пошел. Толпа все свирепеет. Факелы зловеще освещают лица. Страшно даже стало. Один какой-то гражданин хватил студента тростью по переносице. Он опять упал. Казаки опять давай стегать нагайками, подкалывать

шашками — не встает. Тогда один факельщик взял да и положил ему горящий факел пониже живота. Шерстью паленой запахло, мясом горелым. Вскочил, брат, моментально и пошел. Однако уже стал качаться как пьяный. Но куда он ни качнется, его встречают острые концы шашек. Он вправо — его колют. Он влево — его колют. Шел он так, шел, весь кровью облился, как краснокожий индеец стал. Упал. Ему опять факел приложили. Нет, не встал, только ногами задрыгал, как лягушка, когда через нее ток пропускают. Жгли, жгли, кололи, пороли — не встает. Мясом только сильней запахло. Я уже хотел пристрелить его, как вдруг толпа с ревом кинулась и буквально растоптала, разнесла его на клочки. После в небольшой ящик сложили кучу грязного мяса и костей.

— Молокосос вы, батенька, порядочный. Такие-то вот типы, как вы, в своем сверхусердии и создали большевизм у нас, в тылу, все дело-то и провалили, — презрительно сказал Ивин.

Брызгалов обиделся:

— Да, рассказывайте. Эти-то молокососы в то время, когда вы философствовали да сидели сложа руки, всю революционную дрянь-то и вывели. Мы пощады никому не давали, не только большевикам, комиссарам, но и просто советским служащим. Мы рассуждали так: раз служил у красных, значит, помогал им, а раз так, то башку долой. Рубили всех: машинисток, конторщиков, рассыльных. Всех в одну кучу, как капусту.

— Ну вот, теперь и жните, что посеяли.

— А что же очень нос-то на квинту вешать? — задорно поднял голову хорунжий. — Ну, разобьют нас? Ну что же. Сам себе пулю пущу в лоб, и ладно. По крайней мере, буду знать, что не даром жил, кое-что для родины сделал.

— За это вы не беспокойтесь. Наше поражение давно предрешено. Мы не сумели использовать восставших волжан, уральцев, уфимцев. Мы забыли, что все они восстали против красных потому только, что за людьми не разглядели идеи, приняли разных уголовных преступников, проходимцев, пролезших к власти, за подлинных сеятелей идей большевизма. Казалось, нам нужно бы учесть это. Мы должны были понять, что массы идут защищать нас по недоразумению. Мы должны были быть очень хитрыми и осторожными, чтобы дурачить их

до конца, уверять и делать вид, что идем защищать какую-то свободу. Но мы поступили совсем иначе. Мы вообразили себя победителями, распоясались и начали насиловать и грабить в тылу жен, сестер, отцов, матерей и братьев тех самых солдат, которые на фронте по своему недомыслию защищали наши шкуры и карман.

В первой линии огонь усиливался.

— Э, да что говорить, чепухи, безобразия, недомыслия у нас хоть отбавляй. Ведь вот, к слову сказать, наш закон о земле прямо-таки политическая глупость. Красные его у себя полностью перепечатывали и кричали во всю ивановскую, что вот, мол, товарищи, смотрите, за что белые воюют. А наши финансовые операции? Позор!

Офицер махнул рукой. Брызгалов молчал, с тревогой прислушиваясь к перестрелке. Ему казалось, что огонь белых начал ослабевать, стал совершенно беспорядочным. Наблюдатель, сидевший на дереве, соскочил вниз.

— Господин поручик, так что красные с правого фланга обошли наших, а пяхота, котора была у нас на фланге, по своим же жарит. Наши бегут.

Нервная гримаса скривила лицо Ивина.

— По коням! Садись! — Брызгалов допивал фляжку.

— Ни черта, мы их сейчас сомнем.

Ивин неохотно выехал вперед эскадрона.

— Шагом ма-арш!

Эскадрон стал подтягиваться к месту боя. Выехали на опушку. Красные были хозяева положения. Их пулеметы дождем обсыпали отходящие цепи белых. Цепи партизан продвинулись значительно вперед, и эскадрон выехал им как раз во фланг.

— Шашки вон! — машинально как-то командовал Ивин.

— Ура-а-а! — первый закричал Брызгалов, сильно хлестнул нагайкой своего вороного.

Эскадрон бросился в атаку. До вражеских цепей ему нужно было проскакать с полверсты по снежной равнине. Красные заметили гусар, встретили их дружными залпами. Первыми же пулями Брызгалов был убит. Взмахнув руками, он свалился с седла, но нога у него увязла в стремени; и вороной, испуганно храпя, поволок его в сторону красных. Под Ивиным ранило лошадь, она свалилась на бок, придавив ему ноги, и он никак не мог из-под нее выбраться. Расстояние между темной, плот-

ной цепью красных и лавой эскадрона сокращалось медленно. Снег оказался очень глубоким. Лошади гусар вязли по брюхо. Ряды атакующих редели заметно. Не дойдя до противника, эскадрон повернул обратно. Атака не удалась. Иван видел, как в лесу последним скрылся толстый вахмистр. Офицер приложил револьвер к виску, нажал гашетку. Дернувшись в сторону, голова поручика расцвела алым цветком маленькой кровавой ранки. Лицо стало одного цвета со снегом. Лошадь храпела, харкала кровью, но встать не могла.

30. ВИЛЫ

Медвежье враждебно насторожилось, высыпав на улицы, ждало. Крестьяне кучками прислушивались к приближающейся перестрелке, открыто иронизировали над отходящими обозами белых.

— Что, господа хорошие, пограбили, да и будет. Пора и восвояси. Пятки смазываете. А кто платить-то за вас будет? А?

Обозники угрюмо молчали, торопливо подгоняли лошадей, со страхом оглядывались назад. Полубатарея передвинулась дальше за деревню, открыла по наступающим беглый огонь.

— Виууужжж! Виууужжж! — неслась над селом шрапнель за шрапнелью, и немного спустя, в полутора верстах, за околицей, появлялись белые облачка дыма, слышался звук, похожий на громкий плевок.

— П! П! П!

По улице проехали подводы с ранеными. Окровавленные солдаты, наскоро перевязанные, метались в санях, стеная и вскрикивая при каждом толчке. Старухи вздыхали, охали, крестились. Толпа сосредоточенно молчала. Люди знали, что многие или даже большинство раненых были насильно загнаны на фронт.

— Та-та-та-та-та, тах, та, тах-тах,— задыхался где-то близко «максим», точно нервный, уставший человек дышал часто и пугливо, отмахивался бессильной рукой от наседавшего врага.

— Бум-бум-бум-бум-бум,— баском вторил ему «кольт».

— Бум-бум-бум-бум,— редко стучал пулемет, и похоже было на то, что кто-то тонет в глубоком пруду

и, подимаясь со дна, глухо лопаются на поверхности большие пузыри.

— Бум-бум-бум.

— Трах-трах-трах,— ломали сухие ветки винтовки.

— Диу-диу-диу,— звонко в морозном воздухе пели пули.

— Наша берет, скоро белым амба будет,— сказали в толпе.

Настроение крестьян поднималось. Лица становились возбужденнее. В руках у некоторых появились пистонные ружья, вилы, топоры, заржавленные клинки, вытащенные из-под спуда.

Шарафутдин на трех подводах вез полковничье имущество.

— Ребята, чего это мы орловского холуя отпускать будем с нашим же добром? Бей его!

Молодой парень вскинул к плечу одностволку. Грянул выстрел, и Шарафутдин, схватившись руками за окровавленное лицо, упал с саней.

Путаясь в длинных шинелях, по селу бежали пять гусар, самовольно оставившие поле сражения. Крестьяне задержали их, отобрали патроны и винтовки.

— Ура! Ура! Ура-а-а-а-а!

— Наши пошли в атаку,— закричал старик Черняков.

— Ребята, которые с вилами, к воротам становись, а которые с ружьями — на заплоты. Не дадим сбежать белым гадам.

Как солдаты командира, слушались крестьяне Чернякова. Улица опустела, затаилась выжидая. Цепи белых дрогнули, смешались и в беспорядке, почти не останавливаясь, побежали к селу. Полковник Орлов носился среди бегущих на своей белой кобыле и хлестал нагайкой гусар направо и налево.

— Гусары, пехота вы вонючая, а не гусары! Стой! Стой! Застрелю! — орал он.

— Господа офицеры, что вы делаете? Куда бежите, как бабы?

Никто не слушал его. Солдаты и офицеры в животном страхе бежали по улице, бросая винтовки, патроны.

— Бах, бах,— загремели дробовики из-за заплотов.

— Ура! — закричал Черняков и выскочил из ворот с длинными вилами. Путь отступления был отрезан. Бегущие остановились. Две людские стены сошлись

вплотную и сцепились в последней смертельной схватке. Вилы были длиннее винтовок. Крестьяне валили орловцев как снопы. Яркое зимнее солнце выглянуло из-за туч. На конце улицы засверкали клинки конных партизан. Отчетливо заалели красные банты, ленты и знамя. Судьба штыкового боя решилась в несколько секунд. Белые, смятые с двух сторон, были уничтожены. Беложелтый ковер улицы запачкался красными пятнами. Полковника Орлова захватили живым. Партизан снимал с него револьвер и шашку. Белая кобыла полковника валялась поперек дороги, судорожно дергая тонкими длинными ногами; из живота ее, пропоротого вилами, двумя ручьями бежала кровь, большим пятном расплываясь по снегу. За конным дивизионом Кренца по тракту стала входить пехота. Впереди шел 2-й Медвежинский полк, левее его и сзади по проселку двигался 1-й Таежный, 3-й Пчелинский подходил резервом сзади всех. Председатель армейского совета Жарков и главнокомандующий Северным таежным фронтом Мотыгин ехали верхом вместе с первыми цепями. Со стороны Светлоозерного ползла черная масса восставших шахтеров. Шахтеры шли с красными знаменами, вооруженные винтовками, самодельными пиками, вилами, дробовиками. Легкораненые с красными мокрыми повязками на головах, на руках шли в строю. Шахтеры, партизаны и крестьяне Медвежьего тремя бурлящими волнами сшиблись на середине села, заплескались, зашумели. Хмельная радость освобождения разлилась по избам. Все Медвежье высыпало на улицы. Женщины, дети, старики, старухи, взрослые и подростки, парни и девушки. От радости плакали. Смеялись, целовались, жали друг другу руки. Убитые валялись под ногами. На них не обращали внимания. Через мертвых шагали, наступали им на руки, на ноги, на лица. Спотыкались, попадая валенками в мягкие, еще теплые животы. День был яркий, солнечный. Снег сверкал на улицах и домах Медвежьего.

31. КОСТЕР ПОТУХ

Избенка была построена из тонкого теса и горбылей. Ветер лез в нее со всех сторон через широкие щели. Пол заменяла утрамбованная земля. Окна, наполовину вы-

битые, замерзли, облипли снегом. Мотовилов стоял в раздумье на пороге.

— Нет, здесь холоднее, чем просто у костра,— решил он.

— Фомушка, ломайте эту хибарку — и в огонь. Разложим костер побольше, тепло будет. Видишь, постройка-то какая дрянная, в ней только, значит, летом жили.

Барановский лежал в санях, невнятно бредил. Фома с Иваном сняли с петель дверь, вырвали рамы, разобрали небольшое крыльцо, изрубили все в щепки, разложили костер. В темноте, мимо по дороге, звонко скрипели полозья. Обозы лентой шли не останавливаясь. N-цы отпрягли лошадей, набросали им снопов овсяной соломы, взятой тут же из огромного зарода. Солдаты улеглись плотным кольцом вокруг огня. Мотовилов, отворачивая лицо от жара, грел руки. Красные отблески обливали пальцы кровью. Дрожащие кровяные пятна пачкали шинели и полушубки N-цев, лица и шапки. На огонь вышла из темноты длинная лошадиная морда с двумя оглоблями. Подъехал верховой, с трудом слез на снег, прихрамывая подошел к костру.

— Кто здесь старший, господа?

Мотовилов спрятал руки в рукава, обернулся к говорившему, прищурившись стал вглядываться в его лицо.

— Я старший, а что?

— Разрешите мне переночевать у вашего костра?

Мотовилов кивнул на своих солдат.

— Смотрите, сколько у нас народу. Негде.

— Ради бога, как-нибудь. Я офицер. У меня жена вон в санях лежит, после тифа. Двое детей.

— Ведь вы же видите, что у нас нет места,— немного раздраженно ответил Мотовилов.

В темноте заплакал ребенок. Незнакомый офицер неожиданно встал на колени, заговорил, сдерживая дрожь отчаяния:

— Умоляю вас ради бога, заклинаю всем святым, позвольте остаться у огня. Мы закоченели. Ребятишки совсем замерзают. В последней деревне никто, никто...— голос оборвался, офицер задрожал,— никто не пустил нас в избу. Боже мой, мы четвертые сутки под открытым небом, измучились вконец. Умоляю вас!

Мотовилов быстро встал.

— Что вы, что вы делаете? Встаньте сию же минуту. Оставайтесь, как-нибудь потеснимся. Где ваши дети?

Длинный черный тулуп и белая папаха с усилием поднялись с колен.

— Вот.

Дети, два трехлетних мальчика-близнеца, закутанные в меха, были втиснуты в большие переметные сумы, притороченные к седлу. Мотовилов помог офицеру снять их со спин лошадей. Детей и женщину положили к самому огню. Мальчики плакали.

— Молечка. Е-е-есть.

— Сейчас, сейчас, детки,— суетился около них отец.

— Коля, молоко в передке саней, в большом мешке.

Офицер стал раскалывать над котелком большой мерзлый круг молока.

В легких санках, с кучером на козлах, остановился у костра какой-то полковник.

— Какая часть? — громко крикнул он, не вылезая из саней.

Черноусов не торопясь ответил:

— 1-й N-ский полк.

— Сию же минуту очистите эту заимку, костер можете не тушить,— приказал полковник.

— Что-о-о? — сразу разозлился Мотовилов.— На каком основании? Кто вы такой?

— Я начальник У-ской дивизии. Сейчас подходят наши боевые части. Здесь будет первая линия. Красные совсем рядом. Ваш чин? — в свою очередь спросил полковник.

— Подпоручик.

— Так вот, подпоручик, потрудитесь немедленно исполнить мое приказание, иначе я вас арестую.

Мотовилов рассвирепел совершенно. Он не верил ни одному слову полковника. Он сразу догадался, что его хотят взять на испуг, воспользоваться хорошим, большим костром и заимкой, полной корма и хлеба.

— Хоть ты и полковник, а мерзавец,— отрезал подпоручик.

Полковник вскочил, подбежал к Мотовилову, задыхаясь от гнева.

— Молокосос, я сейчас прикажу тебя расстрелять за невыполнение боевого приказания. Ты ответишь за оскорбление штаб-офицера.

Мотовилов злорадно расхохотался.

— Ха-ха-ха! Расстрелять! Ловчила какой нашелся.

Дураков ищешь? На пушку взять хочешь? Не на таких иапал.

Полковиик затопал ногами.

— Замолчи! Вон отсюда сию же мннуту!

Мотовилов отчетливо сделал шаг вперед, размахнулся, ударил иачальника днвизии по лицу.

— Вот тебе, прохвосту, боевой приказ!

Полковиик качиулся всем телом вправо, едва удержался иа ногах. Подпоручик ловко виовь ударнл его, ткиул ногой в живот, сшиб под себя. Нагиувшись, с силой ударил лежащего в зубы н в нос.

— Подлец!

Полковиик уткиулся лицом в снег, заплакал громко, иавзрыд, слезами обиды и бессильиой злобы. Обмаиуть ие удалось.

— Набаловались, изнежнлись, негодян, в штабах сидя, так теперь и в тайге иамереваются за чужой счет устроить свою особу.

Полковннк, вздрагивая, выл, как побитая собака. В темиоте его не было видно. Обозы скрипелн, невидимые, ио живые н шумные.

— Пулеметчнки, ие отставай! — кричал кто-то.

— Не растягивайся! Подтяиись! Не отставай, пулеметчики!

Полковиик плакал. Кучер подошел к иему, нагиулся.

— Господин полковник, вставайте, поедем дальше.

Жеищииа грела в котелке молоко, разговаривала с мужем.

— Коля, когда же будет коиец этому кошмару? Будет лн когда-иибудь конец этой тайге?

Офицер тер сиегом себе щеки.

— Не знаю. Будет, конечно.

— Но выберемся ли мы? Ведь мы буквально докатились до последией черты. Ну смотри, что это такое? Подпоручик бьет полковника. Вчера иас обобрали свои же казаки. На ночевках в деревиях из квартнр друг друга штыкамн выбрасывают!

— Да,— неопределеино и равиодушио соглашался офицер.

Жеищииа мешала ложкой мерзлые комья молока.

— Ужас, смерть кругом. Красиые — смерть. Свои — грабеж, смерть. Крестьяне — тоже смерть. Ты слышал, что здесь на днях, в Ильинском, ночью сонных наших

солдат целую роту мужики топорами прямо у себя в избах зарубили?

— Слышал,— все с тем же безразличием отвечал офицер.

Женщина только что вышла из лазарета одного из ближайших оставленных городов. Ехала с мужем всего несколько сот верст, в обстановке страшного зимнего отхода — без квартир, почти без каких бы то ни было средств, без всякого порядка — еще не привыкла. Все поражало ее. Молчать ей было тяжело. Мотовилов вмешался в разговор.

— Вы, мадам, давно так едете?

Женщина обернулась к подпоручику. Мотовилов увидел лицо, красное с одной стороны, освещенное костром, темное — с другой. Получалось впечатление, что физиономия ее разрезана надвое. Красная, освещенная сторона, слегка обмороженная, сильно опухла.

— Нет, я с Новониколаевска только. Но довольно и этого. Ах, какой ужас, какой ужас! Вы знаете, что творилось при отходе из Новониколаевска?

Женщина обрадовалась новому собеседнику.

— Там разбили винный склад. Спирт был спущен в Обь. В прорубях он плавал толстым слоем поверх воды. Его растаскивали ведрами. Казаки напоили в прорубях лошадей, перепились сами. По улицам эта орава ехала с песнями, с руганью. Лошади у них лезли на тротуары, не слушались поводов, сталкивались с встречными проезжими. Казаки громили магазины, грабили частные квартиры. Офицеров своих эти негодяи перебили, обвинив их в проигрыше войны, даже в самом ее возникновении. Ах, кошмар!

Женщина затрясла головой. Мотовилов курил длинную грубую деревенскую трубку.

— Ну, я давно привык к этим фокусам казачков. Я вам скажу, что казаки, что жиды — один черт, самый подлый в мире народ. Как пограбить, на чужбинку проехаться — они тут как тут. До расплаты же только коснись, сейчас в кусты — я не я и лошадь не моя. Во время первых восстаний против советской власти они впереди — пороли, рубили, вешали, истязали, а как дело обертывается в другую сторону, так офицерам руки вяжут и к красным с повинной, с поклоном. Негодяи. Помню, проходили через ихние станицы, придираются на каждом шагу. Сучка брошенного не возьми у них —

сейчас в станичное управление, к атаману, мародерство, мол. А как сами идут мужицкими деревнями, так стон стоит от грабежа. Сволочь. Настоящие жиды, трусливые, как зайцы, и блудливые, как кошки.

Подъехало еще несколько саней. Завозились с распряжкой. Полный офицер среднего роста в английской шинели подошел к костру.

— Господа, разрешите у вас одну головню взять на разжигу?

Мотовилов позволил. Офицер нагнулся через лежащих солдат, железной лопаткой подхватил пылающий кусок дерева. Пара углей упала на шинель Фоме. Вестовой завозился, быстро смахнул угли с задымившейся материи.

Стрелки зябко прятали уши в воротники.

— Черт вас тут носит.

Над тайгой свистел ветер. Иглы деревьев звенели, как струны. Мороз был сильный. Отец и мать поили сыновей разогретым молоком. Дети, голодные, пили жадно, чмокая губами, кашляя, обливаясь теплой, вкусной жидкостью.

— Исцо, мама, исцо,— маленький человечек, закутанный с головы до ног, тянулся крохотными ручонками в пушистых рукавичках.

— Пей, пей, сынок.

Накормленные горячим, согревшись и молоком и у огня, ребятишки быстро уснули на меховом одеяле около груды горящих головешек. Мать с отцом сидели рядом. Женщина положила голову мужу на плечо. Глаза у обоих, усталые, широко раскрытые, почти неподвижные, казались мертвыми. Лица были раскалены докрасна яркими отблесками костра.

— Колик, милый Колик, надо скорее уехать куданибудь от этого кровавого безумия. Ведь есть же счастливые страны, где не льется кровь, где люди остались людьми, где живут мирно и тихо. Колик, я думаю, в Японии хорошо?

— Вероятно,— вяло согласился мужчина.

— Мы бы могли там устроиться. Я бы стала, оба мы стали бы работать. Хорошо. Там очень много солнца и море, говорят, ласковое, теплое.

— Вопрос весь в том, удастся ли выехать отсюда. Боюсь, что нас догонят красные или захватят партизаны.

— Нет, нет, я не хочу.

Женщина обняла офицера, прижалась ближе.

— Плен — смерть для моего Колика. У меня возьмут мою радость, мое счастье. Ведь если Мамонтову[1] попадешься, растерзает. Нет, нет, это невозможно. Лучше смерть, чем плен.

— Да, смерть лучше. Во всяком случае она ничуть не хуже, чем жизнь, вот эта наша, теперешняя.

Ребенок всхлипывал во сне. Слова любви и ласки в нежном голосе женщины, маленькие дети среди озлобленных, грубых, холодных, вшивых, грязных солдат и офицеров походили на цветы, распустившиеся на навозе.

— Колик, ты знаешь сегодня какая ночь? Какое число?

— Нет. Я не различаю теперь дней. Все одинаковы.

— Сегодня Новый год.

— Вон что,— офицер с горечью усмехнулся.

— Новый год.

— Знаешь, говорят, что, кто как встретит новый год, так и проживет его. Скверная примета. Колик, неужели это будет продолжаться еще целый год?

— Все равно.

Офицер стал дремать. Женщина не спускала больших остановившихся глаз с огня. У соседей с костром дело не ладилось, он не разгорался. Офицер в английской шинели снова подошел к N-цам, стал греть над огнем большой каравай белого хлеба, надетый на штык. Мотовилову не спалось, он скучал.

— Вы какой части? — спросил подпоручик незнакомого.

— Я подрывник,— уклончиво ответил тот.

— Ага! Аа-ах! — Мотовилов громко зевнул.

Скуки ради задал праздный вопрос:

— Ну, каково настроеньице у вас, коллега?

Английская шинель живо вертелась около огня, поворачивала хлеб.

— Представьте себе, несмотря на все, я чувствую себя превосходно. У меня появилась твердая уверенность, что наша неудача только временная.

Мотовилов, удивленный, поднял голову.

— Ну? — недоверчиво переспросил он.

— Да, да, я не шучу. Я даю голову на отсечение,

[1] Один из крупных вождей алтайских партизан.

что через полгода, много через год, милые сибирячки, так ратующие сейчас за красных, пойдут против них, с нами. Надо было нам давно пустить коммунистов в Сибирь. Без боев, сохранив армию, по крайней мере добровольческие части, отойти к границам Монголии и выждать там, пока здесь чалдонье познакомилось бы с разверсткой, с разнымн совдепскими моиополиями. Вот это было бы дело.

— Ну, а потом что?

— Потом известно что, сибирячки, познакомившись с советскими порядками, стали бы восставать, а мы бы стали наступать. Сибирячки-то ведь наши в душе-то, они только заблудились маленько. Вот тогда мы уж Сибирь захватили бы окончательно. Она бы послужила нам несокрушимой опорной базой для дальнейшей борьбы с Совдепией и по ту сторону Урала.

— Ну, а теперь?

— Теперь тоже ничего. Положение хоть и скверное, но не безнадежное. Мы проделаем то же самое, но только с меньшим количеством людей, но зато с наиболее стойкими. Мы подождем где-нибудь в Монголии. А отступая, будем пакостить красиым, елико возможно. Разрушим н железную дорогу, и фабрикн, и заводы. Должен вам сказать, у меня, как у подрывника, сердце радуется, как посмотришь, что мы за линию оставляем за собой. Ни одного живого моста. Нн большого, ни маленького. Снимаем стрелки. Жезловые аппараты. Телеграф. Телефон. Все к черту. Посмотрите, в эшелонах на платформах драгоценнейшне части уральских заводов. Везем и нх. Туго придется, взорвем. Не отдадим обратно. Я уверен, что мы так разгромим все на своем пути, что красные в десять лет не поправят.

Офицер снял хлеб со штыка, стал пробовать его.

— Вот это-то нам только и нужно. Разверстка, разруха как свалятся на шею тугоуму сибиряку, как уцепят его за горло железной петлей, тогда он взвоет. Тут-то мы и явимся. Чего, мол, господа хорошие, хотите: нас, грешных, нас, которые спасут вас, нлн комнссаров с голодной смертью вкупе. Выбирайте.

— А ведь это ндея.

— Еще бы. Погодите, будет н на нашей улице праздник.

Английская шинель пошла к своим, пропала в темноте. Обозы скрипели непрерывно.

— Не отставай, братцы!

— Не растягивайся!

— Понужай! Понужай!

Мотовилов заснул. Ночью мороз окреп. Ветер, не утихая, лез людям за воротники, в худые валенки, холодные сапоги, больно дергал за уши, за носы, хватался за щеки. Спали N-цы плохо. Костер все время поддерживали. Утром проснулись разбуженные ружейной трескотней, поднявшейся впереди, на дороге. Обоз остановился, метнулся обратно.

— Трах! Трах! Трах! Шшш! Шшш! — шумело эхо.

«Пустяки, никаких красных не может быть. Свои же, наверное»,— подумал Мотовилов.

Ребятишки плакали. Кончики маленьких носиков и щечки у них почернели. Вчера отец с матерью не заметили белых пятен, не оттерли. За ночь у костра в тепле началась гангрена. Муж и жена с тоской смотрели на детей. Женщина со страхом оглядывалась в сторону беспорядочной, нервной перестрелки.

— Трах! Шшш! Шшш! Трах!

Мотовилов с Фомой лопатами кидали горящие головни на стог соломы и на огромный зарод немолоченого хлеба. Хлеб вспыхнул, как порох. Барановский приподнялся в санях.

— Что такое? Что ты делаешь, Борис?

— Жгу хлеб,— коротко бросил офицер, торопясь с лопатой углей к избенке.

— Зачем это? Кому это нужно?

Мотовилов злобно огрызнулся:

— Пошел к черту! Нужно для дела нашей победы. Для всей России. Сожгу тысяч пять пудов пшеницы, по крайней мере пять тысяч коммунистов на месяц останутся без хлеба. Вот что.

— Какая ерунда! Дикость! У меня мать там. Может быть, ей из этого чего-нибудь достанется.

— Сопляк, замолчи. Слюнтяй! Лежи!

N-цы запрягли лошадей с быстротой пожарных. Муж и жена несколько секунд молча смотрели друг другу в глаза. У офицера тряслись губы. У женщины быстро капали слезы. Ребятишки плакали.

— Уа! Аа-а! Больна! Мама! Уа! Уа!

Мать, зарыдав, упала ничком в снег. Отец стремительно, с отчаянием выхватил револьвер, быстро нагнулся,

поднял за воротник маленького толстенького человечка, сорвал с него мягкую козью шапочку, отвернулся.

— Папа! Уа! Ага! Уа!

Ножонки в крохотных валеночках болтались в воздухе. Черный ствол, смазанный маслом, едва не выскользнул из дрожащей руки. Рукоятка по самый курок воткнулась в русую головку. Под рукой хрустнула тонкая корочка льда. Только вода потекла теплая и красная. Другого поднять не смог. Сил уже не было. Стукнул в лобик прямо на одеяле, на снегу. Хрустнула еще одна корочка. Ноги не слушались. Пришлось стать на колени. К жене подползти на четвереньках. Рука плясала. Рукоятка, намазанная теплым, густым и липким, прыгала в ледяных пальцах.

Чтобы не промахнуться, воткнул дуло в прическу. Опалил затылок. Снег покраснел. Но не мог же он сразу кругом стать таким красным. Наверно, он всегда был таким, и из туч, сверху, сыпались красные хлопья. Странно, что этого никто не замечал раньше. Высокая мушка завязла в волосах. Вырвал с усилием. После выстрела ствол все-таки был очень холодный. В висок не хотелось. Офицер распахнул шубу, поднял гимнастерку и рубаху, грязную, в серых, ползающих точках. Грудью накололся на маленький кусочек никелированного свинца. Удивительного в этом не было ничего. N-цы видели побольше. Хлеб и солома пылали. Избенка загоралась. Впереди красных не было. Морской батальон напал на сотню казаков, отобрал лошадей. Только и всего. Дорога стала чистой, пустой. Когда уезжали, где-то в селе били в набат. Далеко стояло, трепыхаясь, зарево. По привычке немного волновались. Набат с детства был знаком. Навстречу шли крестьяне. Пешком. Лошадей у них отобрали. Может быть, они подохли, заезженные. Сани на себе не потащишь. Но подреза — ценная вещь. Крестьяне тащили длинные, толстые железки. Было немного смешно. Кругом миллионы. А они чудаки с копейками. Не расстаются. Скопидомы.

У заимки вокруг другого потухшего соседнего костра все спали. Заснули навсегда. Костер потух давно. Английская шинель лежала, прижавшись к плюшевой дамской шубе. Черный плюшевый бок истлел. Случайный уголь. Дыра была большая, широкая. Темные, землистые, отмороженные пальцы торчали из ощерившегося сапога. Не нужно спать. Не давать тухнуть костру. Ведь валенки

были худые. Шинель вовсе не теплая. И шуба тоже.

N-цы ехали спокойно, шагом. Слева тянулась проволока телефона. На повороте ее держали два голых замерзших красноармейца, воткнутые ногами в снег. На одном богатырка краснела звездой.

— Ага, хоть мертвого, мерзавца, заставили служить в белой армии.

Мороз был очень сильный. Ветер не меньше.

— Карр! Карр!

Пара черных камней упала около потухшего костра.

— Каррр!

Один, поумнее, сел ребенку на голову. Теплый мозг легко глотается. Другой долбил глаза плюшевой шубы с котиковой шапочкой и горностаевой оторочкой. Глаза уже замерзли. Зато мозг как сейчас с плиты. Уж очень его много. И вкусен, вкусен. А сочен как. Красная подливка текла через черные жесткие зазубрины клюва. Чугунная птица спешила, давилась. Черные лохмотья закружились в воздухе.

— Карр! Карр!

Хватит всем. А костер совсем потух. Давно. Давно уж потух.

32. МЫ — ОБЛОМКИ СТАРОГО

На линии железной дороги у белых дела обстояли не лучше, чем в тайге. Весь путь, как мог только видеть глаз, был забит эшелонами, войсками, штабами, беженцами, продовольствием, интендантским имуществом, снаряжением, вооружением. По обеим сторонам рельсов, прямо на снегу, кучами валялось новое английское обмундирование в соломенной упаковке: белье, валенки, зимние английские шинели на меху с воротниками. Вороха обмундирования и белья перемешивались с горами ящиков с патронами, снарядами. Тут же валялись автомобили, аэропланы, орудия, туши мяса, мешки муки, сахару, бочки масла и трупы расстрелянных арестантов, которых некому и некогда было конвоировать, и их просто без суда и следствия убивали в вагонах, выбрасывали на полотно дороги.

N-цы, выйдя к железной дороге, принялись за нагрузку своего обоза. Грузили исключительно продовольствие, а обмундирование и белье сменяли тут же, забегая для переодевания по два, по три человека в будку стрелочни-

ка. Через несколько минут грязных,оборвавшихся N-цев нельзя было узнать. Все надели новенькие меховые шинели, папахи, теплые малахаи, сменили белье, валенки, шаровары, френчи. Оделись как с иголочки. Каптенармус роты Колпакова, увязывая большой воз, смотрел на дорогу и думал, что хорошо бы было все это добро свезти к себе домой, сложить в амбары, кладовки, запереть на замок, а потом понемногу, не торопясь расходовать.

«На всю бы жизнь хватило. И работать бы не надо,— мысленно высчитывал он.— Одного масла-то на сколько верст раскидано».

Завязав воз, жадный каптенармус побежал к эшелонам, рассчитывая найти там чего-нибудь поценнее. Но сколько он ни открывал брошенных вагонов, из каждого на него смотрели десятки замерзших стеклянных глаз мертвых солдат. Больные или раненые, они были оставлены в нетопленых товарных вагонах.

— Эк, народу-то сколько померло,— спокойно сказал каптенармус и повернулся к своему обозу.

Подъехали к станции. Мотовилов пошел в первый класс. Платформа была завалена трупами замерзших больных и раненых. Убирать их было некому, и они так и лежали, никому не нужные, всеми забытые. На концах платформы снег намел целые сугробы, и из-под них кое-где торчали руки, ноги или головы мертвецов. Тут же бродили и живые люди. Много было женщин в дорогих шубах и дохах, детей. На первом пути стоял огромный эшелон с беженцами. На кострах, рядом с вагонами, кипятились чайники и котелки. Офицер шел, иногда перешагивая через трупы, валяющиеся по дороге. Шел, не удивляясь, и спокойно думал, что в жизни всегда приходится шагать через трупы мертвых, замученных, павших в жестокой борьбе за существование. В зале первого класса была та же картина, с той только разницей, что там на полу были еще и живые люди, лежавшие вперемежку с мертвыми. Пол, диваны, стулья, столы, буфетная стойка были покрыты сплошной серой массой людей, копошившихся в страшной грязи, съедаемых паразитами. Все чесались, стонали, охали, курили, кашляли, плевали. Воздух был пропитан смрадом заживо гниющих тел и экскрементов тут же испражняющихся больных. Какой-то тифозный бредил:

— Красные, красные! Бежим! Бежим!

Офицер остановился в дверях. Ему хотелось получить

сведения о городе. Поискав глазами, к кому бы обратиться, Мотовилов тронул за плечо сидящего недалеко от входа на диване офицера в погонах капитана. Капитан качнулся всем телом вперед, стукнулся лицом об стол и диким, исступленным голосом стал молить о помощи:

— Братцы, помогите, смерть пришла. Смерть. Смерть. Смерть! — хрипло вырывалось из груди больного.

Мотовилов почувствовал себя нехорошо. Усатый человек с отупевшим, мутным взглядом, в фуражке железнодорожника, прошел мимо офицера.

— Послушайте, послушайте,— обрадовался тот живому человеку. Ему хотелось спросить о городе, но с языка сорвалось совсем другое.

— Что это у вас здесь такое?

— Сами видите,— равнодушно ответил железнодорожник.

Мотовилов догнал его:

— Скажите, почему это эшелоны все с паровозами под парами и стоят на месте? Почему бросают с поездов ценное имущество, патроны?

Железнодорожник разнервничался. Вопросы офицера показались ему наивными.

— Да что вы с неба, что ли, свалились?

— Нет, я из тайги выехал,— немного обидевшись, поправил Мотовилов.

— Стоят, потому что идти некуда. Весь путь забит до Иркутска. Бросают вещи, потому что шкуры свои спасают. Услышат где-нибудь стрельбу и, не разбираясь, что, как, почему, выскакивают из эшелона, бегут на несколько верст вперед. Увидят, что стоит поезд груженый под парами, что перед ним, может быть, верст на десять путь свободен, ну сейчас же выкидывают все из него, садятся сами, а машиниста заставляют ехать. Так вот и двигаются вперед, раскидывают свое добро.

— Едем в город,— сказал командир, подходя к своему батальону.

Выехали на тракт. По тракту бесконечной лентой тянулись подводы с больными. Мотовилов хотел переждать, пока пройдут все они, насчитал двести подвод и плюнул.

— Въезжай в середину,— приказал он своему кучеру.

Обоз больных был разорван. Санитары ругались, хотели силой выкинуть N-цев обратно, но те взялись за винтовки, и безоружные люди уступили вооруженным. Мотовилов ехал впереди батальона. Перед глазами у не-

го надоедливо мелькало лицо мертвеца, сидящего на последних санях. Мертвый солдат сидел спиной к лошади, высоко подняв голову, смотрел на небо стеклянными глазами, улыбался. Мотовилов отвертывался от неприятного соседа, но что-то тянуло глаза в его сторону, и офицер снова начинал смотреть на мертвеца. Подпоручика раздражало постоянное выражение лица трупа. Когда бы он ни взглянул на него, тот улыбался. Офицер подолгу вглядывался в лицо замерзшего — неизменная улыбка не сходила с мертвых губ. Мотовилов стал нервничать.

«Ну чего он смеется? Неужели ему было весело умирать? О чем он думал, когда испускал последний вздох?» — спрашивал себя офицер.

— Санитар,— крикнул Мотовилов,— у тебя умер один.. Выбрось его. Лошадям легче будет.

Санитар взглянул на труп, вскочил в сани и с усилием столкнул его на дорогу. Мертвец перестал улыбаться. Голова его глубоко ушла в снег. Мотовилов вздохнул с облегчением. Потом он видел, как санитары осматривали сани и сбрасывали в снег еще теплые тела. Дорога по обеим сторонам чернела пятнами людских и конских трупов, грудами разломанных саней и фургонов.

Было уже темно, когда N-цы приехали в город. На улице щелкали винтовочные выстрелы. Стреляли пьяные солдаты. Со стороны винного склада несся гул. Мотовилов решил запастись спиртом. У винного склада шумела пьяная толпа погромщиков, состоявшая из солдат и местных подонков. Офицер тщетно пытался пробраться в помещение склада, упругая масса тел отбрасывала его назад, как пробку.

— Батальон, в ружье,— скомандовал Мотовилов.

Заработали приклады. Дорога в склад была расчищена. Весь пол склада завален был бутылками и четвертями с водкой. Мотовилов ходил по ворохам вина, разыскивал спирт, но его почти весь растащили. Офицер нашел всего только две бутылки. В подвал набивались непрерывно. В бутылках рылись жадно, как собаки в падали. Друг на друга косились, ругались. Каждый хотел набрать больше. Погромщики орали около склада, накидывались на выходящих из подвала с вином, отнимали у них бутылки, вступая из-за добычи в драку, пускали в ход все, что попадалось под руку. Два солдата сцепились из-за спирта со злобной руганью. Один из них, пониже ростом, размахнулся выхваченной бутылкой и ударил своего

противника по щеке. Разбитое стекло глубоко врезалось в лицо высокому, и кровь со спиртом потекла на шинель.

— На вот тебе, орясина долговязая. Не тебе и не мне. Никому не обидно,— крикнул маленький и стал энергично прокладывать себе дорогу в склад.

Рев толпы смешивался со звоном разбитой посуды и редкими хлопками выстрелов. Люди, как озверелые, лезли в двери склада.

— Ну, ребята, довольно,— крикнул Мотовилов и, вытащив револьвер, пошел к выходу.

Пьяные, перекошенные физиономии торопливо шарахались от черного длинного нагана, давали дорогу. Набрав вина, Мотовилов повернул к центру города, думая найти там квартиру. Навстречу попадались местные жители, сгибавшиеся под тяжестью тюков с обмундированием, везшие на салазках бочки с маслом, мануфактуру.

— Господин поручик, надо взять матерьялов, годится дорогой-то на хлеб менять,— напомнил командиру Фома.

— Верно, Фомушка. Молодец! Как приедем в деревню да разложим там товары красные, так все девки, бабы наши будут. Айда, ребята, гони к интендантскому.

Мотовилов успел уже выпить, поэтому был весел. Около интендантского склада бурлила толпа громил, пьяных жаждой наживы. Особенно старались местные жители, надрывавшиеся под тяжестью награбленного. Мотовилов сам не пошел в склад, послал туда каптенармуса и фельдфебеля с солдатами. Какая-то старуха еле волокла по снегу несколько связанных вместе кусков сукна.

— Ой, батюшка, помоги на спину подиять,— обратилась она к офицеру.

Голос старухи дрожал и срывался. Дышала она тяжело.

— Ой, замучилась, еле вытащила. Ребятишки у меня, у дочери, голые. Ой, нужда, одеть нечего.

Мотовилов засмеялся:

— Ай да бабуся, тащи, тащи. Это дело хорошее. По крайней мере красным не останется. А ну, давай я помогу тебе!

Офицер легко положил увесистый тюк старухе на спину. Старуха пригнулась совсем к земле и тихо пошла по улице, благодаря за помощь.

— Ну, спасибо тебе, батюшка, дай бог тебе доброго здоровья.

Каптенармус снял. Мануфактуры в складе было мно-

го, и он брал для батальона, на выбор, лучшие материи. N-цы складывали себе в сани куски тонкого сукна, диагонали, циделевского сатинета, батиста, бумазеи и шелка. Солдаты сверх шинелей надели новенькие непромокаемые плащи, попавшиеся им в этом же складе.

— Эх, только при отступлении оделись как следует. Что раньше бывало!.. На фронте оборванцами ходили. Когда мы через Белую переправлялись, красные так и команду подавали: «По оборванцам часто начинай», — вспомнил Фома.

— А все оттого, что измена кругом. Видишь ты, добро какое в складах держали, а нам чего давали? Английское обмундирование только в Утином выдали. Вон уж когда, — рассуждал вестовой.

Нагрузив мануфактуры, батальон пошел искать себе квартиры. Расположились в большом доме богатого купца, бежавшего на восток. Дом был брошен на прислугу. Мотовилов в шубе и в валенках прошел прямо в гостиную, не раздеваясь сел на мягкое кресло. Фома положил Барановского в соседней комнате на широкий турецкий диван, заботливо укрыв дохами.

— Фомушка, — увидел его Мотовилов, — в разведку насчет всего этого и прочего. Чтобы ужин был на ять.

— Слушаюсь, господин поручик.

Вошел фельдфебель почти пьяный и, приложив руку к виску, хотя и был без шапки, доложил:

— Так што, господин поручик, там две барыни-беженки и офицер с ними, просятся ночевать. Ух, одна барыня и хороша!

Фельдфебель, сладко зажмурившись, затряс головой. Мотовилов обрадовался.

— Проси, проси скорей.

Офицер оказался однокашником Мотовилова, это был кавказец Рагимов. Старые знакомые заключили друг друга в объятия.

— Ну, как живем, дюша мой? — спрашивал Рагимов, отряхивая снег с папахи.

— Да, стой, — спохватился он, — забыл тебе представить моих дам. Это вот Амалия Карловна фон Бодэ, жена капитана генерального штаба, — говорил Рагимов, подводя Мотовилова к полной блондинке. — А это Александра Павловна Бутова, супруга некоего фабриканта, в Японию преблагополучно удравшего. Прошу любить да жаловать!

Мотовилов расшаркался. Дамы, решив привести в порядок свои туалеты, удалились в соседнюю комнату. Офицеры остались вдвоем. Рагимов снял шубу.

— Да ты уже поручик? — удивился Мотовилов, — И, кажется, Георгиевский кавалер? — дрогнувшим голосом спросил он. В его душе зашевелилось неприятное чувство зависти.

— Как же, как же, дюша мой. Я у красных батарею отнял. Ну, Колчак нам звезда третий давал и крест. Мы человек кавказский, резать много любим. Отчаянный народ!

Рагимов самодовольно щелкнул языком. Мотовилова мучила зависть. Ему было досадно, что он, сын гвардии полковника, кадет, окончивший корпус вице-унтер-офицером, а училище старшим портупеем, служивший в славной N-ской дивизии, ничего не имеет, а вот выскочка Рагимов успел и чин и Георгия схватить.

«Хоть бы мне Владимира иметь, и то хорошо. Шикарный крестик, красный, как кровь, с мечами и черно-малиновым бантом», — бродили у него в голове честолюбивые мысли.

— Ну, а это что за дамы с тобой? — Мотовилов перевел разговор на другую тему.

— Одна — Амалия Карловна, жена нашего начальника штаба, моя любовница. Другая — Александра Павловна, брошенная своим мужем жена, особа скучающая. Можешь заняться ею. Познакомился я с ними потому, что ехали в одном эшелоне, даже в одном вагоне. Ехали мы так, ехали, да в один прекрасный день красные кавалеристы наскочили на нас. Конечно, можно бы было отстреляться. Мужчины у нас в эшелоне и военные, и не военные — все были вооружены. Ну, выскочили мы из эшелона, постреляли, постреляли, смотрим, а наши купчики и другие удирающие субчики уже пятки смазывают. Пришлось и нам. Хорошо, деревня была близко. В первом же дворе я достал подводу да вот с дамами-то и ускакал. Ну, вот тебе и все, — закончил Рагимов.

Вошел Фома.

— Так что, господин поручик, достал кое-чего.

— Где, Фомушка?

— Варенье у хозяев нашлось, да мы еще тут съездили с Иваном на Большую улицу, там солдаты магазины разбили, так мы конфет набрали, вина сладкого, меду, сыру, колбасы.

— Молодец, Фома. Назначаю тебя старшим вестовым.

— Покорнейше благодарю, господин поручик.

— А ты почему думаешь, что вино-то сладкое?

— Да мы попробовали маленько, — ухмылялся Фома.

— Ну, ладно. Теперь пулей, Фомушка, в кухню и насчет ужина.

Вошли дамы. Завязался общий разговор. Говорили на тему о том, куда ехать и стоит ли вообще дальше ехать. Фома накрывал на стол. Рагимов говорил, что дальше он не поедет, что он остается здесь и сдастся красным. Мотовилов удивился:

— Как, ты, поручик, Георгиевский кавалер, хочешь сдаться в плен?

— Э, дюша мой, довольно. Мы воевали. Честно рэзали. Наша не бэрет. Пойдем к тем, чья бэрет.

— Но ведь это же подло, Рагимов. Это недостойно офицера.

— К чему громкие слова, Борис, «подло, нечестно, непатриотично». Помнишь, ты в училище еще развивал теории о том, что жить будет только сильный, что жизнь — борьба. Ну, вот я и борюсь за свою шкуру, но не как все, с красивыми фразами долга перед родиной или революцией, под гром литавров, с развевающимися знаменами. Нет, я более откровенен. По-моему, и родина, и революция — просто красивая ложь, которой люди прикрывают свои шкурные интересы. Уж так люди устроены, что какую бы подлость они ни сделали, всегда найдут себе оправдание. Капиталист гнет рабочих в бараний рог, выжимает из них пот и кровь, а сам кричит, что это он делает для блага родины, во имя закона и порядка, которые он сам сочинил и установил для обеспечения своего кармана. Большевики объявили священную войну буржуазии всего мира и кричат, что подняли знамя социальной революции. К черту знамена и революции! Не лучше ли просто сказать: идем душить буржуев, потому что если мы их не передушим, то они одних из нас с кашей слопают, а из других масло будут пахтать. Я, брат, не буржуй и не пролетарий. Я — среднее. И для меня безразлично: у буржуя служить или у пролетария, у белых, у красных, у черных, у зеленых. Я буду работать одинаково добросовестно и черту и богу, лишь бы платили хорошо да предоставили соответствующие жизненные удобства. Я торгую своими знания-

ми. В них все нуждаются — и красиые н белые. Служнл я у белых, был поручнком, иоснл погоны с тремя звездамн, был команднром батальоиа. Теперь белой армни скоро не будет. Я перейду к красным, иашью себе трн квадратика н тоже буду командовать батальоном. Раньше я лупнл красных н, как вндншь, хорошо лупнл (Рагимов показал на свой беленькнй крестнк). Теперь я буду лупнть белых. Хорошо буду лупнть. Попадись ты мне в бою, не пощажу.

— Ты какое-то чудовнще, Рагнмов.

— Э, опять громкне фразы. Я тебе говорю, что меия совершенно не ннтересует то, кто будет мне платнть, лишь бы платнлн. Мне безразлнчно, кто сидит иа троне: царь в короне нлн Леннн в кепке.

Дамы со скучающнмн лицамн едва поддержнвалн разговор. Обе онн былн настроены непрнмнрнмо. Фон Бодэ трясла своей маленькой головкой н говорила, что она инкогда не согласнтся жнть в Советской Росснн.

— Я не плебейка. Я получнла хорошее воспнтаине. Я ие могу жнть с этимн мужнками. Я ие могу себе представнть, как пережила бы я этот ужас уннження, когда вас наснльно заставляют работать. Заставляют делать самую грязную работу. Фн!

Немка брезглнво передернула плечамн.

— Да, да, в Совдепнн так, —подтверднла Бутова. — Там заставляют работать поголовно всех. Да и к тому же отбнрают все ваше нмущество, иакопленное и приобретенное вамн с такнм трудом. Нет, благодарю покорно, ннщей быть, с сумой ходнть я не иамерена. И меня просто удnвляет, как это мосье Рагимов думает, что он хорошо будет жнть у красных.

Мотовнлов, заметнв, что дамы скучают, стал угощать их внном. Дамы ожнвнлнсь н весьма охотно взялнсь за рюмочки с кюрасо. Бутова томно смотрела на Мотовнлова и говорнла, что она ужасно скучает, что ее мучит одиночество, что она потеряла надежду увндеть своего мужа. Офнцер усилениo налнвал ей в рюмку крепкое вниo и говорнл общне утешнтельные фразы о том, что скоро все переменнтся, что скоро придут японцы н от большевиков только мокро остается. Говорнл, что вообще теперь не стонт много думать, а иадо жнть просто, без рассужденнй, и еслн случнтся средн месяцев тоски н скуки веселый день, хорошая встреча, то надо нспользовать их вовсю.

— Счастье так мимолетно, так коротко. Его нужно ловить, — убеждал Мотовилов.

Бутова смотрела на смуглое энергичное лицо офицера, на его крутой упрямый лоб и думала:

«А он недурен и неглуп».

Рагимов пил жадно, наливая себе рюмку за рюмкой английской горькой. Амалия Карловна подняла бокал:

Да здравствует веселье,
Да здравствует вино,
Кто пьет его с похмелья,
Тот делает умно!

Барановский пришел в сознание.

— Фомушка, где ты? — позвал он вестового.

Мотовилов услышал, подошел к больному.

— Ну что, Ваня, лучше тебе?

Больной отрицательно покачал головой.

— Ты не встанешь к столу? У нас Рагимов. Сегодня встретились случайно.

— А, Рагимов, — безразлично как-то вспомнил Барановский и добавил: — Нет, не могу. Слабость, сил совсем нет. Ты лучше дай мне сюда чего-нибудь поесть.

— Фома, — крикнул Мотовилов и, когда вестовой вошел, сказал: — Дай своему командиру поесть.

Фома обрадовался.

— Вы очнулись, господин поручик? — обратился он к Барановскому.

Офицер слабо улыбнулся:

— Очнулся, Фомушка, очнулся.

— Ну, слава богу, сейчас я вам дам поесть.

Мотовилов налил большую рюмку мадеры и сам принес ее больному.

— Выпей, Ваня, лучше будет.

Барановский выпил и попросил еще. Фомушка поставил перед больным тарелку бульона, сухари и бутерброд с сыром и маслом. Барановский поел с аппетитом. Ослабевшее сердце, поддержанное двумя рюмками мадеры, заработало сильней.

— Фомушка, сядь около меня, — попросил офицер.

Вестовой сел.

— Ну, расскажи, Фомушка, чего нового есть у вас.

— Хорошего мало, господин поручик. Все едем. Отступаем. О японцах чего-то не слыхать, а до Семенова вряд ли дойдем. Говорят, что Красноярск занят красными партизанами и будто бы белых на их сторону

много перешло и все они вместе задерживают и разоружают обозы.

— Чем скорее, тем лучше, Фомушка. Ну, попадем к красным, что-нибудь одно: либо расстреляют, либо в тюрьму посадят. По крайней мере будем знать, что все кончено, что завтра ехать никуда не нужно, что за тобой никто не гонится.

— Господин поручик, а за что же мы воевали? Неужто все труды наши прахом пойдут и нам придется красным подчиняться? Да разве с ними уживешься?

— Уживешься, Фомушка. С настоящими красными уживешься. Ты, Фомушка, не видел еще их хороших-то. У вас на заводе были не красные, а так, дрянь разная, которую они потом сами и расстреляли. Настоящие красные — люди нового мира, и никогда старому, прогнившему не победить их. Мы с тобой — обломки старого, мы люди обреченные, конченые. Мы неизбежно должны погибнуть и погибнем. Да, Фомушка, были у вас на заводе какие-то негодяи, выдавали себя за красных, обижали вас. Вы их прогнали легко и быстро, а пришли настоящие красные и погнали вас. Нет, не победить нам.

Фома огорченно говорил:

— Вы говорите: мы — старый мир, а мы вовсе не за старый режим шли, мы за Учредительное собрание, за народную власть.

Барановский улыбнулся. Амалия Карловна пела:

Пускай умрем мы.
Эко диво!
Ведь умирали раньше нас.
Жизнь так превратна,
Так бурлива,
Что смерти жди ты каждый час.

Мотовилов, Рагимов и Александра Павловна вторили:

Нальем, друзья, бокалы полнее,
И будем мы так чаще пить.
С вином ведь кровь кипит сильнее,
С вином нам как-то легче жить.

— Вот в том-то и дело, Фомушка, что красное знамя-то у вас было, да вам его Колчак на полосатое, георгиевское сменил. Восстали-то вы за народную власть, а стали защищать не народную, а адмиральскую. Обманули вас, Фомушка. Вашими руками чужие дяденьки для себя каштаны из костра вытаскивали.

— Что же делать нам, господин поручик? Воевать

не за что, бежать некуда, в плен не возьмут, — со слезами в голосе говорил вестовой.

— Поедем дальше, Фомушка, а там будь что будет.

Рагимов был почти пьян. Тяжело ворочая языком, он говорил Мотовилову:

— Да, Борис, живут и побеждают только сильные. Я иду к сильным. Белая армия летит в пропасть — скатертью дорога. Со своей стороны я не прочь дать ей пинка под спину, чтобы заслужить расположение победителей. Я держусь принципа: падающего толкни.

Мотовилов не слушал, занятый флиртом с Бутовой. Рагимов встал со стула и, стуча себе в грудь кулаком, декламировал:

Я комиссар,
В груди пожар!
Я комиссар,
В груди пожар!

Бутова была пьяна. Мотовилов, сидя рядом с ней, обнимал ее за талию и целовал долгими, горячими поцелуями высокую белую грудь, полуобнаженную глубоким вырезом кофточки. Александра Павловна смеялась и трепала офицера за волосы.

— Нехороший шалун. Что он делает? — как маленькому ребенку, говорила она Мотовилову.

Амалия Карловна смотрела на Рагимова горящими, зовущими глазами. Рагимов сел и начал расстегивать у нее кофточку. В комнате стало душно.

33. ЛУЧШЕ Я САМ СЕБЯ

Стекла зазвенели в окнах

Мотовилов проснулся. Бутова, разметавшись, спокойно спала на диване. Предутренний свет, смотревший в окна, серыми пятнами освещал ее усталое лицо с большими черными кругами у глаз. Одеяло свалилось со спящей, и она лежала раздетая, в белой ночной сорочке без рукавов, с большим вырезом на груди. Мотовилов сел на постели. Белый мрамор рук и груди Бутовой красиво оттенялся локонами иссиня-черных кудрей. Офицер, привстав с постели, нагнулся, хотел поцеловать высокую, упругую грудь женщины, но вдруг быстро выпрямился, задрожал от брезгливости. По белой атласной коже Бутовой, по ее кружевной сорочке медленно пол-

зали жирные грязно-серые насекомые. Стрельба в городе усиливалась. Мотовилов прислушался и уловил привычным ухом характерную двустороннюю трескотню винтовок.

— Восстание, — вслух сказал он и встал.

Барановский кричал:

— Фомушка, запрягайте скорей.

Вскочив с дивана и потеряв сознание, забормотал в бреду:

— Япония! Япония! Ура! Мы спасены! Япония! Япония!

Мотовилов с презрением посмотрел в сторону больного.

— Как противны мне такие людишки, как презираю я этих мягкотелых неженок. Они палец о палец не ударят, все философствуют. То нехорошо, это нехорошо, это подло. Мотовилов, по-ихнему, грабитель, мародер, а сами преспокойно кушают награбленное им. Красные, по-ихнему, хороши, но перебежать на их сторону открыто и смело они боятся или, может быть, просто рассуждают, что, мол, плыви мой челн по воле волн. И живут ведь так, плавают без руля и без ветрил по бурливому океану жизни, сами не зная, что им нужно. Ведь вот прохвост Рагимов знает, что ему нужно. Я тоже знаю, что мне нужно. А он что? А они что? — обернулся офицер к Барановскому. — Живые трупы. Разве победишь с ними? Разве они способны бороться? Будь они прокляты, эти мягкотелые нытики. В общем, черт с ними.

Мотовилов был нетрезв, мысль его работала скачками.

— Как жаль, что все так скверно кончилось. Красноярск в руках красных партизан. Вся Сибирь горит огнем восстаний. Путь отступления отрезан. Ну что же, конец так конец. Уж лучше я сам себя убью, чем эта сволочь.

Офицер вытащил револьвер. Бутова взвизгнула и полуодетая побежала из комнаты.

Все плыло, как в тумане, перед глазами подпоручика. В голове надоедливо вертелось четверостишие:

Каждый, жизнь целуя в губы,
Должен должное платить
И без жалоб, стиснув зубы,
Должен молча уходить.

«Мой отец, гвардии полковник Мотовилов, честно

сложил свою голову за веру, царя и отечество на полях Галиции. Сын гвардии полковника Мотовилова, подпоручик Мотовилов, хочет быть достойным своего отца. Подпоручик Мотовилов в плен не сдастся, сапоги у красной жидовни лизать не будет. Предоставляю сделать это вам, подпоручик Барановский, когда партизаны схватят вас, как куренка, за шиворот».

Офицер злобно засмеялся, подошел к больному, грубо толкнул его ногой в бок.

— Смотри, ты, размазня. Старая гвардия умирает, но не сдается.

Мотовилов вложил дуло револьвера себе в рот. Холодная железка стукнула по зубам. Язык брезгливо дернулся, лизнув масляную смазку. Серо-красный сгусток мозга и крови прилип к стене.

N-цы под командой фельдфебеля уходили из города. Фома был очень удивлен, когда увидел в толпе восставших поручика с Георгием, но уже без погон и креста, с красным бантом во всю грудь. Рагимов носился по пестрой толпе солдат и рабочих, командовал, распоряжался, стрелял в отступавших N-цев, кричал:

— Товарищи, смелее! Вперед! Белые банды бегут.

N-цы, погоняя лошадей, отстреливаясь, выскочили из города. Фоме пуля пробила мякоть ноги, пониже колена. Он сидел на санях рядом с Барановским и перевязывал себе рану. Ехали быстро. Как страшные вехи, трупы солдат и лошадей чернели на пути отступления. С боковых дорог выходили на тракт все новые и новые бесконечные вереницы обозов. Подул ветерок, поднимая столбы мелкого, легкого снега. Стало холодней. N-цы закутались в воротники своих шинелей. Снег начал падать и сверху. Обозы шли. Тайга молчала.

34. ЕСТЬ У НАС ЛЕГЕНДЫ, СКАЗКИ

Красные вагоны, оклеенные снежной бумагой, молчали. Ветер, присвистывая, белой метлой скреб полотно дороги, заметал, путал блестящие нитки рельсов. Черный паровоз нахватал полные глаза легкой, холодной пыли. Отфыркивался. Железная рука семафора загораживала путь. Красный, с закопченной головой, курил из огромной трубки, пуская клубы дыма, зяб в двух верстах от станции.

Генерального штаба генерал-майор Ватагин хорошо знал, что если чехи его возьмут в свой эшелон, то он спасен. Генерал шел к длинному составу пешком, через снежное поле, вяз по пояс, задыхался, потел. Усталости не было. Смерть сильнее. Она пожаром полыхала за спиной. Ватагин не думал о месте в жаркой теплушке. Огромное счастье попасть на тормоз. Руки в рваных перчатках вцепились в холодное железо. Высокие ступеньки четко встали перед лицом. Сейчас. Нет. Белый, мохнатый загородил дорогу.

— Куда! Нельзя!

— Ради бога.

— Пшоль!

— Я генерального штаба. Я генерал.

— Генерал, зачем бежишь? Боишься драться, русск свинья. Тебе бы чех все делаль. Пшоль!

— Красные рядом! Спасите! Умоляю! Христа ради.

Над головой изогнулась черная короткая змея.

— Нагайкой хочишь?

— А-а-а! А-а-а!

— Пшоль!

Снег оказался очень жестким. Больно стукнул по затылку. Хотя это неважно. Лежать можно было свободно. Генерал вытянулся вдоль рельсов вверх лицом. Белый, мохнатый чех на тормозе ничего не видел. Паровоз только фыркал, отплевывался и курил. Острая бритва раскаленной железкой закраснела вдоль длинного бока поезда, колющими искрами брызнула в тонкие доски. Обожгла. Тараканами от света метнулись наружу. Свинцовый кипяток свистнул над головами, ошпарил. Корчиться стали, кувыркаться. В плен взяли только раненых. Много было женщин. Они хотели с мужьями уехать в Чехию. Разбирать некогда.

Спирька Хлебников стал обшаривать карманы. Клочков полез в вагон. Красноармейцы раздевали убитых. Вольнобаев покачивал головой.

— Эх, бабья-то сколько наклали.

Женщины лежали все вместе, кучей. Их было не меньше сотни.

Чехи заторопились домой. С русскими не считались. Отбирали у них паровозы, выкидывали из поездов. Что русские? Красные ведь тоже русские и белые русские. Русские с русскими разберутся. Скорее. Домой. Бежали на восток, путались в стальной паутине дороги, вязли

в снегу. Нет времени отойти спокойно. Красные молнии мечутся по бокам. И впереди. Да, они уже далеко впереди. Может быть, придется пойти на соглашение. Поклониться есть чем. Бросить красным подачку. Его, самого главного. Он со своим поездом задыхается тут же. Вот хорошо. Его. Надо иметь в виду.

Богдана Павлу сменил новый консул, доктор Гирс. Дальновидный. Начал заигрывать с земцами. А его что? Его надо придерживать на всякий случай. И пускать вперед и не пускать.

Он волновался. Весь эшелон его нервничал. Вызывали чехов для объяснений. Они были любезны, но отвечали уклончиво.

В столовой салон-вагона он говорил с майором Вейроста.

— Майор, я прошу вас не задерживать мой поезд. Говорят, что красные близко. Дамы нервничают. Надеюсь, не задержите.

Чех предупредительно улыбался, кивал головой.

— Конечно, я сделаю все, что в моей власти.

Колчак сердился, но был бессилен.

— Но, майор, это не ответ. Я прошу вас сказать мне определенно, когда будет отправлен наш поезд?

Дамы готовы были расплакаться. Они сидели за столом. Тут же. Майор Вейроста повертывал холеное лицо к нему, к присутствующим. Немного странно, что ему не верили. Разве чешский офицер будет лгать.

— Не беспокойтесь, ваш поезд будет отправлен при первой возможности.

У Колчака бритое лицо, распаханное летами, седеющая голова. Сухие крепкие пальцы комкали салфетку. Взгляд тяжело упал на жирную белую щеку майора.

— А, наконец, я не понимаю вас. Тогда говорите прямо, что надежды на наше немедленное отправление нет. Так?

Вейроста верен себе. Точно исполняет предписание своего начальства.

— Мы сделаем все возможное.

Больше терпеть невозможно. Чех просто издевается. Диктатор горд. Едва кивнул майору. Обед оставил. Вышел. Заперся в своем купе. Тяжелые плюшевые диваны мешали. Душно. Неужели конец? Власть, конечно, ушла из рук. Но жизнь? И она разве? Адмирал видел смерть не раз. Та была бледная, белая. Встречал ее

епокойио. Не троиула. Теперь другая. Красная. Страшиа. Как раиьше ие замечал, что оиа неизбежиа. Ее ие прогонншь. С кем? Кто поможет? Порядка не было. Людей иет и не было. Никто не слушался. Всякий свое. О России ие думали. О себе. Только. Ну кто, кто оии? На пружииах мягко. Глаза иадо закрыть. Вот можно вспомнить... Атамаи Анненков не хотел даже дать сведеиий, сколько у него штыков. Грубый. Не вы мне дали нх, не вам и считать. Партизанщииа. И сейчас тоже. Чехн о себе. Железиодорожннки требуют взяток. Давал много. Обещают. Потом обмаиывают. Не отправляют. Эшелон стонт. Никто не слушается... Рядом кто стоял? Иван Михайлович. Мальчик с вниду, в душе чериый. Сил миого. Но авантюрнст... Пепеляев, Виктор Николаевич. Тоже еще у кадетов в цека. Недалек, ограннчеи, хотя и прямолинеен... Вологодский — старая шляпа... Старыикевич — хитрый нуда. Продал свою партию с областной думой и уфимское совещание. За власть отдаст все. И себя. Россню, безусловио... Георгий Гинс... Кто его знает, не то целует он, не то яду сыплет тебе в стакан... Тольберг... Проиыра... Людей нет. Зачем было ввязываться в это дело? Хорошо, один откажется, другой откажется. Кому-иибудь иадо же Россию спасать. Накоиец, это нечестио. Ну вот и пошел. Ввязался.

За окиом плясала метель. Мерзлымн космамн жестких волос шлепала по стеклу. Смеркалось. Ехидиая рожа Гайды. Нет покоя.

«Да, ваше высокопревосходнтельство, уметь управлять кораблем — это еще не значит уметь управлять всей Россией».

И вот хватнло иаглостн у человека. Прямо в глаза так н вылепил. Хотя иемиого он прав. Сделать миогого ие сумелн. Взять, напрнмер, Осведверх. Агнтация. Кому она иа руку только? Да. Лучше, безусловно, ие думать об этом. На этот случай хорош профессор Болдырев. О философии хорошо толкует. Одиому страшио. Бархатиые мягкие диваиы давят. Как могильные плнты. Воздуха совсем иет. И тесиота ужасиая.

Пришел профессор. Зажгли огоиь. Метель все равио пялила в окно свою белую рожу н косматую грнву. Ну ее. Профессор вздумал тоже говорить об этом. Какой несносный. Не просили же его об этом. Остаиовить иеловко. Говорнт.

— Положенне нашей армии таково, что не только на

победу — надежды нет иа простую остаиовку фроита. Мы в полосе заговоров и восстанний. Но эсеры не выступят, потому что они однн бессньльиы. Опасны они тем, что могут войти в соглашение с чехамн, которым аиархия мешает эвакунроваться. Эсеры и меньшевики не страшны, только их участне в оппознцни плюс для красных н мниус для правнтельства. Кадеты бессильны. Промышлеиинкн и бнржевнкн откололнсь и раскололнсь. Однх отталкнвает иепрнмнримость по отношенню к Семенову, других — полнтнка по отношенню к япоио-русским делам. А кольцо восстаний все сужнвается. Города и земства открыто говорят о борьбе. Настроенне военных паинческое. Настроение обывателя равиодушно-озлоблеииое.

Довольно об этом. Есть мыслн, которые живут вне времеин и пространства. Чнстые мысли. Жить иадо нми. Этого касаться не надо.

В столовой старуха Рор говорила с полиой брюиеткой:

— Я не поннмаю, почему онн так ненавндят иас? Почему онн гоият нас, почему отобрали у иас дома, все нмущество? Ведь это же грабеж. Все, что мы имели, досталось нам с мужем от моего отца после его смерти. Отец прнобрел все честиым трудом. Я не поннмаю, в чем моя внна перед нимн. За всю жизнь я ннкому ие сделала зла. Я со всеми была вежлнва н даже прнслуге инкогда ие говорнла «ты». Я всегда участвовала во всех благотворнтельных базарах в пользу бедных.

Старуха с иегодованнем пожнмала плечами. Брюиетка соглашалась:

— Ах, это ужасно, ужасно. И вы зиаете, эти зверн ие щадят ннкого. Они не счнтаются с тем, сделалн лн вы нм что плохое нлн нет.

— Ужасио! Ужасно!

По бокам дорогн, вдоль всей линии, ползли обозы. Больиые, здоровые, раненые, жнвые и мертвые. Вшивые, голодные.

— Нет, лучше не будем говорнть об этом. Мие хочется закрыть все шторы, чтобы не вндеть этого кошмара, этнх мук нашей бедной армнн.

Брюиетка закрыла лнцо рукамн. Пальцы атласные, с кольцами. Сквозь ннх не видно.

— Да, да, не будем говорнть об этом. Может быть, даст бог, все устронтся.

Ротмистр Беков всегда выручал. Веселый человек.

Кавказский. Огонь. Кинжал в серебре. Пояс. Строен. Ловок. Патроны на груди. Глаза огромные, черные. Нос хорош. Усы. Зубы — две пластинки. Белые-белые. Сапожки мягкие. Ноги быстрые, легкие.

Эх! Есть у нас легенды, сказки, сказки,
Обычай наш кавказский, кавказский.

Прыгает ротмистр по ковру. Машет кинжалом. Гнет тонкую талию.

Есть у нас легенды, сказки, сказки.

Он уже плывет. Едва ступает. Кинжал сверкает. Выхватил другой. Поменьше. Сталь звенит.

Есть у нас легенды, сказки, сказки.

Дамы улыбались. И старуха красавица Рор и брюнетка. И женщина в лисьем горжете с двухлетней девочкой. Их много было там. Это было уж ночью. Обозы остановились, жгли костры. Мерзли у огня. Вши ужасно надоели. Назойливое зарево кровью мочило шторы. Нечего обращать внимание. Думать не надо. У костров грызли черствый, мерзлый хлеб. Спали сидя. К чему все это? Когда «есть у нас легенды, сказки».

Ротмистр устал. Девочка попросила апельсин. Офицер бросился к себе в купе. У него много апельсинов. Он умеет доставать. У чехов.

— Тебе очистить?

— Я сама.

— Ну, ну.

— Шоколаду, может быть, хочешь, крошка?

— Хоцю.

— На вот, кушай.

Сам вышел проститься. Он был очень вежлив. Адмиральские погоны совсем еще новенькие. Орлы на них черные. И куртка черная. По-английски любил он говорить. Знал хорошо.

— Покойной ночи.

Очень мило. Обязательно чего-нибудь добавит. Какое-нибудь пожелание.

— Бог поможет — все будет хорошо.

Говорил так. Думал иначе. О чехах, о чехах. Ненавидел их он.

«Чехи на фронт не пойдут, хоть плати им платиной вместо золота, потому что они, во-первых, сволочь и

трусы, во-вторых, достаточно награбили и дорожат своей шкурой, торопятся домой. Голове тяжело. Уснуть, пожалуй. Думать не стоит».

— Покойной ночи.

Шторы в окнах плотно закрыты. Полусвет. Тепло. Уютно. Чисто. Почему-то только вот обитые бархатом диваны давят, как могильные плиты. Ничего подобного в действительности нет, конечно. Это только так кажется. А кровь в окнах? Об этом не надо говорить. Не надо замечать. Ротмистр очень мил. Неутомим.

Есть у нас легенды, сказки, сказки.
Обычай наш кавказский, кавказский.

Может быть, там за линией, в стороне, на морозе никого и нет. Никто, может быть, и не замерз, не умер. Ах, зачем об этом думать. Бог даст, все устроится. Мы отступаем. Мы слабее красных. Не в силе он, а в правде. Да, мы правы. Да. Опять об этом же. Как бы избавиться, не думать. Очень просто. Вино есть великолепное. И ротмистр мил, мил бесконечно. Он уже откупорил бутылку. Пьем. Дам много и офицеров. Все штабные. Отчего не провести время. Пьем.

Так жили.

А красные уже далеко забежали вперед. Диктатору доложили, что в Иркутске почти Совдеп. Узнали об этом днем. Он бросил беседу с Болдыревым. О философии. Вышел в салон. Приложил руку к козырьку.

— Господа офицеры, благодарю вас за службу. Вы свободны. Кто хочет, может идти к новому правительству, кто хочет, пусть останется и разделит со мной мою участь.

Смерти он никогда не боялся. Теперь привык и к красной. Был очень спокоен и тверд.

Железная дорога не артерия. Она вена. Артерии сбоку в стороне. В вене черная, отработанная, почти гнилая кровь. В артериях чистая, свежая, горячая, красная. Била потоками, кипела.

Так было.

35. ВЕЗЕМ ПОЖАР

Покраснела зеленая шаль тайги. Покраснело толстое снежное одеяло на земле. Покраснели кудрявые, серобелые овчины на небе. Красная стена загородила доро-

гу. Красный ужас морозом сжал сердца бегущих. Ткнувшись в красное, несокрушимое, обозы сгрудились, сдались, покорные, жалкие в своем бессилии.

N-цы с длинной кишкой подвод приплелись в город, занятый партизанами, тупые, равнодушные ко всему, без сопротивления положили оружие. Барановский с Фомой попали в лазарет.

Красное победило.

По белой России забили красные ручьи. Тонкими струйками бежали они по проселкам, в реки сливались на больших дорогах, шумели и хлестали половодьем на трактах, на железной линии.

Заместитель Молова Давид Гаммершляг, командир роты Степан Вольнобаев и красноармеец Андрей Клочков шли рядом, впереди полка. Сзади на головных санях играло с ветром красное знамя. Все были в желтых полушубках, шапках с ушами и валенках. У Клочкова на шее мотался огромный алый шарф. Двое молча улыбались. Было чему. Третью тысячу верст шли без отдыха, без поражений. Клочков оглядывался на пегого мерина в первых санях. Запах пота и навоза напоминал о тихом, родном. Красноармеец, невнятно бормоча, ткал канву стиха.

Двигай, пегаиый, скоро
Пройдет метель,
Остались далеко горы,
Бредет апрель.

Клочков был поэт.

Очистится небо ясным,
Не будет тьмы.
Далеко покровом Красным
Уедем мы.

— Ты чего, Андрей, бормочешь?

Красный шарф трепался на ветру.

— Хорошо, Степа. Помнишь Челябинск? Так же шли. На восток. Теперь он наш. Жалко, Трубина убили. Хорошо.

Сильней упирай шипами —
Несется пар,
Вывертывай лед кусками, —
Везем пожар [1].

— Степа, сибиряки, наверно, и не чуют, какой грохот поднимем мы у них тут со своим приходом.

[1] Стихи поэта-рабочего А. Шульгина.

Немного тяжеловатый, полный, белокурый, с пушистыми светлыми усами Вольнобаев, высокий, сухой, рыжий, горбоносый Гаммершляг не отвечали. Слова не нужны. Был мороз, снег хрустел под ногами полка, под полозьями саней. Пар валил от лошадей. Красный N-ский полк подходил к Медвежьему.

Звоном колокольным ударило при входе в улицу. Золото икон и хоругвей блеснуло навстречу. Пирогами, шаньгами, свежим хлебом запахло. Широко расступились дома. Огромная толпа на площади. В середине зачем-то черный с крестом Мефодий Автократов. И звон. Ведь тогда тоже был звон. Тогда он лгал. А теперь? Разве радовался? Опрокинуть все это. Залить своим. Теснее ряды. Лица тверды и суровы. Снег хрустит.

Вставай, проклятьем заклейменный...

Проснитесь, вставайте. Не надо его с крестом.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья...

В ногу. Все как один. Лица зарумянились ветром. Знамена кричат. Красный шарф Клочкова протестует.

Мы наш, мы новый мир построим...

Кто они? Что несут на штыках? Что написано у них на знаменах?

С Интернационалом
Воспрянет род людской.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

А Он? Есть Он? Колокол лезет со своей болтовней, напоминает о Нем. Чепуха. Долой Его! Нет Его! Куда Ему против нас. Не верим мы!

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и ни герой...

Но как же все-таки? Родные вы, близкие, ждали вас. Только понять невозможно. Никогда не слыхали. Слушайте, слушайте нашу песнь:

Добьемся мы освобожденья
Своей лишь собственной рукой...

Иных путей нет. Сомнений быть не должно. Так

поют угнетенные рабы во всем мире. Так поем мы, освободившнеся. И вернм. Убеждены:

С Интернационалом
Воспрянет род людской.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

Только. Да. Разве это не так? Не видите? Вот он, Интернационал. Мы. Мы. Смотрнте. Гаммершляг — бывший военнопленный немецкий еврей. Вольнобаев — русский столяр. Клочков — кузнец наш. Он поэт. Вот у него какой красный шарф. Рядом товарищ Ван Ю-ко, желтолицый, косоглазый. Косу остриг. Черный, упрямый, красногубый Сегеш — мадьяр. Бледный, белый, высокий, широкий Смалькайс — латыш. Курносоватый Петров. Интернационал. Мы. Мы.

Наконец он замолчал. Язык его повис холодной сосулькой в широкой круглой дыре. Ушел и он, черный с крестом. Золото икон скрылось. Красные знамена торжествовали.

— Ура! Да здравствует Красная Армия!

— Да здравствуют красные партизаны! Да здравствует Советская Сибирь!

— Ура! Ура! Ура!

Наконец-то они пришли. Нет больше белых. Нет Таежной Республики. Вся Сибирь — Социалистическая Федеративная Советская Республика. Толпа с радостным любопытством разглядывала красноармейцев.

Штаб таежного фронта давно уже стоял в городе. В Медвежьем случайно был Суровцев. Ревком поручил ему выступить с первым словом приветствия. Партизан вышел на трибуну.

— Товарищи, мы, красные партизаны Сибири, с чистой совестью приветствуем вас. В то время, когда вы шли от берегов Волги, мы здесь не сидели сложа руки. Перед кровавым диктатором голов покорно не склонили. Мы ушли в глушь тайги, как смогли сорганизовались там и бросили гордый вызов шайке палачей трудящихся, душителей революции. И мы боролись с ними, уничтожали их без пощады.

— Правильно! Смерть белым гадам! Правильно.

Партизаны и крестьяне были единодушны в своем негодующем приговоре над вчерашними хозяевами страны.

— Смерть гадам!

Толпа закачалась, потемнела, взволнованная воспоминаниями.

— Теперь, когда вы здесь, когда мы соединились, раздавив общими усилиями белую гадину, мы приветствуем вас, как своих старших товарищей и соратников. Мы знаем, что за годы борьбы вы окрепли, закалились, приобрели огромный опыт и знания. Мы знаем, что теперь Красная Армия сильна, что теперь нам не страшны никакие враги. Но если кто осмелится вновь встать против нас, если найдутся у нас новые враги, то на борьбу с ними, на борьбу до конца красные партизаны готовы выступить хоть сейчас.

— Правильно! Готовы! Нет пощады буржуям! Все пойдем!

— Да здравствует Красная Армия!

— Ура! Ура! Ура!

Красноармейцы улыбались.

— Да здравствует единая Красная Армия рабочих и крестьян.

С ответной речью выступил Гаммершляг. Говорил порусски он совершенно свободно, с едва уловимым акцентом.

— Товарищи партизаны, рабочие и крестьяне Сибири, мы приветствуем вас, как стойких защитников власти трудящихся. Ваши заслуги перед революцией неоценимы. Вы сумели понять истинный смысл событий. Вы не дали обмануть себя ни сладкоречивым меньшевикам, ни эсерам. Вы не подчинились кровавому диктатору. Вы правильно поняли характер Октябрьской революции как революции пролетарской. Глубоко верно вы решили, что начавшаяся война двух классов — буржуазии и пролетариата — не может кончиться ранее того, как одна из сторон будет сломлена, побеждена. Вы не пошли на соглашение со своими угнетателями. В глубоком тылу у врага, почти без оружия, без средств, вы подняли знамя восстания, вступив в неравную борьбу с вооруженными до зубов культурными зверями. В неравной схватке вы не уступили врагу ни пяди, вы с честью выполнили до конца свой долг революционера. История не забудет ваш труд и вашу кровь.

Партизаны стояли довольные.

— Но знайте, товарищи, борьба еще не кончена. Наш враг — буржуазия, многоголовая страшная гадина, когда

ей размозжат одиу хищную пасть, она щелкает зубами другой, ей другую — оиа третьей.

— Сокрушим! Посшибам!

— Колчак уиичтожеи. Деиикин разбит, но враги есть еще. Мы увереиы, что буржуазия еще ие раз попытается задушить иас вооружеииой рукой. Еще не одного Колчака и не двух Деникиных придется нам разбить.

— Разобьем!

— До тех пор, пока рабочие и крестьяне других стран будут бездействовать, будут покорно гнуть спииы под властью капиталистов, мы должиы быть готовы каждую минуту отразить иападеиие мировых хищников. Пока пожар коммуиистической революции ие охватит весь земной шар, пока власть ие перейдет в руки пролетариата, трудящихся во всем мире, мы должиы иметь сильную армию. Она есть у иас. Наша рабоче-крестьянская Красиая Армия — угроза всему буржуазному миру. Вам, товарищи, остается только влиться в иее, пополиить ее ряды. Честь вам и место, герои партизаиы, в рядах славной Красной Армии.

— Мы готовы! Пусть только хоть одии буржуй зашевелится! — поднялся старик Черияков, снял шапку, тряхиул серебром кудрей. — Товарищи, да рази мы, да рази я... (старик волновался, ие вполие владел собой). Да иикогда! Чтобы, значит, опять под этими гадами жить. Двух сыновей шомполами запороли.

На глазах Черйякова заблестели слезы, голос задрожал:

— Двух сыиовей до смерти. Почти у каждого, одиако, ведь так. Сколько сирот поиаделали белые гады, сколько иароду погубили. Товарищи, мы все, все пойдем. Уж, зиачит, чтоб до коица. Мы знаем, что пока эти кровососы живы, так иам и жизиь не в жизнь.— Черияков разволиовался, ие мог больше говорить, махнул рукой. Слушатели поддержали оратора дружными аплодисментами и криками:

— Верио, дедушка! Верно!

Черикова на трибуие смеиил сутуловатый, чериоусый шахтер Коптев.

— Нет угла такого! Всю Россию окровянили! Гады!

— Товарищи, иам, побывавшим под властью Колчака, иечего говорить о иеобходимости борьбы с буржуазией. Убеждать иас не иадо. Мы иа своей шее выиесли весь гнет белогвардейщины и знаем теперь отлично, что может

рабочему дать власть разных атаманов и генералов. Нельзя спокойно говорить об этих кровопийцах.

Шахтер сжал кулаки, нахмурил брови, сделал паузу.

— Что они наделали, мерзавцы. Ведь всю страну залили кровью. Сколько погибло народу. Сколько запорото, повешено, засечено. Нет той деревни, того города, завода, фабрики, копей, где бы не было замученных ими. Я не знаю, есть ли хоть одна семья в Сибири, в которой не было бы жертв золотопогонных негодяев, сиятельных убийц. Моя жена, когда меня арестовали, пошла с двумя ребятишками к палачу в золотых погонах просить о моем освобождении. А он, негодяй, зверь, он ее...

Коптев согнулся. Усы тряслись, и губы прыгали.

— Он ее при ребятишках, при ребятишках изнасиловал. Обезумевшая, она бросилась из комнаты, а в сенях ее сгреб денщик. И он тоже. Холуй, гадина пресмыкающаяся, он тоже, как и его барин, тут же в сенях, на полу, на глазах у детей. А ребятишки стояли и плакали. Мать-то с ума сошла потом, а дочка семилетняя мне все рассказала, когда меня, выпоротого, отпустили из тюрьмы. Пожалуй, расскажи об этом в обществе благородных негодяев — не поверят. Как же можно, они — люди культурные. Ух, эту культуру их нюю...

Рабочий потряс кулаками, стиснул зубы.

— Эту культуру я бы всю истер в порошок. Эту культуру, которая дает право вылощенному хлыщу насиловать наших жен, а нас самих пороть, вешать, стрелять без счета и конца. Нет уж, довольно, будет. Попили они нашей кровушки, эти звери культурные.

— Будет! Будет! Довольно с них!

— Шахтеры Светлоозерного не выпустят винтовок из своих рук, пока где-нибудь будет жив еще хоть один такой негодяй. По первому зову Советской власти мы готовы вступить в ряды нашей Красной Армии.

— Хоть сейчас! Идем!

На трибуну снова вошел Черняков, от имени ревкома объявил митинг закрытым, пригласил красноармейцев обедать.

— Вы, товарищи, наголодались там, в Росеи-то, а у нас хлеба хватит. Заходите, товарищи, в любой дом.

Площадь стала пустеть. Хозяйки выходили из домов, наперебой приглашали к себе красноармейцев. Толпа, растекаясь по улицам, уводила с собой гостей. Широко распахивали избы двери, встречали теплым, ласковым за-

пахом мягкого хлеба, мясных щей, жареных поросят и гусей.

— К нам, товарищи!

— К нам, к нам!

Спирька Хлебников тяжело ввалился в светлую просторную горницу. Шапку не снял. Сел в передний угол. Бросил на стол черный длинный револьвер и кошелек, распухший от золота. У чехов взял. У генерала Ватагина.

— Хозяйка, я хулиган. Корми меня — заплачу.

— Что ты, батюшка, зачем нам деньги. Мы рады вам и так.

Старуха кланялась.

— Не спрашиваем мы, кто рад нам али нет. Мы идем. Я хулиган. Не дают — беру. Дают — плачу. Гони, хозяйка, все на стол.

Клочков на своей квартире встретился с беженцами. Испуганные, они забились в угол избы, со страхом смотрели на красноармейцев. У них было трое ребят. Клочков принес из саней фунтов пять сахару, полведра масла, мешок рису. По дороге насобирали. У белых отняли.

— Берите, товарищи, это все народное.

Беженцы отказывались. Клочков настаивал. Увидел, что дети плохо обуты, притащил им маленькие валеночки. В брошенном эшелоне подобрал.

В других избах красноармейцы раздавали хозяевам мануфактуру, чай, спички, обувь. Всего было много. Некуда девать. Сани ломились.

— Берите, товарищи, это все народное.

К чему все это. Мир весь завоевали. Мир наш. А тряпки — чепуха. Их не надо лишних. Они взяты белыми у этих же крестьян.

— Берите, товарищи, это все ваше, народное.

Четверо — Ван Ю-ко, Смалькайс, Сегеш, Петров — сидели вместе. Хозяева суетились у стола. Накрывали скатертью. Чай подали со сметанными шаньгами, с творогом, с маслом, с топленым молоком. Гуся, жирного, огромного, распластали в жаровне. Хлеба снежно-белого горку набросали. Бличики, легкие, нежные, горячей стопкой поставили.

— Кушайте, товарищи.

36. КРОВЬ КРОВЬЮ

Бегущие остановились. Некуда было бежать. Измученные, обмороженные, раненые, больные прятались в лазареты. Набивались теснее, чем селедка в бочке. Копошились, как черви в язвах, падали. Вместе клали. По трое— на две койки. По двое — на одну. На нары, под нары, на пол в проходах, в коридорах без тюфяков, матрацев, на тонкую соломенную подстилку. Белых. Красных. Офицеров. Комиссаров. Солдат. Красноармейцев. Мобилизованных. Добровольцев.

Окна были выбиты. Пар холодными клубами лез. Его тряпками затыкали. Все равно лез. Мерзлая морда, седобородая, седоусая, щерилась на стеклах. Холодно. Карболка. Йодоформ. Гнилые раны. Испражнения. Испарина. Лампочек мало. Темно. Врачи и сестры ходили спотыкаясь через больных и от усталости. Спать некогда.С верхних нар падали вши врачам на головы, на воротники, сестрам за пазухи, ползали под ногами, на халатах. Захворал — ложись. Сваливали в кучу. Все одинаковы. Все в сером. Коротко острижены. Выздоравливали мало. Умирали каждый день, каждую ночь сотнями. Нет — тысячами в яму.

На нижних нарах ничего не видно. Гнилой кровью только несло. Стонал каппелевец с отмороженными ногами, отвалившимися по колени. Барановский с Моловым лежали рядом под одним одеялом. Выздоравливали. Бредили иногда. По ночам поднималась температура. У Молова борода. У Барановского черный, мягкий пушок на щеках. Оба похудевшие. Глаза большие. Больные на «ты». Смешно иначе. На одной постели. Разговаривали сутками. Спорили. Усталые забывались. Отдыхали. И снова. Говорили. Говорили. Никого не замечали. Нужно было много выяснить. Сошлись с разных полюсов. Молов не разговаривал—учил, пророчествовал. Он верил глубоко. Убежден был. Барановский слабо сопротивлялся. Хватался за осколки, склеивал, собирал. Ничего не выходило.

Было это днем или ночью — все равно. Стены отсырели, плакали. С потолка капали слезы. В окнах черные заплаты. Больные, кажется, спали. Дежурные санитары и сиделки ходили, боролись с дремотой. Лампочки еле горели. Молов сидел на нарах, поджав ноги. Барановский лежал около и не видел комиссара. Голос Молова стучал в темноте топором.

Барановский придавлен. Топор стучит, но он не согласен. Надо протестовать.

— Новый мессия... хм... палач твой мессия. Не хочу... Довольно крови. Слышишь, довольно. Ты слушаешь?

В потемках не видно. Голос отвечает:

— Слушаю, говори.

— Когда я был еще у белых, я говорил, что вы, красные, люди нового мира, что вы несете с собой счастье освобождения и мира всему человечеству. Я всегда вас противопоставлял белым, думая, что вы действительно борцы за светлую идею всемирного братства и равенства народов. Я всегда вспоминал вас, когда видел у нас какую-нибудь мерзкую жестокость.

Барановский говорил торопясь. С мысли на мысль скакал. Надо все сказать. Накопилось много.

— Ведь в белых ничего уже не осталось человеческого. Я с ужасом в душе давно уже отвернулся от них, понял, что ихнее дело — черное. Я сдавался в плен с надеждой, что у вас этого нет, что я попаду совсем в другой мир, где не будут греметь залпы по безоружным, поставленным к стенке, где не будет порок, виселиц, где будет порядок, мир и тишина. Ведь крестьяне так хвалили вас. И вдруг теперь я слышу, что ты говоришь как о своем идеале о каком-то звере кровожадном и мстительном. Боже мой, как тяжело, какая мука.

Офицер стонал. Крови видел много. Она давит. Она преследует.

— Где же люди? Куда они девались? Есть на земле хоть уголок, где бы не лилось это страшное, красное, теплое, липкое? Неужели все думают только о борьбе и мести? Нет, довольно крови.

Молов молчал. Палата бредила. Кровь гнила.

— О-о-о-х!

Нельзя понять. Кто это? Один, двое или все?

— О-о-о-х!

— О-о-о-х!

— Сестрица милая, поцелуй меня.

Просит в бреду. Не знает, что ноги у него отвалились. Отмерзли. Разлагаются,

— Поцелуй, сестрица!

— О-о-о-х!

Конечно, не один так стонал. Не сочтешь сколько.

— О-о-о-х!

— Комиссар, ты слышишь? Тебе мало этого? Ты хо-

чешь еще? Без конца хочешь мучить людей, мстить им, бить их? Ты крови хочешь? Слушай, слушай.

— Милая, приласкай, поцелуй. Сестрица!

— О-о-о-х!

— Слышишь, комиссар, это не один он, больной, просит ласки. Его устами все человечество, уставшее, измученное. Довольно крови, черных убийств. Ласки дай людям, если ты новый мессия.

—О-о-о-х!

Теперь его очередь. Смеялся и негодовал.

— Кто виноват в этом? Кто свалил сюда эту кучу обезумевших, изуродованных, больных людей? Кто обратил их из жизнерадостных, живых в гниющие трупы?

Отвечать не давал.

— Вы, гнилые, гниющие, распространяющие трупную отраву, заражающие других. Вы, которые не можете жить без убийств и войн. Вы, лицемерно хныкающие о любви к ближнему. Вы все сделали это. И ты хочешь, чтобы мы, в октябре вышедшие на дорогу счастья всего человечества, на борьбу за немедленное прекращение всех войн, за мир всего мира, на баррикады для последнего и страшного боя с вами, вековыми угнетателями, рабовладельцами, ты хочешь, чтобы мы были снисходительны к вам, виновникам всех бедствий наших, всего кошмара капиталистического «рая». Нет. Никогда. Своих палачей мы миловать не будем. Они нас в щеку, мы их в другую, за горло, на землю и колено им в грудь. Что же ты думаешь, мы простим ваших карателей, тех самых, которые насиловали наших жен, сестер, матерей, пороли, вешали отцов, братьев? Нет. Палачей, инквизиторов нам не надо. Палач, раз став им, никем другим быть не может. Каратель уже не человек, он зверь кровожадный, правда, только одетый в щегольской европейский костюм, сшитый по последней моде. Куда их? В яму. Иначе они будут мешать нам строить новое, прекрасное. Во имя светлого грядущего, во имя избавления от страданий вот всех этих несчастных, во имя прекращения раз и навсегда всех войн и установления действительного братства народов да здравствует священная война с буржуазией, да здравствует красный террор. Я за кровь. Я за чека, за ее очистительную, железную метлу.

Комиссар горел. На нижних нарах стало жарко. Его горячее дыхание все слышали. Шевелились. Ловили жад-

но. Говори. Говори. Где выход? Где избавление? Надоело страдать. Довольно мук. Довольно крови.

— О-о-о-х!

— Ты говоришь, довольно крови. Согласеи, довольно крови. И для того, чтобы она не лилась из всех трудящихся, из иас, иадо выпустить ее из буржуазии. Поиял? Нужио уничтожить класс капиталистов, уиичтожить все классы, создать общество бесклассовое. Только тогда не будет крови и тюрем.

Барановский потрясеи. Уничтожить целый класс. Всех. И Татьяну Владимировну. И профессора. И его мать. И Колю, брата. За что? За то, что они думают иначе. Кому они сделали плохо? Разве Таня убила кого-нибудь? Это ее-то иежные пальчики? Клевета. Зверство. Бесчеловечно.

— Ты, комиссар, всех считающий зверями, сам не замечаешь на себе шкуры тигра? Чем виноваты люди, что они плохо воспитаиы, что они заблуждаются? Их иаучить надо, поддержать, показать настоящий путь к миру и счастью всех, всей вселенной.

— Ха-ха-ха!

Разве можно смеяться в лазарете? Испугались больные. Белые задрожали. Кто это хохочет?

— О-о-о-х!

— Ха-ха-ха! Учить? Вас учить! Ха-ха-ха! Мы, рабочие, должны просвещать вас, интеллигеитов. Нет, учить вас нечему, вы сами отлично знаете. Купить вас — да, это еще можио. Купить ваши знания. Заставить работать иа иас, это мы можем. И мы делали так. Здесь ваша трусость и жажда иаживы прямо пропорциоиальны вашей высокой образованности. Гнилые людишки, вы даже свои классовые интересы ие можете как следует отстоять. Каждый из вас по отдельности и весь ваш класс в целом — гниль. И мы в этой гнили выбираем кое-что, используем частью как удобреиие для посева будущего, частью как вспомогательный материал для постройки нового. Ты ведь знаешь, что в иашей армии старые царские офицеры. Из них иайдется ие так-то миого искренне желающих нам добра. Но мы заставили их работать. Расстреливая, устрашая одних, подкупая других, мы добились того, что они даже у вас в тылу работали в нашу пользу. Ты помиишь встречу с капитаном Вишняковым? Помнишь в Утином? Ведь ои наш шпион.

Барановский не дышал. Только дрожал. Смертный приговор давит.

— И вас всех белогвардейцев мы используем. Мы соберем, свалим вас в кучи, в подвалы чека и особых отделов и опытными руками отберем еще годных, еще не совсем сгнивших. Карателей, безусловно, безоговорочно в яму. Остальных возьмем. И заставим работать. И, может быть, со скрежетом зубовным, но вы, господа, будете служить у нас, нам работать, на нас, для нас. Да!

Белым тяжело. Не Барановскому только. Всем. Единая, страдающая. Огромная палата раскололась пополам. Половина затряслась. Перед могилой. Молов беспощаден. Роет. Роет. Глужбе. Бьет. По головам. По головам. Не словами. Топором.

— О-о-о-х!

— Выучить, воспитать. К черту ваше учение и воспитание, вашу культуру. Разве можно учить одному и делать другое. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Не убий—это затевая многолетнюю-то бойню. Лицемеры. У вас все так. Вы кричите одно, а делаете совсем другое. Вы до революции со вздохами и закатыванием глаз пели: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья», а когда пришлось на деле его разрушить, когда с заступом могильщика явился тот, кто и должен закопать старый мир, уничтожить его, вы испугались, захныкали, сложили лапки и затоптались на месте. Как бы, мол, не погибла культура. Октябрьская революция вскрыла вашу подлинную, трусливую, подлую душонку. Идейно вы обанкротились: всем теперь видно ваше духовное убожество. Культура, культурные люди... С тех пор как началась империалистическая бойня с ее сорокадвухсантиметровой артиллерией, с удушливыми газами, с разгромом музеев, памятников искусства, созданных десятилетиями, столетиями мирного труда, с ее уничтожением, сожжением целых областей и истреблением миллионов человеческих жизней, с тех пор, как вы благословили все это, назвав войной за мир всего мира, о какой культуре будете еще бормотать, о каком воспитании, образовании? За последнее время вы учили молодежь только одному — искусству убийства. Только. И вы хотите продолжать и в дальнейшем двигать жизнь по этой своей «культурной» дороге, по дороге вашего «прогресса»? Нет, довольно. Больше мы вам этого не позволим.

Барановский неподвижен. Возражать нельзя. В груди комиссара огонь клокочет. Больные, раненые слушали, сдерживали стоны.

— Культура... Вы думаете, если мы пришли чумазые, грязные с фабрик, заводов, с полей, так сейчас и распластаемся перед вами, перед вашей образованностью. Так и так, мол, господа хорошие, благодетели наши, народ мы темный, поучите нас, поуправляйте нашей свободной страной. Ошибаетесь, голубчики. Мы пришли, мы совершили величайшую в мире революцию не для того, чтобы смотреть, как чужие дяденьки нашим именем будут вершить судьбу миллионов нам подобных вчерашних рабов. Нет, мы сами себе хозяева, хозяева жизни. Мы все возьмем сами. Мы пришли и разберемся в созданных вами культурных ценностях, мы переоценим их и возьмем лишь то, что действительно ценно. Все остальное в помойку.

— Ты варвар, вандал.

— Называй, как хочешь. Нам это не помешает разрыть до основания, до самых сокровенных глубин весь ваш мир, перестроить его заново. Варвар. А что же, по-твоему, мы должны в полной целости, невредимости оставить все ваши подлые порядки? Никогда. Разве мы можем терпеть дольше, чтобы фабрикант по-прежнему жирел, еле таскал брюхо, а рабочий был бы тощ, как комар, и в тридцать лет выглядел стариком. Или, может быть, ты скажешь, что вообще рабочего и крестьянина не надо допускать к управлению государством, так как они темны и необразованны? Может быть, ты найдешь более удобным оставить крестьян по-старому без земли и сохранить за ними право работать не менее любой ломовой клячи?

Барановский сердится. Почему комиссар так груб и узок? Не об этом он хотел говорить. Не о том, кто будет владеть землей, кто управлять государством. Это его мало интересует. Ему хочется выяснить вопрос о ценностях иного порядка и об интеллигенции. Комиссар не останавливался.

— Мы люди дела, труда прежде всего, мы думаем, что каждый обязан завоевать себе прямо на жизнь работой. Живет и будет жить теперь только тот, кто трудится. С этой имено точки зрения мы и будем оценивать все живое наследство, оставленное нам старым строем, то есть каждого гражданина в отдельности.

— Значит, меня вы уничтожите?

— Почему?

— Белые мне противны. Вас я не понимаю. Ошибся в вас. Не сумею жить у вас. Я лишний.

Молову смешио.

— Лишиий. Лишние люди. Нет, у иас ие будет таких. Мы всем иайдем работу. Лишиие люди... Какая это иа самом деле глупость. Кругом дела угол непочатый, а тут иаходятся господа, которые ие зиают, куда девать свой досуг. И ведь было у вас так. Столетиямн шло так, что в огромиой богатейшей страие, где на каждом шагу — только копии — клад, где ступить иегде, чтобы ие попасть иа золото, были люди голодиые и безработиые. И вместе с тем были сытые и праздиые, ничего не делающие, тоскующие, сами ие зиая о чем, ие знающие, куда девать свой досуг, интересиичающие своей праздиостью, мелаихолическим, скучающим взглядом, показной разочарованностью. Я говорю о людях в плащах Чайльд-Гарольда, о всех этнх Онегиных, Печорнных и ихних братцах родиых Рудииых, Неждаиовых. Вот здесь-то и сказалась подлость и непригодиость вашего общественного устройства. Оии лишиие, нм делать иечего, потому что кто-то за иих все делает. Кто-то кормит их, обувает, одевает, катает иа рысаках. Кто-то, работая деиь и иочь, создает им огромиый досуг. Теперь мы говорнм: довольно! Мы смеемся иад вами, срываем с вас плащи поэтической леии и говорим: ие трудящийся да не ест. Врете, господа белоручки, возьметесь за ум, за дело, если кушать захочется. Да, лишиих людей у иас не будет, мы всем иайдем работу, всех выучим и заставим работать.

Комиссар закашлялся. От каппелевца иесло гиилью. Гиили миогие. Бараиовский ие возражал. Мысли запутались. Растерялись. Ои собирал нх.

— О-о-о-х!

— Настало время разрушить, растереть в порошок создаииый вами порядок жизии. Ииаче человечество обречено на вырождеиие. При капиталистическом строе ведь вырождаются все классы. Буржуазия — от праздиости и обжорства, рабочий класс и крестьянство — от чрезмериой работы и иедоедаиия. Иителлигенцня, чувствующая свою зависимость от правящего класса капиталистов, — фактически приказчик толстосумов,— воспитаиная в ваших школах, где вытравлялось все оригииальиое, талантливое, иоет, погружается в безиадежиую тоску, делается дряблой, безвольиой, ии иа что ие годиой... Гиилые люди. Вы гииете все вместе и каждый по отдельиости. Родится иовое, молодое поколеиие, получай от отцов целиком богатейшее иаследство — иеумеиие

жить, алчность к иаживе, непреоборнмую склонность к безделию. Единицы из вас с предпринимательской творческой инициативой. Все остальиые — гниль, гнилъ физическая и духовиая.

Палата бредила или нет. Слышно не было. Никто как будто ие стонал. Но слушали. Жадно. Все. Молов не говорил. Разил.

— Буржуазия, интеллнгенция вырождаются не только физическн, но и нравственно. Рабочнй класс и крестьянство главиым образом и почтн нсключительно — физически.

Молов остановнлся. Перевел дыхание.

— Спроси тебя, где же выход? Как спасти хоть часть человечества, здоровую часть его — трудящихся? Как предотвратить их дальнейшее не только физическое, ио неизбежно и нравственное вырожденне. Ты, конечно, захнычешь об образованин, воспитанин. Мы же говорнм, что выход один — сокрушающим молотом революцни разбнть в прах весь ваш прежний, подлый порядок, капиталистический строй н создать свой, новый, где не будет ни рабов, ни господ, где будут все равны, где не будет предоставлено возможности одним жиреть за счет других. Долой ваш старый, гнилой мир, мир насилия и угнетения... Довольно вам, гнилым, пакостить жизнь, топтать в грязь ее лучшие цветы, отравлять своим дыханием падали чистый воздух. Довольно. Мы пришли уничтожить вас.

Барановскнй сопротивлялся. Слабо. Сил нет. К борьбе не способен. Испугался. Умирать не хочется. Комиссар страшен. В его голосе коса смерти. Звенит.

— Но зачем же всех уничтожать? Чем я виноват, что меия мобилизовал Колчак, что я родился в семье геиерала, а ие рабочего. За что же меня убивать?

Молов смеялся. Но и в смехе острая сталь.

— Чудак, да мы и ие думаем уничтожать вас всех физически, каждого лишать жизни. Не такие уж мы кровожадные, как тебе кажется. Мы убиваем только тех, кто лезет сам на нас с ножом. Вообще же всех наших классовых врагов, людей, враждебных нам только по убеждению, мы уничтожаем, если так можно выразиться, экономически. Только. То есть отнимаем у иих фабрики, заводы, землю, дома, лишаем их возможиости жить за счет эксплуатации чужого труда. Заставляем их стать гражданами трудовой Республики. Нужио тебе сказать,

что, совершая Октябрьский переворот, мы не думали вводить смертиую казнь. Помиишь, мы безиаказанио отпустили юикеров Керенского, сопротивлявшихся нам, и члеиов Времеииого правительства. Но раз вы сами, господа, сиова полезли иа нас со всех сторои, то уж извииите.

Бараиовскому скучио. Все это кровь. Все о крови. Борьба. Без коица. Надоело. Не хочет он драться. Не хочет войиы. Ему отдохнуть. Комиссар остановился.

А гиилью все пахло. И стоиали, стонали, бредили.

— О-о-о-х!

— Зачем белую сволочь выше меия положили? Я старый красиоармеец, меия под иары, а белого гада иа иары. Я его сброшу. Я его сброшу. Я — старый красноармеец.

— Сестра, чего ои, гад, льет на меия сверху?

— Сестра! Сестрица! О-о-о-х!

— Какой я белый? Мобилизовал Колчак. Что поделаешь.

Темно. Ничего ие видио. Слышио только — льется с верхних нар. Капает. Теплое, зловониое. Люди ие помнят, не зиают. Где оии. Встать ие могут. Тиф. Барановский спит. Бормочет:

— Татьяиа Владимировна, паркет затоптаи. Затоптаи. Мама, я у красиых. Я с тобой, Настенька, я приеду к тебе, Настенька, ты слышишь? Комиссар, у тебя всегда в груди пожар? Комиссар?

— О-о-о-х!

Трое красиых и четверо белых плачут. Лежат рядом. Бредят или иет. Темио. Не поймешь.

— За что дрались? Зачем дрались? О-о-о-х!

Карболкой воняет, йодоформом, испражиениями. Рядом с комиссаром тепло. У иего пожар. Огонь. Одеяло только узко и коротко. Трудио под одиим. Холодио. Ближе. Ближе иадо. Обнялись. И белые. И красиые.

— О-о-о-х!

Ни дия, ии иочи ие было. Было только тяжело всем. Страдали все. Седой щерился на стеклах окон. На иарах люди.

— О-о-о-х!

Бараиовский спал долго. Встал, иаверное, утром. Стекла замазались красиым. Был, кажется, рассвет. Подошел к окиу. Ноги дрожали. Ухватился за подокоиник.

Сестра положила руку на плечо. Взглянула в глаза ласково.

— Поправляемся?

Голос. Нет, не голос. Музыка. Ведь она родная. С ней хорошо.

— Сестрица, возьмите в конторе мои деньги и купите мне шоколаду. Не откажите, милая.

— На ваши деньги коробку спичек не купишь, их аннулировали.

Барановскому страшно немного.

— А как же я без денег-то? Куда я пойду? Да и с деньгами-то. Я боюсь. Совсем ведь другой мир. Я ничего не знаю в нем.

Женский голос успокаивает:

— Бояться нечего, устроитесь отлично. Будете служить в Красной Армии. Я тоже чужая у красных. Они у меня мужа расстреляли. А ничего, вот видите — служу.

Замолчали. Смотрят в окно. Белая, седобородая, седоусая рожа покраснела. Обоим грустно. Отчего? Не знают. Но и хорошо.

Сестру позвал больной. Белые и красные зябли, жались друг к другу.

— О-о-о-х!

Между теплыми, еще живыми, лежали холодные, мертвые. Неподвижных, застывших выносили на носилках. На мороз. Живые боялись. Как бы их. По ошибке.

— Я живой, сестрица. Живой.

— Живой, живой. Скоро гулять пойдешь. Выпей бульона.

Рука теплая, как у матери. Гладит по голове. Святая. Молиться хочется на нее. Молов бредил. Он еще болен.

— Мы вас выметем красными метлами. Выметем.

Метут. Метут.

Барановскому тяжело. Одиночество. И эта неизвестность. Что там? За стеклами. Ледяная штора закрывает это там. Там новое. Красное. Офицер, почти касаясь губами, задышал на мерзлоту. Медленно протаяла щелочка. Ослабевшим пальцем с длинным ногтем расцарапал шире. Прижался большим черным глазом с густыми ресницами. За окном, на дворе лазарета, бродили полудохлые одры, валялись сломанные сани. Остатки белых обозов. Одров кормить нечем. И некому. Они ели

свои испражнения и дохли тут же на дворе. Издыхая, ржали. Там же ходили люди с красным на шапках, на рукавах, на груди. Красный флаг кричал на соседнем корпусе. Офицеру жутко. Красное с непривычки волнует. Но глаз не отрывает от щелки.

. . . .

Недалеко, в другом городе, диктатор Сибири последний раз взглянул на черные дырки винтовок. Красный полог закрыл его навсегда. По всей стране красными топорами стучали залпы. Кровь за кровь. Кровь кровью. Железные метлы чека и особых отделов мели, как сор, в свои подвалы. Беспомощных, обезоруженных карателей и палачей, вчерашних хозяев. Вчерашние рабы, униженные, растоптанные, иссеченные нагайками и шомполами, перепоротые розгами «поборниками человечности, справедливости и порядка», поднялись. Огнем лечили раны. Смывали кровь кровью.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗ РОМАНА «ДВА МИРА»
Отрывки из II части

НОВЫЕ ХОЗЯЕВА

Красные вошли в Сибирь вместе с солнцем. Солнце жаром ожгло синие, льдистые глаза зимы. Огненные стрелы впились в хрупкую снежную грудь. Брызнули у холодной холодные слезы. Прозрачные сосульки повисли на ресницах. Затлела, продырявилась ткань белой, затасканной одежды. Раненая зима медленно поползла с земли. За ней хороводом седые, крутящиеся столбы метелей. Путалась умирающая в длинном саване мокрого снега. А на нем черные пятна проталин. Бурый гной раскисших дорог и тропинок. Мусора много. Остывшие головни и угли выжженных сел, деревень. Обгоревшие каменные клетки городов. Смятые стальные кружева мостов. Перерубленные жилы железной дороги. Заржавевшие, простуженные тела орудий на исковерканных ногах. Разбитые животы зарядных ящиков. Изломанные когти винтовок. Опухшие, неубранные трупы людей и лошадей. Глубокие морщины пустых окопов. Темные пятна крови.

Мертвецов жгли. Багровым заревом полыхали костры из красных поленьев мерзлого мяса. Черный дым вис тучами. Десятки тысяч погибших от тифа и пуль корчились в огне, трещали, лопались с шипением. Последнее бесплодное сопротивление. От них оставались кучи золы и комья скипевшихся волос.

Весны еще не было. Не пришла. Только ее горячее дыхание. Мощный шум ее приближающихся шагов. На реках ледяная короста синела. Грязные горбы надувались, трескались. Из трещин — мутно-желтая кровь. Загаженный мех савана зимы совсем изъеден молью. Дотронуться — рассыплется. Солнце разрушало.

Так и красные. Шли разрушать. И разрушали. Тяжелой поступью стальных шеренг давили гниющие обломки старого. Хрустели кости тупоголовых, пытавшихся встать им на пути. Солдаты Красной Армии. Они в дыму и кровавых пятнах отблесков пожара великой битвы. Штыки у них — стрелы грозы. Мысли — дерзкие молнии. Знамена — головни горящие. Но не деревяшки зажженные. Кровь и страдания миллионов горели. На груди — пятиконечные звезды. Над самым сердцем. В сердце тоже. Пять углов. Символ Великой Мировой Державы. Интернационал. Они шли за него. Завоевание одной страны — только начало похода. На одном только куске земли заплескались красные волны. А красный океан необъятен. Его воды на всем земном шаре. Пока они плещутся ритмически спокойно. Взволновалась, запенилась часть. Но неизбежно разбушуется и весь остальной. Весенние бури не везде начинаются одновременно. Не в одно время солнце сжигает снег. Красные знали, что они только авангард. Могильщики старого... Зодчие нового. Могильщики, не кончившие своей работы. Зодчие, только начавшие строить. Разрушали и строили. В кровавых родовых муках Новый Мир еще не оформился. Миллионы людей бились и гибли за его право на жизнь. Постройка нового далека от конца. Рылись канавы для фундамента. В глубокие рвы сваливались окровавленные кости и полусгнившее мясо старого. Строители не всегда умело брались за лопаты. Не все представляли себе ясно план сложной, огромной работы. В рядах самоотверженных тружеников иногда прятались трусы и предатели. Но строили. Разрушали и строили.

«КОММУНИЯ»

Медвежинцы, без вина, ходили пьяные. Несомненно, наступил праздник. Какой? Не рождество, конечно, не пасха. Что они! Тогда родится или воскресает кто-то далекий и неизвестный. Теперь сами. Вчера — растоптанные и бессильные, сегодня — свободные и могучие. Сегодня воскресли сами. Чуда в этом не было. Никто не помогал. Своими руками все сделали. И все понимали это. И радовались. Больше. Ликовали.

В партизанском районе жизнь — весенний поток. Делегации, представители, уполномоченные, инструктора,

собрания, митинги, доклады, лекции, заседания. Классы школы каждый день полны. Лезли туда не только молодые. Протискивались и шамкающие, глуховатые старики, старухи. Шумно обсуждались новые порядки. Все село участвовало в решении вопросов своего существования. Исчез совершенно прежний страх перед начальством. Пропала ненависть к нему. Новая власть была своя. Крестьяне это видели. Представителем волостного революционного комитета был Федор Федорович Черняков. В городе высшие должности были заняты своими близкими. Жарков председательствовал в уездном ревкоме.

«Жить надо по-новому. По-старому невозможно», — так думало все село. Разногласий и дрязг не было.

Были в Медвежьем и обиженные новой властью. Семья Жогина, бежавшего с белыми. Подвергалась выселению из собственного дома. Национализированы были дома богатого мужика Матвея Дмитриевича Поспелова и попа Кипарисова. Из дома Кипарисова пришлось выдворить поселившегося там колчаковского военного священника Мефодия Автократова.

Целый день Поспелов перевозился из высокого двухэтажного дома в небольшую крестьянскую избу. На улицах кучки любопытных. Смеялись, острили. Петр Быстров низко поклонился богатею и, сдерживая смех, крикнул:

— Матвей Митрич, что это ты перебираться в другую квартеру вздумал? Али свой-то дом не глянется?

Поспелов багровел.

— Грабители, варнаки! Из своего дома. Язви вашу душу!

Мальчишки, прыгая, свистя и улюлюкая, вертелись с боку дороги. Прохожие, и смеющиеся и серьезные, были единодушны и в молчаливом решении:

— Будет. Пожили.

Поспелов угадывал затаенную враждебность во взглядах встречных, со страхом и злобой отвертывался к возу. Гаммершляг с Вольнобаевым, выезжавшие в город, улыбнулись, поравнявшись с кулаком, хлестнули лошадь. В следующем квартале уже очищенный дом Жогина стоял, беспомощно раскрыв окна и двери. В нем все трещало и скрипело. Разбирали перегородки. На дорогу летели доски в голубых обоях. Около несколько мужиков тесали плахи для подмостков сцены. Строился народный

дом. Гаммершлягу стало совсем весело. Навстречу ехал Черняков.

— Ты чего это ржешь, товарищ Миршляг? — Старик снял шапку, остановил свою рыжуху. Вольнобаев натянул вожжи. Гаммершляг приложил руку к козырьку.

— Увидел, дедушка, как буржуйские палаты наши ребята под орех разделывают, вот и смешно стало.

— Э, чего там палаты, дома. Я вот сичас из города, так скажу вам, товарищи, узнал новость так новость. Весь капитал народ унистожил! Вся власть капитала хизнула во всей Расеи. Вся Расея теперь у нас одна коммуния будет. Вот заживем так заживем. Я сейчас же у себя собрание, и готово дело, эту самую коммунию зачинать будем и у нас.

Гаммершляг стал серьезным.

— Да я не пойму чего-то. Ты говоришь, власть капитала уничтожена. Буржуев, что ли, всех уничтожили или что?

— Все, товарищ Миршляг, все сразу: и буржуев и капитал. Поезжай, сам узнаешь. Ведь ты в город?

— В город.

— Ну валяй, а мне некогда,— Черняков отпустил вожжи. Рыжуха круто рванула розвальни. Гаммершляг и Вольнобаев обменялись недоумевающими взглядами, пожали плечами...

В городе Черняков был на митинге. Оратор, выступавший там, говорил об аннулировании колчаковок и о деньгах вообще. Говорил, что Советская власть со временем совершенно уничтожит всякие деньги, произведет натурализацию заработной платы. Оратор говорил долго и много. Сказал между прочим и об организации в Советской России ряда коммун, убеждал собравшихся, что рано или поздно вся Республика обратится в одну огромную коммуну. Но говорил он малопонятным для крестьянина языком. Черняков многое из его речи перепутал, понял, что деньги уже все уничтожены, как колчаковки, что вся Россия теперь не что иное, как коммуна. В душе старика шевельнулась досада на то, что они, медвежинцы, поотстали от других, живут еще по-старому, вразброд, поодиночке, а не одной семьей. Старик решил немедленно же исправить промах односельчан, организовать в Медвежьем коммуну.

Домой Черняков пришел веселый, возбужденный,

Не снимая шапки, сел он рядом со своей старухой и начал рассказывать ей, что теперь настала новая жизнь, что жить будут люди все, как родные, одной семьей, что не будет больше ни богатых, ни бедных.

— Вот, старуха, до какого мы счастья дожили. Вся Расея — одна коммуния. Эх, жалко парней-то нет, погибли, сердешные, не увидели новой-то жизни. Эх, теперь бы жить только да жить. Теперя старикам-то помирать не надо, не то што молодым.

Старуха сердито посмотрела на мужа.

— Ты бы шапку-то снял, бусурман! Каку таку еще коммунию выдумал? Однако уж больно весел что-то, не выпил ли, кой-грех?

— Што ты, да рази я, да в этаки-то дни, да штоб напиться! В уме ты али нет? Тут, можно сказать, кончина мира пришла. Мы точно из мертвых воскресаем. Напился. Дура ты, дура! — старик снял шапку, встал, повесил ее на гвоздь.

— Вот сегодня вечером мы и у себя жизнь-то по-новому начнем налаживать. Вот тогда и увидишь, кака эта така есть коммуния.

Черняков пережил все расправы Красильникова. Орловский «молебен» простоял на коленях. Два сына у у него умерли под шомполами. Теперь, после свержения белых, он ощущал непреодолимую потребность в самой кипучей работе.

Жена не могла долго молчать о новости, услышанной от мужа. Сейчас же после обеда, когда Черняков лег отдохнуть, она поспешила сообщить всей улице, что сегодня вечером будет собрание, на котором ее старик думает устраивать какую-то новую жизнь, «коммунию».

— Знаешь, Денисовна, — говорила Чернякова соседке, — сам-от у меня сегодня из городу приехал, сказывает, что там светопреставление началось, кончина мира. Вроде бытто, говорит, мы воскреснуть должны вскорости.

— Как это воскреснуть? Мы ведь, однако, не умерли еще. Как же воскресать-то будем? — недоумевала Денисовна.

— А вот уж и не знаю. Спрашивала его, рассердился, дурой обозвал, не объяснил. Вечером, говорит, узнаешь все.

Новость взбудоражила село. В каждой избе говорили о кончине мира, о светопреставлении, будто бы на-

чавшемся в городе, о новой жизни, «о коммунни». На собранне не пошлн, побежалн. Надо было скорее узнать все о новой жнзнн. В прнход ее вернлн. Ждалн ее давно.

Дом Жогнна не был еще готов. В нем только разобралн перегородкн, началн постройку подмостков сцены. На стенах картнны. Прежнне хозяева налепнлн. Большой кнот с черным пустым жнвотом. Иконы вынуты. Наверху забытый пучок восковых свечей. Рядом размалеванная группа царской фамнлнн. Кто-то хотел сорвать. Не смог. Оторвал уголкн. С досады выколол Нnколаю глаза. Царице подрисовал густую черную бороду. Дочерям — гусарские усы. Комната большая. Будущнй зрнтельный зал. А тесно. Платкн. Шалн. Фуражкн. Шапки. Жарко. Душно. Окна оттаяли, намокли. На недостроенных подмостках стол с лампой. Лнца переднпх вндны. Заднне — одно пятно. Шумящее, сдержанно нетороплнвое. Говорнлн все.

— Кончнна мнра... Новая жнзнь... Коммуння... Черняков... Как это он?.. Ну што это за жнзнь, когда тебя любой ахвнцерншка — раз н готово на журавец али к стенке... Конешно, надо по-новому. Вот сейчас обскажет... Аховый старнк... Хорош дедушка... Сказывают, светопреставленне...

Черняков стал на подмостки. Плотная, крепкая фигура загороднла свет. Длнnная, темная полоса легла на собранне. Но не потемнело оно. Осветнлось. Засверкало. Десяткн улыбок. Колыхнулось поле спелой пшенnцы. Занскрнлось золото спелых колосьев. Шум быстро затнх. Старнка любили. Верили ему.

— Товарищи, вы, подн, не забыли, как полковник Орлов нас на площадн порол н казнил? — не вопрос задал Черняков — жесткой плетью хлестнул по сердцам. Толпа потемнела, опустнла голову.

— Как забыть? На спнне рубцы еще не зажнлн. Забыть. Пока жнвы, не забудем.

— Теперь полковника Орлова нету. Нашн братья партнзаны его уничтожили. Жизнь нам теперь надо устранвать без полковников, чтоб не сели нам на шею новые господа орловы.

— Это правнльно. Так. Собранне согласно.

— Вот нашн товарищи расейскне так и устраивают жнзнь-то по-новому, чтобы всем жнть дружно, согласно, одной семьей, коммунней. — Лицо старнка жнво и подвижно. Каждую секунду новое. Он волновался. Волно-

вался и другой, стоголовый, многоглазый. Ловил, глотал слова оратора. Не понимая, нетерпеливо задавал вопросы, переспрашивал.

— Ты объясни нам, что это за коммуния такая.

Черняков в городе на митинге хорошо расспросил оратора. Теперь твердо знал, как организовать коммуну.

— Коммуния — это обчество. Мы вот тоже живем обчеством, но это не коммуния. Коммуния это такое обчество, когда один за всех и все за одного. В коммунии надо жить сообча, сообча работать и сообча всем пользоваться. В коммунии все должно быть обчее: и скотина, и машины, и хлеб. Делить там ничего не надо.

Звонкий голос почти взвизгнул в толпе. Жилистый, сухой Николай Грошев поднял руку.

— А как неделенный хлеб мы есть будем?

Человек на трибуне нахмурился. Другой, огромный, раздраженно обернулся. Зачем мешать? Ответ торопливый. Отмахнуться надо скорее, как от мухи.

— Очень просто. Сколь тебе надо, столь и отпустят из обчественного амбара.

Муха назойливо не отставала.

— Где же тут справедливость-то будет, равенство-то? У меня, скажем, в семье шесть едоков и работников столько же, а у кого-нибудь шесть едоков, а работник-то один, так неужто я на чужую семью работать должон?

Черняков рассердился.

— А ежели у тебя, Николай, было бы шесть едоков, а работник-то ты один? Неужто бы ты не стал на своих детей работать?

— На своих — другое дело, а на чужих я не согласен.

Свои. Чужие. Чернякову грустно. Он знает — в этом корень зла.

— Вот, товарищи, оттого-то у нас все и не ладится! Мы все друг на дружку, как на чужих, смотрим волками. Норовим друг у друга кусок выхватить, а чтобы помочь эдак слабому, боже упаси, чтобы, значит, поддержать друг друга, ни в жизнь!

Другой, большой, не выдержал. Заволновался. Возмутился. С жаром закричал Сопранков.

— Да это что же такое, товарищи, на базар мы, что ли, пришли торговаться? Мы когда в тайге были, так

не считали, кто на чью семью работает. Мы считали всех одной семьей. Мы во как друг за дружку держались! — партизан сжал кулаки, поднял над головой.

— Мы в тайге не считали, кто меньше, кто больше сработает. Работали все как могли. Дружно жили. Оттого колчачишку-то и сшибли с копытьев долой. А тут находятся промеж нас такие личности, что начинают старую волынку гнуть, смуту заводить. Им, видно, старого нужно!

Нет, о старом лучше не говорить. Спокойно о нем никто не мог вспомнить. Боль незаживших ран сильна.

Дарья Непомнящих побледнела. Петр Быстров сжал кулаки. Сопраиков стиснул зубы. Сотни черных точек огнем ненависти ожгли Грошева. Терпение лопнуло.

— Вон его, шкурника, отсюда! Гони его взашей!

Грошев согнулся. Удара испугался. Лепеча, задрожал:

— Да я что, товарищи! Я ничего. Я как народ.

— Знаем мы тебя, спекулянта-грошовника. Вон! — Масса тел упруго сжалась. Толпа качнулась. Грошева выбросили за дверь. Так волна иногда сердито швыряет на берег щепку.

— Говори, дедушка, мы тебя слушаем. — Грудь большого, многоликого поднималась и опускалась порывисто, коротко, с шумом.

— Вот, товарищи, видели? Вот чего будет всегда у нас, коли делиться будем. Зависть, вражду промеж нас она, дележка-то эта, производить будет. Коли делиться будем, так опять у нас богачи появятся и бедняки заведутся. Чего нам делить? Все мы братья родные. Все мы трудимся в поте лица. Работай кто сколь может и получай сколь нужно. А ежели шалопай промеж нас найдется, так вон его из коммуны!

Корней Теребилов перебил Чернякова.

— А как же вот насчет машин и скота мы будем делиться? У меня, к примеру, десять дойных коров, а у тебя две. У меня косилка, молотилка, а у тебя ничего. Так как же мы будем хоть то же молоко делить? Как машинами пользоваться?

Сопраиков не вытерпел.

— Продажная душа, язви тебя! Ты что, в потребиловку, что ли, записываешься? Большой пай внесешь, так больше и давай тебе? Мы как в тайгу уходили, так все бросили, а теперь если я вот, разоренный до нитки, вступаю с тобой в одну коммуну, так ты меня работать

на себя заставить хочешь? Ты норовишь больше взять, потому у тебя машины и скот, а у меня одни руки. Нет, уж если коммуна, так получи, сколь тебе для пропитания нужно, излишки сдай голодным, а не то, сколь твои шары кулацкие хотят, столь тебе и дать!

Кореастый, чернобородый, лысый Теребилов упрям.

— Это неправильно. Мы так не согласны. Ежели, значит, я вношу пай, так...

Толпа не дала ему кончить.

— Молчать! Шкуродер... Не надо нам таких. Вон! Старорежимник! Живоглот!

Теребилов замолчал, попятился к дверям. Протискался, а выйти не мог. Толпа, разбушевавшись, поглотила его, придавила!

— Кулак! Душа из тебя вон! Язви тебя!

Черняков махал руками:

— Товарищи, тише! Надо нам решить скорея, как жить дальше. Тише! Товарищи!

Толпа успокоилась не сразу. Замолчавшая, подняла на Чернякова свое возбужденное лицо.

— Вот что, дедушка, скажи нам — как будет дело насчет товара всякого, мануфактуры, скажем, или железа, керосина, спичек?

Оратор ответил уверенно, не задумываясь.

— Уж насчет этого не беспокойтесь. Мы городу хлеб, а город нам товар. Это уж, как полагается, так и будет. Мы будем хлеб сеять, светлозерские шахтеры уголь добывать, и все у нас будет обчее. Все мы будем получать сколь и чего нужно, никаких счетов, распрей промеж нас тогда не будет.

Собрание задумалось. Мысленно рисовали картину новой, правильной, свободной жизни. Все очень хорошо. Покупать и продавать не надо. Одна семья. Непонятно только насчет денег. Их зачем?

— А касательно денег как, дедушка? Их тогда куда, ежели все на оммен?

Черняков оживился. Стукнул себя по лбу.

— Вот совсем было запамятовал вам про деньги-то сказать. Их теперь вовсе не нужно будет. Их, товарищи, уже все похерили. Оратор в городу так и сказывал, что денег больше не будет. Все, значит, на оммен. Мы хлеб городу, а город нам железо али что. Покупать и продавать не будем, потому все дадут так. Да и на что нам эти деньги нужны? Что народу из-за них погибло, что

крови пролито! На эти самые деньги нас бары покупали и продавали, как скотину какую. Помнишь, Савельев, — обратился Черняков к высокому крестьянину с русой бородой, — как у тебя ахвицер дочь-то опозорил да пятьдесят рублей ей за позор тот заплатил? А сын твой за то, что в банде у Колчака служил, сорок пять целковых в месяц получил! Вот они, деньги-то, для чего придуманы! Коли не уничтожим их, так бары опять нас на них покупать и продавать будут. Нет, не быть тому. В Расеи власть капитала решена, и деньги все там уничтожены.

Горячему Сопранкову надоели разговоры. Он заработал локтями. Стал пробиваться к трибуне.

— Дай дороги! Дай дороги!

Короткие, быстрые волны пробежали по толпе. Толпа расступилась, дала дорогу. Сопранков встал рядом с Черняковым. Спутанные космы волос и бороды. Глаза — угли. Кулаки сжались. Голос срывался.

— Товарищи, не довольно ли нам торговаться? Мы, как в тайгу уходили, так не торговались, не препирались. Ужли теперь будем отступать? Чтоб столь крови даром пролилось. Соединиться нам всем нужно в одну семью и дружно стоять друг за друга. Что нам, поодиночке лучше бороться или всем миром? Конешно, чтобы жить дружно, всем обчеством и работать и биться всем собча. Давайте вступать в коммуну.

Толпа серьезна и сосредоточенна. Раздумье. Новая жизнь. Как будто все ясно. Ни споров, ни распрей. Все равны... Коммуна. Вся Россия — одна семья. Зависти, злобы не будет. Наживаться никто не станет на мужицком горбу. И денег нет. Не надо их проклятых! Конечно, надо всем вступать. Возврата нет. Раздумья только несколько секунд. Сжались плотней. Рука с рукой. Сотни кулаков поднялись. Замахали. Закричали.

— Не быть старому! По-новому надо жить! По-новому. Все согласны! Все согласны в коммунию!

Черняков засиял. Сопранков волновался все больше.

— Товарищи, кончина старого мира настала! — старался он заглушить шум толпы.

— Власть капитала решена. Не нужно нам больше денег, не нужно богачей. Вот они, мои деньги! — Сопранков вытащил из-за пазухи сверток кредиток.— Двадцать тысяч, у белых гадов взял. Вот их! Вот! Чтобы и духу ихнего поганого не было! — партизан стал рвать

и топтать бумажки. Черняков выхватил свой кошелек.

— Товарищи, все, все до единого. До последней копеечки рвите их. У кого нет при себе, дома изорвите! — старик высоко поднял над головой пачку радужных, резким движением разорвал их пополам, сложил, перервал вновь и бросил на пол. Толпа сотнями рук полезла в карманы, за пазухи. Заметалась по комнате. Деньги выхватывали. Стали рвать. Топтали ногами. Кричали.

Кончина мира. Новая жизнь. Коммуния. Радость безотчетная. Забыто все. Правильно или нет, но путь в новый мир найден. Недолго думая, все кинулись к нему. Желание одно. Один непреодолимый порыв. Жить по-новому. Дарья Непомнящих не сумела иначе выразить своего восторга — крикнула:

— Христос воскресе!

— Христос воскресе! — Десяток. Другой. Сотня. Все. Запели:

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ!

Новые песни знали плохо. Эта старая. Но в ней торжество жизни над смертью. Ее пели и раньше. Не так. Теперь как никогда. Теперь ведь не о нем пели. О себе. Дарья достала с кнота свечи. Зажгла, раздала. Яркие желтые язычки огня в руках. В глазах. Целое пламя, пожар в груди толпы.

— Христос воскресе, дедушка!

— Воистину воскресе, дорогие мои, — стали христосоваться. Одно могучее объятие. Один счастливый поцелуй. У Чернякова капали слезы радости. Он не замечал. Никто ничего не видел. Счастье ослепило. Целовались.

— Христос воскресе! Христос воскресе!

Расходились со свечами. Не гасили. Ведь это огни радости. Огни торжества нового. Яркие звездочки блестели в темноте ночи. Искорки засыпали длинные улицы.

— Христос воскресе!

Прохоров с Быстровым бросились на колокольню. Звоном всполошили все село. Быстров раскачивал язык большого колокола. За веревку дергал изо всей силы. Хорошенько не знал, для чего. Смутно только чувствовал, что поднять всех надо. Разбудить. Оживить. Ведь конец мира. Новая жизнь. Ураганом звуков крыши сорвать. И глухие и полумертвые чтобы услышали. Конец Старому. Рождение Нового.

Заспаниые, не поиявшие, выбегали из домов. Жали руки. Целовались. Кричали.

— Христос воскресе! Новая жизиь! Коммуния!

Чериая теиь застыла иа пороге церковиой сторожки. Мефодий Автократов. Ои ие поиимал. Ои чужой. Было еще несколько чужих. Тоже ие поиимали. Но радость чувствовали. Не у себя в сердце. У массы. Оттого и злились. Бессильио. Бессильная, оиа жжет сильией. Она ядовитей тогда.

Сверкающие звездочки разлетались по всему Медвежьему. В каждой избе огоиек. И всюду, всюду иавстречу огиям вставали люди.

— Христос воскресе. Новая жизиь! Коммуния!

На улицах весенний поток. Расплескался. Ни одного угла не осталось. Все захлестнул. Залил. Затопил. Старое подмыл. Стеиы, перегородки рухиули. Не было изб. Не было села. Только люди. И в сердцах у иих иовое. Невидаииое.

БЫВШИЕ ЛЮДИ

Весеиний поток иикогда не бывает чистым. В чем всегда муть. В Медвежьем хмельиая радость освобождения. В полутора верстах, в тайге, иа лесосеке, тоска иеволи. Там работала партия военнопленных, бывших белых офицеров. Жили оии в иизком и тесиом бараке. Спали на иарах в два яруса.

Ночью в бараке духота. Офицеры к физическому труду ие привыкли. Уставали. Во сне метались. Охали. Бараиовский вертелся на жестких досках. Стоиал. Паразиты беспокоили. Кошмары мучили. Призрак получеловека, полузверя. Высокий выпуклый белый лоб. Сииие добрые глаза. Тоикий прямой иос. Огромиый рот полуоткрыт. Жирные чувствениые губы дергаются. Гримаса плотоядная. Два ряда кривых острых зубов. Изящный летний костюм. Белосиежиая, но с дырами сорочка. Из дыр густая, звериная шерсть. Одна рука в лайковой перчатке. Другая с красивыми пальцами музыканта и изогиутыми когтями хищиой птицы. Рядом в пеленах красного тумана иагая девушка. Лежит, вздрагивая, рыдая. С длииных ресииц — слезы-алмазы. Призрак топчет их блестки. Чудовище кладет руку иа сиежио-белую грудь. Ласкает. Воизает в юиое тело острые когти. Скло-

няется. Впивается зубами в горло. Захлебывается, глотая дымящуюся кровь.

— Кто ты? — дрожа кричит Барановский. Призрак, пачкая кровавой слюной свой костюм, поднимает на спящего добрые синие глаза. Облизывается огненным языком. Отвечает тихо, ласково:

— Человек.

— Лжешь, ты зверь!

— Все люди таковы. — Чудовище пожимает плечами.

Офицер опять хочет возразить. Не успевает. В сердце ужас. Языка нет. Тысячи существ, одновременно похожих и на человека и на зверя, вскакивают из кровавого тумана. Кружатся хороводом. Голые, кривоногие, волосатые, с обрюзгшими жирными животами, поджарые, худые, как скелеты, отвратительные и красивые, молодые и старые, мужчины и женщины, здоровые и больные, покрытые гнойной коростой, смеющиеся и плачущие. Рычат, грызутся, царапаются, визжат, давятся, чавкают, обливаются кровью, пачкаются в нечистотах разорванных внутренностей, пожирают друг друга. Призрак улыбается. Ехидный. Показывает Барановскому на одну из пляшущих фигур. Офицер видит ясно, отчетливо самого себя. Грязного, окровавленного, грызущего живую человеческую руку.

— Это ты. Узнаешь себя? — жирные губы шепчут у самого лица.— Узнаешь?

У Барановского шевелятся волосы. Офицер чувствует тошнотворный, дурманящий запах крови, от которого кружится голова и десяток колоколов звенит в ушах.

Спящий проснулся. Рука спавшего рядом прапорщика Петухова лежала у него на лице. Барановский сел на нарах. Со стороны села несся радостный трезвон. Офицер прислушался, не доверяя себе. Звон не умолкал в Медвежьем. Гудел в тайге. В темной духоте кто-то слез с нар. Охнул. Стукнул сапогами. Спросил:

— Что это такое? Почему звон?

— Точно пасха,— ответ из другого угла. Хриплый.

— Пасха. Жидовская, что ли? — смеется, передразнивает тонкий тенорок. Доски скрипят. Многие проснулись. Завозились. Чесались. Закуривали. Кашляли. Красные точки затлели в черном ящике барака.

— Черт их знает, чего они всполошились? Может быть, какой праздник у большевиков?

Резкий голос останавливает разговаривающих офицеров. Ротмистр Наскоков раздражен.

— Господа, какое нам дело до того, как красные устраивают свои шабаши с колокольным звоном? Я полагаю, что мы устали как черти и имеем право на отдых. Прошу покорно потише! Я спать хочу.

Офицеры примолкли. Тенорок снова скрипнул досками.

— Правильно.

Никто не ответил. На нарах завозились сильней. Укладывались. Цигарки стали тухнуть. Опять тяжелое забытье. Захрапели. Забредили. В воздухе густое зловоние. Барановский вздохнул. Брезгливо дернулся.

— Какая гадость! Тьфу! — Ощупью прошел в передний угол. Зажег коптилку. Сел за стол. Конец нижних нар выпятился из мрака. Грязная груда людей. Пятна тусклого света. Метались беспокойно. Брюки из полосатого половика. Рваный английский френч. Грязное белье. Лысина полковника Мартынова.

Барановский вытащил из бокового кармана записную книжку. По выходе из лазарета он аккуратно вел дневник. Карандаш затупился. Ножа своего не было. Будить никого не хотелось. Барановский писал с усилием. Деревяшка задевала за бумагу. Иногда буквы обводил по два раза.

«Опустившаяся интеллигенция. Что может быть отвратительнее? Мне кажется, любая прежняя ночлежка гораздо чище нашего барака. Пол не метут, не моют. Всюду окурки, плевки, харкотина. Возмутительно. А сами? Многие дошли до того, что даже перестали умываться. Лень. Апатия. Безразличие. Все обросли волосами и ходят лохматые, грязные. Правда, белья нет. Мыла тоже, рабочих костюмов тоже. Приходится в одной смене одежды работать и отдыхать. Но, черт возьми, хоть бы на реке прополоскали белье! Ведь можно же посменно устроить это. Вши заели всех. Все ходят чешутся. И ничего. Какое-то отупение. Грязь. И не физическая только. Нравственная еще более ужасна. Полковник Мартынов пишет слезливые доносы на своих товарищей по несчастью. Приезжал заведующий лесным отделом и говорил, что со стороны прямо стыдно за него. Мартынов пишет ему, что он не может жить среди контрреволюционеров, что в бараке невыносимая атмосфера, что здесь процветают титулование и тому подобные ве-

щи. И это полковник. Гадость! Гадость!» — Поморщился. Задумался. В селе звонили.

«Жизнь отвратительна. Мелкие дрязги, ругань, постоянные стычки из-за каждого пустяка. Работа трудная, тяжелая. Изо дня в день пилка, колка. Сегодня пилка, завтра пилка и так без конца. Пища скверная. Хлеба мало. Видимо, с голода кто-то стал воровать у нас вещи. Многие подозревают ротмистра Наскокова. Говорят, будто его видели, как он тащил в село сапоги, за день до этого пропавшие у прапорщика Петухова».

В Медвежьем коммунисты-красноармейцы, разбуженные звоном, выскочили на улицу. Узнали все. Разъяснили. Нечего новое путать со старым. Звонить перестали. Но кричали. Шумели. До зари.

— Христос воскресе! Новая жизнь! Коммуния!

Барановский поправил коптилку.

«Я не знаю, как назвать всю гнусность, все то духовное убожество, которое мне приходится наблюдать в этой когда-то блестящей среде. Мартынов, Наскоков, Жондецкий. Какого ни возьмешь — уникум. Вот Жондецкий, лицеист, образованнейший человек, знает языки, тонко чувствует музыку. В искусстве вообще, пожалуй, понимает больше всех нас. И этот самый Жондецкий сладострастным шепотом, смакуя, рассказывает приятелям, как он в одной деревне за плитку шоколада соблазнил и растлил восьмилетнюю девочку. Родители хотели было затеять скандал, но он, конечно, спасая «честь мундира», обвинил их в большевизме и в течение нескольких часов добился согласия командира карательного отряда на их расстрел и сам командовал последним «парадом». А Наскоков... Э, чего говорить, тоже хорош! Я знал и раньше, что в офицерскую среду влипалась всякая дрянь, все недоучки. Я знал, что офицеры вообще грубы, необразованны. Но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Почему же это так? Ведь все же есть среди нас и образованные, и воспитанные, культурные люди? Культурные... А разве Наскоков, Жондецкий не культурные люди? Теперь они звери. Хуже». — Офицер задумался. Долго сидел неподвижно. Большие черные глаза остановились, блестели влагой.

«Война и революция показали, что наша прежняя культура — ложь, культура внешняя: человек только снаружи человек, внутри он зверь и при первом удобном случае показывает себя, бесстыдно оголяется. Рань-

ше я как-то этого не замечал, не видел, что наш старый мир весь сплошь насилие, обман, кровь. Но новый тоже уже в крови. От крови добра не будет. Боже мой, но где же и когда же человечество найдет свое счастье?»

Тайга, серо-зеленая в сумерках утра, плотной стеной прижалась к грязным окнам барака. Барак спал. Барановский потушил коптилку. Вышел наружу. Смолистый, освежающий аромат. Звенящий шепот игл. Тайга разговаривала тихо, серьезно. Ветерок шалил. Покачивал зеленые, ветвистые шапки. Тени и морщинки сбежали с лица. Глаза вспыхнули. Губы растянулись в довольную улыбку. Офицер сел на крыльцо. Задумался. Недавно получил с Волги от матери письмо. Старуха живет хорошо. Коля большой. Служит в Красной Армии. Помощник командира роты. Чужие они стали теперь. Холодные. Холодно на душе.

«Она живет хорошо. Коля красный командир. Служит. Никто за ним не следит, никто его не гонят на работу».— В груди едкая, острая боль.

«Но почему, почему это так случилось? Почему я не дома, а вот в этом бараке, и должен каждый день пилить дрова? Мама и Коля свои у красных, а я поднадзорный, пленный, чужой, враг. Почему? Почему?» — Вопросы давили камнем. В бараке кашляли, позевывали, харкали. Офицеры вставали. Наскоков кричал. Голос стальной и звонкий.

— Что за б..., господа? Чья очередь воду жарить? Почему до сего времени кипятка нет?

В дверь выходили заспанные. Всклокоченные волосы. Небритые. Английское обмундирование. Без погон. Грязное. Опорки на босую ногу. Рваные ботинки. Стоптанные сапоги. Останавливались у самого входа. Растопыривались. Мочились. Почесывались. Барановский встал. От барака отошел. Прапорщик Петухов и полковник Мартынов разжигали костер под котлом с водой. Язычки огня щелкали. Прыгали по веткам. Седой винт ввертывался в воздух. Качался от ветра. Петухов черный, худой. Длинный нос. Сосредоточенно ломал сухой валежник. Мартынов, плешивый, седоусый, дул в огонь. Щеки надувал. Сопел.

Жондецкий с Капустиным подошли к Барановскому. Капустин вытащил кисет.

— Покурим, потянем, всех родных помянем. Эх-ма! Так, что ли, Иван Николаевич?

Офицер вздохнул. Голова опустилась. На лице тень скуки и раздражения. Спички долго не разгорались. Штуки три сломалось. Капустин швырнул их в снег. Со злобой. Четвертая зашипела, медленно вспыхнула.

— Спички шведские, головки советские, пять минут вонь — потом огонь.

Капустин улыбнулся одними губами. В глазах у всех тоскливые искорки. У Жоидецкого на лбу две резкие складочки. Барановский молчал. Занялись папиросами. Сосали грязную газетную бумагу. Все внимание на этом. Сосредоточились.

Чай пили в бараке. Кружки из консервных банок. Хлеб черный.

— Черт знает что такое,— ворчал Жоидецкий,— живем в Сибири, а белого хлеба ни крошки. Товарищи комиссары, видно, решили заморить нас здесь на этом черном. Я никак не могу привыкнуть к нему.

Барановский взвешивал на руке свою порцию. Вспоминал.

— Во время отступления, я помню, какой-то солдат заплакал от радости, мы ему дали кусок вот такого же хлеба. Я никогда не забуду его взгляда, его почерневших, обмороженных пальцев, торчавших из худых валенок. Мы сидели в избе, закусывали. Он вошел, полузамерзший, качающийся от усталости и голода. Стал в дверях и так посмотрел на хлеб, в его взгляде было столько тоски и какого-то звериного отчаяния, что я сейчас же дал ему большой ломоть. Он взял и заплакал. Опустил кусок и тут же стоя, прислонясь к стене, заснул. Лицо у него было как у покойника, темно-желтое, с отмороженными щеками и носом. Но главное, что осталось у меня в памяти, так это его черные пальцы, вылезшие из валенок. Какой кошмар. Ах, все это нужно пережить!

— Пережить,— с горечью повторил Жоидецкий.— А разве сейчас мы живем? Разве это жизнь? Если еще так продлится хоть месяц, то я, кажется, сойду с ума. Ведь эти идиоты меня, интеллигента, никогда в жизни не бравшего топора в руки, заставляют работать, как дровосека-профессионала. Да ведь это же невыносимо, наконец! Я сам чувствую, как с каждым днем грубею, тупею, разучиваюсь говорить по-человечески. Спина ноет, руки ломит, ноги отяжелели, как бревна. Я не могу отдохнуть как следует за ночь.

С верхних нар свесились дырявые сапоги. Пола прож-

женной шинели. В котелок с кипятком полетели пыль, крошки. Жоидецкий вскочил. Вскипел.

— Послушайте, коллега, ведь это же безобразие, хамство! Что вы нам в чай сметаете всякую дрянь!

Сапоги не смутились.

— Сам хам!

— Я хам! Я хам?— Жондецкий задохнулся.— Извинись сию же минуту или я тебе рожу раскрою!

На верхних и нижних нарах молча пили. Ругающихся и не заметили. К ссорам привыкли. Петухов сопел в кружку. Капустин рядом. Разговаривали.

— Говорят, скоро нас фильтровать будут. В чека всех потащат. Кой-кого к стенке, пожалуй. В Красноярске, слышал, как нашего брата пощелкали? Что твоих рябчиков.

— Слышал,— буркнул Петухов.

— Вот тебе и «сдавайся, товарищи, ничего не будет!» Ничего, кроме стенки. Говорят, стреляют из-за всякого пустяка, по самому вздорному доносу.

Ротмистр Наскоков, назначенный старшим рабочим, объявил, что пора на работу.

— Господа, прошу кончать чай. Строиться. Строиться, господа!

Нехотя вставали. Из барака выходили толпясь. Около крыльца выстроились в две шеренги. Ротмистр сделал перекличку. Отметил невышедших.

Место рубки было в версте от барака. Шли не в ногу. Оборванные. В фуражках, папахах. Спотыкались. Головы опускали. Капустин по привычке напевал:

Вчера был поручик, ваше благородье,
А сегодня, видишь, дровокол Володя.

Прапорщик Петухов гудел. Нос ронял на грудь.

Испорчен наш мотор,
Испорчен наш мотор.

Капустин серьезно разъяснял:

Интриги все, мадам,
Интриги все, мадам.

Разношерстная толпа повеселела. Расправила плечи. Зашагала быстрее. Бодрее.

Испорчен наш мотор,
Испорчен наш мотор.

— Да, господа, это так. Доказательств ие требуется! — крикиул Жондецкий из задних рядов. Песнь оборвалась.

Работали в иетроиутой тайге. Пилить сразу иельзя. Надо утоптать снег вокруг дерева. А ои, мокрый, лезет за голеиища. Брюки мочит. Шинели.

Капустии с Барановским присели около листвеиницы. Оиа вековая. В два обхвата. Один посмотрел иа верхушку, шапку уроиил.

— Ну, давай, Иван Николаевич, резнем красавицу!

Рукавицы лосевые. Капустии плюиул в иих.

— Эхма. Жизиь собачья!

Пила зазвенела. Миого их звенело. Кряхтели деревья. Стоиали. Падали с криком. Прощались с живыми. Серые фигуры ползали. Резали без радости. Вяло. Работа подневольная. На врага. Не хотели оии этого. Заставили победители. Тяжело побеждеиным. Скрипели пилы. И зубы. Стисиутые.

ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ

Одного порыва оказалось мало. Старые взгляды иа труд, иа частную собствениость, иа семью вкореиились глубоко. Отрешиться от иих все и вполие медвежиицы ие смогли. Прошло похмелье свободы. Раиы от шомполов и иагаек иемиого подсохли. Благие пожелаиия забылись, в жизиь претворить их ие сумели. Собствеииические инстинкты подожгли избушку иа курьих иожках. Кляузы. Сплетни. Недоверие. Сказочный домик стал кривиться иа бок. Затрещал. Пришла бумага городского ревкома. Деиьги ие уничтожеиы. Последиий сокрушающий удар по коммуие. Случилось все просто и быстро. Как иачалось. Село — иа улицу. К дому Чериякова. Старика — к ответу. Как только седая кудрявая голова с белой бородой показалась иа крыльце, улица заревела. Волной иакатилась иа одного. Смять. Разорвать. Уничтожить. Крестьяиии миогое простит. Только ие убытки.

— Ты что же это, Федор Федорович, обмаиул нас, значит, для виду похерил иесколько своих сотеиных? А мы, дураки, все изорвали, все до копеечки. Ну ие ждали мы от тебя этого. Не думали, что ты иа старости лет такой позор иа свою голову примешь!

— Да вы што, в уме, что ли?— старик защищался.—

Да разве я чтоб, значит, против народа. Да провалиться мне на этом месте. Бес его знает, как это вышло. То ль я перепутал, то ль оратор наврал. Одно вам скажу, не в уме у меня было, не в разуме обманывать вас. От чистого сердца я их хотел, проклятых, уничтожить. А тут такой грех вышел.

Развел недоумевающе руками. Толпа не верит. Раз обманута.

— Рассказывай тоже — от чистого сердца. Своих-то небось припрятал. Поди, целу кубышку посолил да закопал!

— Да што вы, есть ли в вас совесть, чтобы, значит, так человека обидеть, хуже мошенника поставить?— а сам бледнел. Обидно. Толпа сверлила грудь. Сердце. Душу. Точно он заклятый враг. Разве он не тот самый, на которого вчера хотели молиться? Вот Иван Беломестнов. Рыжий, бородка клинышком. Глаза — два гвоздя. Кузьма Ильин. Бритый, беззубый. Усы обкусаны. Дрожит от злобы. Они впереди, дальше все такие же. В середине Денисовна. Волосы из-под платка вылезли. Руки подняла, лезет к крыльцу.

— Обманщик! Мошенник! Отдай мои полторы тысячи. Дура я, дура, поверила, что нова жизнь идет, коммуния, все в печке спалила. А они новенькие, как одна, все сторублевочки николаевские!

Толпа кипит.

— Обманщик! Мошенник! У меня пять тысяч пропало. У меня восемь тысяч. У меня четыре. Отдай! Отдай! — жадно раскрывались рты. Тянулись руки. Целый частокол. Корявые, мозолистые пальцы-крючки.

— Отдай! Отдай!

Ильин шамкает. Обернулся к толпе.

— Они вот сейчас у нас, дураков, и хлеб-то в общий амбар ссыпают, а потом скажут, что, мол, ново распоряжение вышло — не отдавать его обратно. Знаем мы их, коммунистов!

Никто не слушает. Пахом Потомов выкрикивает. Трясет лопатой-бородой.

— У меня лемех сломали, а кто чинить будет — неизвестно. Каждый говорит — коммуния, а никто не хочет!

Звонкий голос перебивает его. Денисовна свое:

— У меня буренка четыре крынки в день давала, да молоко-то что твои сливки, а теперь, как согнали скоти-

ну в обчий пригон, так до своей коровы и не доберешься. Пришла даве, хотела подоить, а Чернячиха, стара ведьма, прежде меня уже ее выдоила и говорит, что, мол, все равно, коровы обчие. Мошенство здесь одно, больше ничего. Чего там говорить? Не надо нам коммунии! Не хотим мы!

Чернякова рассердилась:

— Ты что на меня поклеп возводишь? Али я себе от твоей буренки молоко-то взяла? Однако, мы его в обчий бак ведь сливаем.

— Знаем мы вас, в обчий бак. Обман один вся эта коммуния!— Денисовна упряма.

— Обман. Обман. Обман! Не хотим коммунии!

— Надо разделиться! Все согласны!

Сопранков пытался заступиться за Чернякова.

— Да вы што это, товарищи, навалились на старика? Ну перепутал он маленько. С кем греха не бывает? А все-таки коммуной жить лучше, не в пример.

Свист. Улюлюканье. Рев.

— Долой! Мошенники! Обман! Не хотим коммунии! Делиться! Делиться!

Сопранков махнул рукой. Черняков молчал. Бледнел.

— Я сейчас беру свою буренку.

— И я, и я своих беру! И мы. И мы всех берем сейчас. Довольно. Долой коммунию! — Толпа злобно метнулась в одну сторону. Затолкались. Побежали к пригону. Разрушать стали с азартом. С воодушевлением. С не меньшим, чем начали. Избушка рухнула. Черняков и Сопранков стояли на крыльце. Оба ошеломлены. Оба молчали. Но ломали не все. Нашлись твердые. На развалинах остались. Несколько семей. От постройки не отказались. Взялись сначала. С первого кирпича. Над ними смеялись. Ненавидели их.

Село разделилось. Два враждебных лагеря.

В МЕРТВЕЦКОЙ

В бараке черная пустота. Затхлый воздух. Нары грязные. Мертвые бельма слепых окошек. Барановский натыкался в темноте на углы, опрокинул скамейку, едва не упал. У стола долго искал коптилку и спички. Маленький язычок огня затрясся над пузырьком с керосином. Свет слабый. Тьма отступила только на сажень. Отступив, сгустилась еще больше. Офицер старался не

смотреть дальше границы освещенного кусочка пола, нар. Уступил бессознательной потребности писать. Вытащил дневник.

«В голове нет мыслей, на языке нет слов, в душе тупая тоска, от которой не убежать, не спрятаться. Хожу по лесосеке и бараку точно слепой и всюду чувствую запах покойника. Ужасное, никогда ранее не испытанное чувство! Смотрю на пустые нары, и мне начинает казаться, что на них недавно рядами лежали трупы. Теперь их убрали, а воздух, пропитанный смрадом разложения, остался. Не барак, а мертвецкая. Временно она опустела. Но скоро прибудет новая партия мертвецов. Вонючие, вшивые, грязные тела завалят свободные полки. И опять начнется то же. Опять пилка. Боже мой, когда же конец этой каторге? Молов говорил, да я и сам знаю, бывшие белые офицеры служат в Красной Армии, в советских учреждениях, живут хорошо. Ну а я чем хуже их? Почему я должен работать на лесосеке? Хотя все равно, где ни работай, клеймо бывшего остается. Бывший. Какое это ужасное, прямо убийственное слово. Нас не расстреляли, но заклеймили на всю жизнь. Не расстреляли и выдали всего только одну маленькую-маленькую бумажку с фотографической карточкой, что, мол, предъявитель сего Иван Николаевич Барановский, бывший подпоручик армии Колчака, комиссию по регистрации и фильтрации бывших офицеров белых армий прошел, препятствий к его дальнейшей службе в советских учреждениях не имеется. И без предъявления такого удостоверения нас нигде не берут на службу, оно должно сохраниться у каждого на всю жизнь, каждый из нас на особом учете в чека. Бывший. Куда ни придешь, обязательно спросят: «А вы не бывший белый?»— английский костюм выдает нас с первого взгляда. Эти постоянные вопросы, постоянные напоминания жгут огнем. У нас, бывших, нет настоящего, нет будущего. У нас только прошлое. Мы бывшие. На настоящее и будущее мы не имеем права, мы лишены его. Гражданская смерть для нас наступила со дня сдачи в плен. Но почему меня никто не называет просто Барановским. Иваном Николаевичем, рабочим с лесосеки? Нет вот, обязательно бывшим. Какая тоска! И за что? Обидно. Ведь никто теперь не поверит, что у белых я был случайным человеком, был чужой у них.

А теперь я вдвойне чужой, чужой и тем и другим.

Они ушли в тайгу. Борьба продолжается. Но я не верю в победу белых, не верю в силу и правду красных. Вся эта борьба мне представляется каким-то кровавым хаосом. Люди в безумном ослеплении истребляют друг друга. Вот были ротмистр Наскоков, поручик Жондецкий хозяевами положения: пороли, вешали, стреляли. Пришли другие, и в городе на лучшем доме появилась вывеска — уездная чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности. Во всю ее ширину лозунг: «Смерть врагам революции». Не один Наскоков и Жондецкий попали под эту вывеску и погибли. Сначала убивали одни, теперь другие.

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови.

Что толку, что в крови? Хорошо, утопят в крови своих врагов, но и сами захлебнутся в ней, в зверей превратятся. Пожар в крови — это чепуха. Надо в сознании. А разве люди придут к сознанию через трупы и кровь? Никогда. Не согласен. Да, сдавался я красным, думал, найду в них людей, хотел честно работать, а теперь вижу, что самое честное, самое лучше дело — это быть нейтральным. Пусть двуногие звери перегрызают друг другу глотки, человек должен остаться в стороне. Как я рад, что не послал в чека свое заявление о готовившемся побеге моих сожителей по бараку. Я чист, руки мои не запачканы ни в чьей крови.

Фронт и плен убили во мне многое, я стал маложизненным, во мне угасли огни, но чувствовать я умею глубоко и тонко, и мне кажется, что красота жизни...» — офицер остановил карандаш, поморщился, махнул рукой.

«Нет, довольно философии. Надоело писать и рассуждать самому с собой. Слышу, в Медвежьем у красноармейцев поверка, поют «Интернационал», а мне чудятся в нем похоронные ноты. В этом мотиве есть что-то положительно погребальное. Но у нас-то, у нас так мертвечиной несет. Что это такое со мной, прямо не пойму? Представляется, что в мертвецкой я, а не в бараке».

Доски крыльца заскрипели.

«Ну, кажется, «последние остатки крушения» идут спать. Кончаю».— Барановский положил дневник в боко-

вой карман. Вошли Капустин, Бутова, Петухов, Мартынов. Капустин загремел своим ящиком.

— Ну, господа, извлекаю последний свой резерв, единственную и последнюю четверть самогона. Первый сорт, куплена у лучшего в селе мастера, знатока своего дела.

Бутова зажгла огарок. Все уселись на нары в кружок, ноги калачиком. Петухов достал кусок свиного сала. Мартынов подал стаканы и каравай черного хлеба. Четверть с мутноватой жидкостью поставили в середину, около свечки.

— Иван Ннколаевич, может быть, и вы с нами резнете?— на лице Капустина ласковая улыбка. В глазах забитое, больное. Смеется, а тоска ест.

Барановский встал.

— Если позволите, напьюсь вдребезги!

Бутова засмеялась.

— Пожалуйста, Иван Николаевич.

Барановский сел рядом с Капустиным. Штабс-капитан хлопнул Барановского по плечу.

— Он у нас паря теплый... Ха-ха-ха.

— Ха-ха-ха!— смеялись. Смех колотился, как в пустой бочке. Слишком громко. Перестали. Тишина еще хуже. Оглянулнсь в немую темноту со страхом. Глаза у каждого большие. Думали все. Крикнул один кто-то:

— Наливайте скорее! Наливайте!

Капустнн заторопнлся. Рукн дрожали. Полные стаканы у всех.

— Выпьем за...

Уже пнли. Не важно за что. Пили, чтобы пить, чтобы залить в себе все. Мысли, чувство — все.

За перегородкой две женщины лежали с открытыми глазами. Не то вздыхали, не то стонали, не то плакали.

— Налнвайте! Наливайте! — Бутова выпила однн за другим два стакана. Концы губ у нее кнсло опущены. Глаза презрительно сощурены. Резала сало.

— Вот она, революцня. Вот онн, хваленые свободы, равенство, братство. Равенство. Равны и свободны только хамы, убийцы, только они живут хорошо. Да вот еще такие прохвосты, как Петров и Бодэ.

Мартынов погрозил пальцем:

— Тс, тс, мадам! Держите язычок за зубами, это не прохвосты, это не подлость, это всего только новые формы борьбы с большевизмом!

Не понять, серьезен полковннк нлн смеется. Бутова прожевала грубый бутерброд.

— Чепуха! Какая там борьба, идея! Шкурннчество. Амалня говорит мне, что я буду дурой, еслн не вступлю в партию коммунистов нлн не опутаю какого-ннбудь комнссара. Она живет отлично н думает, что так жить сможет каждый из нас, стоит только захотеть. А я не хочу. Не хочу! Мне все равно теперь.

— Наливайте! Налнвайте!— у Барановского в глазах огненные точки и крючкн. Голова — свинцовый шар.

У Капустина все лнцо в шерстн. Глаз нет. У Мартынова одна только розовая плешь. Петухов — навозный жук, черно-бурый. Руки — волосатые лапы. Как хватают стаканы... Брр... Бутова — толстая квашня. Грудь — две подушки. Трепыхаются. Губы — красиые ошметкн. Слюнявые, вывериулись, оттянулнсь. Лицо обрюзгшее, кожа дряблая. Под глазами коричиевые и сниие бороздочки. Целая сетка. Нос напудрен. Четверть — горлом в потолок. Самогонка не убывает. В кружках муть. В мозгу тоже. Все мутно. Зеленые тени. Бутова одна мутно-серая. Платье такое у нее. Раньше было сиреневое. И покойннком, покойинком несет ужасно. От себя или от нnх? Не знал Барановский. На крыше нлн под черепом шум. Точно дождь идет. Огарок это так стал вспыхивать, всю комнату освещает, или гроза в тайге?

Вот неразбериха. Стакан однн разбнли. Здорово зазвенел.

ПОД КОЛЕСАМИ

Лошадн бежалн крупной рысью. Пегая прнстяжка временамн переходила на галоп. Бубенцы гремели. Ходок трясся на выбоинах. Плетушка поскрипывала. Кучер — серая шинель, зеленая фуражка. На рукаве и на околыше по красной звезде. На козлах не сидел. Стоял, нахлестывал вожжамн чалого кореннпка. Свистел, улюлюкал. Шнрокое скуластое лицо с жндкнми, светлыми волоснкамн под носом краснело от напряжения. Седок — безусый молодой рабочнй. От станка недавно. Рукн черны н грубы. Кожаная куртка. Браунинг с ременным шнуром в корнчневой кобуре. Стоптанные сапоги. Фуражка немного смятая, чуть на затылок. Он следователь уездной чрезвычайной комнссни. Торопнлся в Медвежье.

Темнело заметно. На небе невнятно, глухо говорили тяжелые орудия. Тайга, злая и почерневшая, игольчатыми лапами отмахивалась от ветра. Ветер свистел насмешливо, трепал, путал зеленые волосы рассерженной красавицы. Дорога круто сломалась. Полукругом опустилась вниз. Чалый прижал уши, вытянулся, полетел вскачь. Пегая растягивалась рядом. Бубенцы взвизгивали. Красноармеец накрутил вожжи на жилистые кулаки. Сам — всем телом назад. Почти лег. Внизу Медвежье. Левее его, в стороне Черемшановки, красное зарево. Ветер тряс громадную огненную простыню. Из нее летели черные галки и пыль столбами дыма. Косматые чугунно-серые кони вздыбились в вышине, сгрудились, остановились над самой дорогой. Мокрая пена и крупные капли холодного пота с них — кучеру и седоку прямо в лицо. Облачная батарея дала залп. Земля вздрогнула. Целая очередь светящихся снарядов, раскатисто громыхнув, рухнула в тайгу. На мгновенье стало светлее, чем днем. Следователь схватился руками за глаза. А облачные кони уже над Медвежьим. Косматые гривы. Из глаз — огненные стрелы. Под копытами — пожары. Облака следом — седыми опаленными лохмотьями.

В ревком приехали мокрые. Но за дело следователь взялся немедленно. Вызвал Чернякова, Сопранкова, он начальник волостной милиции, и члена революционного комитета Молова. За столом в круге большой керосиновой лампы стали советоваться. Следователь рылся в изящном портфеле из черной кожи.

— Я думаю, товарищи, что разгром зернохранилища и поджог церкви дело одних рук. Несомненно, бывшие белогвардейцы прямо или косвенно замешаны здесь.

Никто не возражал. Молов только добавил:

— Конечно, и Макаров порядочно виноват в погроме.

Следователь кивнул головой.

— О нем речь особо. Теперь же, на мой взгляд, нам необходимо немедленно арестовать всех бывших офицеров, работающих на лесосеке. Изолируем их, пресечем возможность всякой деятельности и агитации с их стороны, а там разберемся. Кроме того, я думаю арестовать и всех бывших, работающих у Петрова в конторе.

— Позвольте мне сказать, товарищ следователь.

— Пожалуйста, товарищ Черняков.

Старик смотрел чекисту в глаза.

— Мне товарищ Петров очень нравится. Я ему верю.

Работы его, правильно, пока не видно, и крестьяне обнжаются на его, но зато они потом будут благодарны, когда у него все планты сготовятся. Я думаю, вам, товарищ, прежде чем у него работнков арестовывать, поговорить с ним, порасспросить его. Он обо всем и обо всех скажет начистоту, кто, значит, чем нз ннх дышнт. Помоему, однако, он и про лесосечных вам сможет порассказать.

Следователь сделал распоряженне о вызове Петрова.

— Хорошо, с петровскимн служащимн подождем, а на лесосеку наряд милнцин и красноармейцев послать надо немедленно.

Сопранков встал.

— Я сейчас пошлю мнлицнонеров. Товарищ Молов, а вы дайте записку к дежурному по полку, чтобы от вас красиоармейцев нарядить.

Молов вырвал листок из записиой киижки. Следователь перелистывал дело.

— Вот у нас тут есть поп Мефодий Автократов. У нас известно, что он протопоп одного нз городов Урала, академик, бежеиец, служил у Колчака полковым священником, вероятно, зловредная гаднна,— чекист поднял открытое суровое лицо на Чернякова.

— Оно, конечно, верно, иезунт он подхалимный, тонкий, только пока не след его трогать.

Следователь недоумевает.

— Почему же ие трогать?

— А потому, что силу он большую в селе забрал, верят ему, тут еще икона чудотворная запуталась. Сейчас его только пальцем тронь, все село подымется. Не годнтся эдак-то крестьян тревожить. Онн н так не в себе. Тут иадо поаккуратнее оборудовать. Вы пока доверьте его нам, мы наблюдаем за ннм, а случай чего — за полы н к вам в подвал.

Следователь согласился.

— Если вы, как председатель ревкома, берете его на свою ответственiость, я согласен.

Вошел Петров. На свет сощурнл узенькне глаза. Закланялся.

— Здравствуйте, товарищн. Кто меня вызвал? Вы, товарищ Черняков?

— Нет, вот следователь из чекн прнехал,— старнк кривым, корявым пальцем показал на чекиста.

Чекист подал Петрову стул.

— Садитесь, товарищ.

Петров пытливо разглядывал следователя: «Подозревает? Узнал что-нибудь?» Сел.

— Дело вот какое. Я хотел арестовать ваших чертежников и конторщиков, бывших белых офицеров, но товарищ Черняков посоветовал мне предварительно переговорить с вами по этому поводу.

Петров бросил на Чернякова быстрый благодарный взгляд.

— Правильно. У товарища Чернякова голова снаружи только серебряная, а внутри золотая. Золотая, золотая, сущее золото.

— Так вы думаете, что они ничего? А?

Петров сидел совсем рядом со следователем. Взял его за пуговицу.

— Я своих служащих насквозь вижу. Плохого за ними пока не замечал. Есть, правда, у меня один подозрительный субъект, но я за ним слежу в оба. Думаю, что если его арестовать, то арестовать с делом и на деле, а так какой же толк? Кроме того, арест, в особенности чертежников, повлечет за собой полную приостановку дела помощи пострадавшим. А вы ведь знаете, что нужда кругом вопиющая. Люди живут в землянках, в бараках. Нет уж, если кого арестовывать, так это лесосечных. Среди них есть очень злостные контрреволюционеры. Против Советской власти так и жужжат крестьянам, так и жужжат. По-моему, изолировать их и обезвредить нужно немедленно, а то они черт знает что натворят.

Черняков многозначительно смотрел на следователя. Старик радовался, что его слова оправдались. Петров говорил начистоту. Молов крутил усы. Подозревал. Не верил совершенно в его искренность. Но чекисту мешать не хотел. С советами не лез. Решил самостоятельно установить за ним слежку.

— Вот, например, Чарушников, Свенцитский, Зеленцов... Кто там еще?— Петров задумался. Морщился, тер лоб.

Чекист быстро записывал все на большом листе.

— А мы распорядились всех арестовать.

Петров улыбнулся.

— Ну и отлично. Это еще лучше. Возьмите всех, а там — разберетесь.

За окнами гроза. Дождь.

Семеро красноармейцев и трое милиционеров шли по

тайге. Тропинка узкая, раскисшая. Ноги вязли, скользили. Ничего не видно. Черная мокрота. Хлюпает грязь под бродами. Винтовки за плечами, дулами вниз. В окнах барака слабый свет. Увидели издали. Пошли веселей. Окружили без звука. Мокрые пальцы прилипли к холодным винтовкам. Старший прильнул всем лицом к окну. На нарах догорал огарок. Четверть почти пуста. Пьяны все. Капустин обнял Бутову. Покрасневшая плешь бестолково тыкалась в грудь женщине. Платье у нее полурасстегнуто. Видны нижняя рубашка и лиф, черные от грязи. На шее такое же темное кольцо. Офицер бормотал нараспев:

На свете все пустое!
Богатство и чины...

Бутова плакала и соглашалась.

— О-оох, правда! — хлип... — Правда, правда! — хлип... Хлип.

Было б вино простое...

Хлип. Хлип. Грудь трясется киселем.

— Ох, Александра Павловна! Ох тяжело, жизнь наша собачья! Дайте я вас поцелую.— Тянулся к голой груди. Усы и борода мокрые в слюнях и самогонке. Колет, щекочет, мочит женщину.

— Мма, мма, милая вы моя! Мма... О-ооох, тяжело.

У обоих слезы. Рукой жмет талию. Силы уж нет. Напился. Мартынов зажал голову между колен. Покачивался. Выл.

— У-у-у-у..

Думал, что поет. Петухов лежал молча. Взгляд тяжелый. Барановский икал.

— Ик, ик, ик,— дергался всем телом.

Дверь взвизгнула, выскочила в темноту. Вместо нее— черная дыра. Шум дождя сразу сильнее. Обернулся только Барановский. Подумал, что ветер распахнул. Огненная стрела разбилась о тайгу. Золотые осколки брызнули на поляну, осветили. У красноармейцев вспыхнули кончики штыков. Красные цветы мелькнули на головах. Быстро кучей вошли в барак. Грохнул запоздалый удар грома. Стекла в окнах вскрикнули. Теперь обернулись уже все. Вместо двери снова дыра. Около порога чужие, суровые. Головы опущены. Колются остроконечные богатырки. Красные клинья звезд. Вместо рук у каждого

черный стальной палец. Длинные, острые, с угрозой тянутся к сидящим на нарах.

— Руки вверх!

Мартынов вскочил, попытался исполнить приказание. На ногах не удержался, упал. На полу кувыркнулся неуклюжий, грузный. Тоска защемила сердце. Опять завыл.

— У-у-у-у.

Остальные не могли двинуться. Капустин утирал слезы, сморкался. Они все текли. Бутова хотела застегнуться. Руки не могли найти кнопок. Бессилие придавило. Оно от самогонки и от железа. Вот они, эти ужасные острые пальцы. Так и колют. Душу нижут насквозь. Больно. Бутова зарыдала.

— А-а-а, не виноваты мы! А-а-а, не надо нас! А-а!

Она думала, что пришли убить их. Петухов не шевелился. Барановский все икал. Ему безразлично. Он готов ко всему.

Старший удивлен. Не тем, что они пьяны.

— Что так мало вас? Где другие? Где конвой?

Петухову весело. Злой смешок.

— Хи-хи-хи,— руками закрывал широкий рот.— Они в тайгу гулять пошли, а конвой с собой пригласили. Хи-хи-хи.

Старший обозлился. Черные усы ощетинились.

— Говори толком, гад! Сбежали они? Красноармейцев уконтромили?

— Хи-хи-хи.

— Обыскать их, гадов.

Каждого схватили двое. Толкали. Карманы вывертывали. Щупали. Бутова легла на спину.

— Это насилие над женщиной. Я не позволю! А-а-а.

Над ней сам старший, черноусый. Брови густые срослись. Расплюснутый нос.

— На кой черт ты мне сдалась, падла! На тебя глядеть тошно, не то што насильничать. Тьфу! Эка, нализалась!

Сухие, корявые пальцы шарились под кофточкой. Они ничего не чувствовали. Они бесстрастны. Работа давно покрыла деревянной корой. Из-за перегородки вышли остальные двое.

— Обыскать!

Завизжали. Не давались. Схватили за руки.

— Сучье отродье! Нишкни! Пришибу! — старший стучит по полу прикладом.

Огарок догорел. Чиркали спички. Желтые лица заглядывали под нары. Лазали по верху помоста. Один, маленький, толстый, понюхал четверть. Схватил за горлышко.

— Гожа штука-то.

— Я те дам гожа!

— А чаво?

— Чаво, толстопятый черт, на деле ты, на службе али где?

Дзинь. У старшего винтовка дернулась в руках. От четверти ничего не осталось.

— Ну собирай вещи, выходи. Язви вас в брюхо, гадов!

Оцепили плотным кольцом. Темень. И дорога узка. Штыки цеплялись. Неудобно. Над тайгой — черный ледоход. Темные глыбы льда терлись, сшибались, трещали. Сыпались искры. Падали огненные стрелы. Лед плавился в воду. Вода лилась сверху непрерывно. Глаза залепило мраком. Тревожно, с опаской жались к телу винтовки. У Барановского в мешке кружка дребезжала о котелок. Шли тихо. Арестованные еще не протрезвились. У Петухова голова легче всех. И ноги. Прапорщик решил, что двух смертей не бывает. Бросил конвонру под ноги свой мешок. Красноармеец споткнулся, упал. Кольцо разомкнулось. Офицер выхватил у упавшего винтовку. Прыгнул в тьму.

— Держи!

Черно. Где его держать? Куда стрелять? Трах! Тр-рах! Один прежде. Двое враз. Петухов еще пьян. Остановился, ответил.

Трах! — случайно старшему в лоб. Старший — узлом в грязь. Бутова взвизгнула, схватила за руку красноармейца. Она не бежать. Просто испугалась. Красноармеец понял иначе.

— Разбегаются! Бей их! — конвоиры взбешены.

— Бей! Коли!

Бутовой сразу два штыка. Один сбоку распорол обе груди. Другой под поясницу. Взвизгнула еще раз. Потеряла сознание. Двум другим женщинам в затылок. Только кости хрястнули. Разорвались прически. Барановского закрыл котелок. Сталь скользнула по меди, оцара-

пала лопатку. Но все ж упал. Мартынов поймал черное жало, ловко сдернул его с дула.

— А... гад!

— Трах!

Седые усы обожгло. Пуля искрошила зубы, разодрала язык и шейные позвонки. Фуражка и плешь у Капустина вдавились в мозги. Приклады ведь окованы железом. Тяжелые. Барановский на земле. Вскочить, бежать. Жить хочется. Сила в мускулах исполинская. Сейчас всех размечет. Ночью так удобно. Не поймают. Надо только быстро. Раз!

— Живой один. Бей! Держи! Они все живые. Бей!

Блестящие полосы рельсов сверкнули в глазах. Тяжелые колеса локомотива наехали на голову и живот. Красным жаром дохнуло раскаленное поддувало. Барановский не понял, что ему прикладом разбили лоб, в живот воткнули штык, прострелили грудь. Красноармейцы тыкали сталь в горячие трупы. Плющили прикладами черепа. Они колются легко. Похрустывают только. Совсем спелые арбузы.

— Бей! Живые. Притворяются. Бей!

Может быть, и другим перед смертью показалось, что на них налетел огнеглазый локомотив, перемолол, изрезал. Может быть, он и наехал, и они лежали под колесами, изуродованные. Над тайгой черный ледоход все гремел. Лед двигался широким потолком. Вода лилась. Тьма мешала разглядеть. И гнев. Красноармейцы не видели, что рядом с белыми их старший. Они ему грудь искололи.

В ревкоме лампа горела всю ночь. Около нее Черняков ждал возвращения наряда с лесосеки. Следователь производил в селе обыски. К утру выяснилось все. Без винтовок вернулись двое красноармейцев, отпущенные белыми. Третьего, коммуниста, белые повесили на сосне, у самого тракта. Вернулся и наряд с лесосеки. Мокрый, в крови. Милиционер представил следователю все бумаги, отобранные у убитых еще при обыске, в бараке. Из Черемшановки сообщили, что строившаяся лесопилка кем-то была подожжена и сгорела. Молов приказал конной разведке полка немедленно отправиться в погоню.

Чекист наугад раскрыл дневник Барановского.

«Я сдавался в плен красным с тем, чтобы честно работать у них. Мне оставили жизнь, и я должен за это быть благодарным. Ведь меня могли уничтожить как

врага, взятого с оружием в руках. Но мои сотоварищи по бараку думают, видимо, иначе. Они опять затевают что-то скверное. Опять борьба. Когда же конец? Как опротивело мне все это. А людям, видно, нравится рвать друг другу глотки, мараться в крови и мясе. Я написал заявление в чека. Имен и фамилий я не указывал, но порекомендовал посмотреть за ними».

Следователь заинтересовался, повернул несколько листов.

«Три дня тому назад я написал заявление в чека, но отослать его не решился до сих пор. Оно лежит в боковом кармане, и мне кажется, что все смотрят на меня, как на предателя, все точно знают, что я и на самом деле собираюсь выдать их. Эта небольшая бумажка тянет пудовой тяжестью. Да, я решил честно работать у красных, я сдавался в плен без иезуитской оговорки в душе, что, мол, буду работать, пока не представится возможность напакостить. Честно работать — значит предупредить и о подлости, которую хотят устроить тем, кому ты считаешь себя обязанным многим, даже жизнью. Но разве донос честная вещь? Разве доносчик когда-нибудь пользовался симпатией даже того, кто принимал у него донос? Нет. Иуда. С другой стороны, если мои «товарищи» выкинут какой-нибудь фортель, то подозрение может пасть и на меня. А я не хочу ни в чем принимать участия. Нет, нет. Вот они убегут, а мне или немногим из нас придется отвечать. Разве станут разбираться, хотели мы этого или нет. Отослать, поставить точку над i. Не знаю. Все-таки это донос. Ничего не знаю. Как быть? Ах, я теряю голову».

Чекист вскочил со стула.

— Черт возьми, кажется, своего расхлопали. Досадно.

Молов спросил.

— В чем дело?

— Да вот почитайте.

Из дневника выпал желтый пакет. Адрес затерся, края залохматились, разорвались. Молов с трудом разобрал. «В уездную чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией». Пакет написан, видимо, был давно, и его долго таскали в кармане.

У крыльца ревкома были родственники арестованных, требовали допустить их к следователю. Два милиционера стояли в дверях с винтовками.

— Нельзя. Сказано, нельзя — и нельзя,— лица у милиционеров равнодушные, спокойные.

Следователь арестовал Теребилова, Ильина, Поспелова, Грошева, Денисовну, Коробова, солдатку Степаниду. Жена Ильина, совсем старуха, плакала. На ней черный платочек и коричневая кофта.

— Батюшки, допустите к старику! Ни за что он, сердешный, страдает.

Другие почти все в слезах. Одно взволнованное, просящее лицо. Одна грудь.

— Ох! Пустите! Допустите!

Милиционеры сделаны из дерева. Невозмутимы.

— Нельзя.

Следователь складывал бумаги в портфелик. Молов читал дневник Барановского, качал головой. Черняков зевал. Чалый с пегой стояли у крыльца запряженные. Бубенцы вяло позвякивали. Лошади махали хвостами, качали мордами. Мух сгоняли. На улицах от ночного ливня лужи. Две бабы шли по площади. Юбки подобрали высоко. Сапоги у них грубые, мужицкие. Обе разинули рты. Заглядывали в окна ревкома. Родственники не расходились. Ждали толпой. Голосила и причитала теща Грошева:

— Соколик ты мой ясный! Соколик!

Плакала Фрося, дочь Денисовны. За что арестовали мать, она не знала.

ЧУДО

Отрывки из III части романа «Два мира»

БОЛЬШЕ НЕ ПОЗВОЛЮ

Пахом стоял на крыльце, когда учительницы пришли обедать. Мужик посторонился, дал дорогу. И со вздохом себе в бороду:

— Че же с вами поделаешь, кормить приходится, видно, вас.

Учительницы прошли молча. Молча сели за стол. Потапиха подала большую деревянную чашку щей.

— Ох, как и жить нам, крестьянам? Прямо невмого-

ту стало. С крестьянина теперь все дерут. Городу дай, попу дай, сапожнику, кузнецу дай. Теперь еще учителкам давай. А нам кто даст? Где нам-то брать?

Учительницы не отвечали. Ложки дрожали в руках.

— Небось никто не догадается принести каку ни на есть тряпку. На, мол, тебе, Потапиха. Куда там! — баба махнула рукой.

Булатова побледнела, уронила ложку.

— Да поймите вы, что я готова все вам отдать, только бы не переносить этого унижения. Но у меня ничего нет. Поняли вы — ничего. Все променяла.

Потапиха подперла подбородок.

— Охо-хо.

Учительницы нервно, напряженно дрожали. Агния Ивановна готова была расплакаться.

— Опять же, содержать учителок нонче какой расчет? Учат, учат, а чему, неизвестно. Только ребят портят. Что главное — закон божий — так того нету. А насчет коммунии этой мы вовсе не желаем.

Поставила на стол жареную баранину с картофелем. Учительницы встали. Булатова первая.

— Вы что же это?— на мгновенье растерянно удивилась.— Видно, спесивы больно. Не ндравится стряпанье наше.— Потапиха насмешливо поклонилась, развела руками.— Ну што же поделаешь, мы не благородного воспитания, коклеты стряпать не умеем. Да для таких хвостотрепок и не будем.

Учительницы красели, бледнели. Шли к дверям.

— Ишь гордячки, хоть бы тебе спасибо сказали. Фыркнули и из избы вон. Слова им не скажи.

— Спасибо, спасибо,— крикнули с порога. В голосе Тихомировой слезы. Вышли.

Вошла Дуня.

— Это что, учительницы-то?

— Што? Известно што, гордячки! Обед наш не пондравился!

Дуня смотрела на мать недоверчиво.

— Што шары-то скосила? Врать я тебе буду?

— Ольга Ивановна не такой человек.

Потапиха опять разводит руками.

— Уж, конешно, конешно, как они могут гордиться— коммунисты такие.

— Да коммунистка не позволит себе этого.

— Замолчи, стерва!— мать разозлилась.

Дуня сверкнула глазами.

— Не замолчу! Коль неправду говоришь, не замолчу! Не позволю коммунистов ругать!

В сенях тяжелые шаги. Отец с Автократовым. Пахом вошел и набросился.

— Ты што это, потаскушка, опять о своей коммунии заговорила? А?

— Ну а што? Если я правду говорю,— девушка смотрит вызывающе. Голову подняла. Пахом не владеет собой.

— Ага, ты так, отцу перечить. Я вот тебе сейчас покажу, кака в вашей коммунии есть правда!— огромные кулаки мужика судорожно сжались. Лицо исказилось. Тяжело шагнул к дочери. Дуня схватила со стола большой нож.

— Только тронь! — вся фигура — отчаяние и задор. Замахнулась.— Будет уж! Попили вы моей кровушки! Не позволю больше!

Пахом из багрового стал черным. Застонал. Рухнул на скамью. Потапиха взвизгнула, заголосила:

— Добры люди, посмотрите. До чего мы дожили. Дочь родная на отца — с ножом! Ой! Ой! Ой! Зачем я тебя, змею подколодную, родила? На груди своей, гадюку, выкормила, пригрела. Ой! Ой! Ой! Добры люди, что же это будет? Ой! Ой! Ой!

Баба закрыла лицо руками. По пальцам у нее слезы. Села рядом с Пахомом. Пахом хрипит:

— На отца родного с ножом.

Неожиданное сопротивление обескуражило мужика. Поступок дочери для него — преступление. Отец Мефодий — среди избы. Руки сложены. Головой качает укоризненно.

— Дунюшка, Дунюшка, что вы делаете? Разве можно так родителей обижать? Родители вам добра желают, а вы вдруг. Ай-ай-ай, какая черная неблагодарность.

— Добра, тоже сказали. У меня места живого нет. Он меня всю изломал. Медведь!

Пахом вздыхает.

— Ох! Это отец-то медведь? Ну что же, режь, дочка. Режь за то, что я тебя ростил, кормил.

— Замолчите вы со своим хлебом. Только и тычут каждый день. Поил, кормил. Што же вы меня теперь за это со свету сжить хотите? За хлеб-то свой мне каждый день ребра ломаете.

Потапиха визжит:

— Замолчи, сволочь!

Дуня твердо:

— Не замолчу, будет! Не все вам говорить, пришла пора и нам.— Нож бросила на стол. Отошла к дверям.— А вы, батюшка, не в свое дело не лезьте. Лицемерие-то свое для дураков поберегите, а мы очень хорошо видим, куда вы гнете. Вот што.

Автократов разозлился. Сдержался. Притворился спокойным.

— Видит бог, от души я вам добра желаю, как отец духовный говорю: чтите отца и матерь...

— Довольно! Слышали!— Дуня оборвала гневно. Быстро вышла из избы.

— Да што же это будет? Што будет? Дочь родная, дочь на отца пошла! Господи, за что же наказываешь меня так! Господи!

Пахом сдерживал рыданья. Голова у него тряслась. Он любил дочь.

— Выгнать ее, болячку, змею подколодную, из дому. Вот и все. Чтобы и духу ее, паскуды, не было здесь. Пускай идет в свою коммунию, да и живет там...— так решила мать. Но ей страшно. Сомнения рвут душу. Спрашивает Мефодия:

— Батюшка, что же это такое? Што же это, выходит, кончина мира? Как в писании сказано, так, видно, и есть, что, мол, коли встанет брат на брата, отец на сына и дочь на отца, то и конец всему, всей жизни нашей — глаза у женщины мокрые, жалкие. В них боль и вопрос. Пахом стонет. Мефодий вздохнул.

— На все его святая воля.

ХА-ХА-ХА

Дуня шла по селу. Во всем теле у нее трепетная, радостная сила. Сегодня она первый раз дала решительный отпор отцу.

— Больше издеваться над собой не позволю. Уйду из дома.

Думала, решила. А шаги быстрые, легкие. Не заметила, как очутилась у околицы. Остановилась.

— Куда это я?

Чистая рядом. Лента серебряная. Вода — хрусталь. Дуня пошла к реке. Разделась и с разбега в сверкаю-

щую, холодную. Подняла целые столбы брызг. Плескалась. Хватала руками маленькие радуги. Смеялась. Мысленно рассуждала: «Вот и жить бы так весело, без злобы. Сергей Васильевич говорит, что так когда-нибудь будут жить. Ах, хорошо он про жизнь рассказывает. Заслушаешься. Хоть бы годик пожить этак,— взглянула на свою грудь с синими пятнами. Следы отцовских сапог.— Это у них называется любить свою дочь. Родителям уваженье. За што? Уйду от окаянных. Беспременно уйду»,— одеваясь, почувствовала на себе пристальный взгляд. Из черемушника подглядывал Петр Быстров. Дуня заметила и засмеялась.

— Петька, идол, поди сюда!

Петр вышел из кустов. Улыбался смущенно. Дуня чувствовала себя необыкновенно хорошо. В душе ослепительно светло. Сегодня она остро и ярко почувствовала всю прелесть личной независимости. Она сразу выросла.

— Чего ты, дуроплясина, прячешься. Любишь? Ну!

Полуобнаженная, руки голые до плеч. Встала с земли. Схватила Петра за шею. Поцеловала в губы крепко, до боли. У Быстрова захватило дыханье. Он с силой обнял ее. Зашептал, заикаясь:

— Пой-дем в ку-сты. Ду-ню-шка, пой-дем в черемушник.

Дуня взяла за плечи, откинулась назад. Изогнулась. Ответила, смеясь бойкими черными глазами. Передразнила:

— Пой-дем.

И опять впилась в губы долгим поцелуем. От берега пошли обнявшись.

Потом в кустах долго лежали молча на мягкой постели из прошлогодних листьев и травы. С ветки на ветку перепархивала какая-то птичка. Разглядывала обоих черным маленьким глазком. Воздух горячей неподвижной массой давил землю. Тихо и душно. Одинокий комар тянул:

— Дзю-ю-ю. Дзю-ю-ю.

Петр освободил голову из рук Дуни, повернулся на спину, широко вздохнул. Зелень на черемухе лучистая. Свод неба синий, яркий.

— Белы голуби крылаты
Любят солнечный восход,

А медвежински ребята
Любят девичий уход.

Дуня поднялась на локте, серьезно посмотрела Петру в глаза.

— Ты мне это не пой, Петька, слышишь!

Петр удивился.

— А што?

— Да то, што слышала я много эдаких песен-то. Все вы такие. Спервоначалу все поете. Белы голуби, тоже подумаешь. А потом и зачнет жену бить, сапожищами топтать. Знаю я вас.

Петр возражает с обидой:

— Я не из таковских.

Дуня передразнила:

— «Не из таковских»! И я не из таковских! Не больно еще позволю. Да. А об этом ты забудь, об уходе-то. Я для тебя нянькой не буду. Понял? Так ты и знай, что коли вздумаешь характер свой показывать, надо мной измываться — не позволю и нянчиться с твоей дуростью не буду.

Петру лень возражать. Вяло бросил:

— Да ты што, я и не думал ничего,— зажмурился, опять стал смотреть вверх.

Дуня встала, оправила юбку.

— Вот что, дела откладывать нечего. Больше я домой не пойду. Нонче ночую у Прасковьи, а завтра пойдем в Ревком залегистрируемся и я перейду к тебе, к вам то есть в коммуну, и будем мы жить по-настоящему как муж и жена. Понял?

Петр усмехнулся.

— Гм! Что я чурбан с глазами, что ли?

— Пусть тятенька с маменькой хоть сбесятся от злости. Я решилась.

Дуня задумалась. Петр смеялся и мурлыкал:

Ой, теща моя, взглянь-ка на икону,
Твою доченьку берут по новому закону.

Дуня рассмеялась вслед за Петром.

— Ха-ха-ха! А Мефодий-то, знаешь, эта гадина долговолосая, лицемер проклятый, наверно, придет к отцу и хныкать будет, что народ ныне бога не признает. Как же можно, вдруг не повенчавшись в церкви, ему, долгогривому, не заплативши, без его разрешения взяли да

и женились. Убытки! Ха-ха-ха!— Дуня вдруг перестала смеяться, вздохнула.

— Мне Ольга Ивановна говорила, что попы сами ни в бога, ни в черта не верят, только народ обманывают из своей выгоды. Ох и ненавижу же я их, долгополых. Бывало, отец меня хулит, а он, дьявол, приговаривает, что, мол, так и надо, уважать родителей надо. Это за побои-то уважать.

Дуня вдруг рванулась всем телом, сжала кулаки. Глаза загорелись неожиданной мыслью. Вся — один порыв. Почти крикнула:

— Знаешь что, Петька?

Быстров заинтересовался.

— Што?

Смех мешал ответить. Дуне весело необыкновенно. Руками схватилась за грудь. Вся трясется.

— Ха-ха-ха! Давай, давай... Ха-ха-ха!— торопилась сказать Петру мысль, страстное желание.— Давай... ха-ха-ха! им пустим... ха-ха-ха! в церковь, в церковь... ха-ха-ха! красного, красного петуха. Ха-ха-ха! — от смеха на глазах слезы. Устала. Грудь даже больно. Петр удивился.

— Это зачем?

— Вот дурак, «зачем?» Спалим всю эту поповскую лавочку, и негде им, окаянным, будет народ обманывать, баранов двуногих стричь.

Нерешительность Петра разжигала, подбадривала Дуню.

— Эх ты, мямля!— сухая ветка громко треснула в руке, сломалась. Обломки отшвырнула далеко в сторону.— Весь мир насилья мы разрушим. Слышишь? До основанья. Помнишь? А как до дела, то и замялся.

Огромная сила первого подъема Дуни захватила и Петра. Он почти был согласен с ней. Его немного только смущал вопрос.

— А вдруг узнают?— Петр встал. Все же решительную минуту оттягивал.— Ну, а как мы сделаем, Дуняша?

— Как?— на лице Дуни усмешка.— Ты партизан?

— Партизан.

— Чего же ты у бабы спрашиваешь, как дом поджигать? Али в тайге вас этому не учили?

Петр был побежден окончательно.

— Оно, конешио, Дуняша, это все можно — только надо получше, чтобы н духу ее ие осталось.

Дуня обрадовалась.

— Вот-вот, правнльно, Петруха. Насилу понял. Дай я тебя поцелую за это,— не выпуская нз объятнй, спросила:— У тебя сиаряд есть?

— Какой снаряд?

— Ну, какой снаряд. Я не знаю, как иазывается. Ну бонба, што ли, которыми вы мосты рушили?

— Есть одна. Наша только, самодельиая. Хотя шиур хорошнй, иастоящий бнкфордов.

— Давай ее иа колокольие заложнм, соломы под крышу натолкаем и запалнм, чтобы, значнт, сразу уничтожнть.

Петр согласнлся.

— Ладно.

Дуня немного не вернт ему.

— Смотри без обмаиу штоб, а коли обманешь, струсишь, не попадайся тогда на глаза лучше.

— Партнзаиы не трусят,— в ответе гордость.

— Ну ндн домой, прнготовь, што нужио. Вечером я зайду за тобой, и все дело обтяпаем.

Петр пошел к селу. Дуия опять разделась — и в воду. Купалась и смеялась. Смеялась и думала, какой будет в селе переполох.

— Красного петуха! Ха-ха-ха! В церковь. Вот потеха. Ха-ха-ха! Красного! Ха-ха-ха!— мысли — язычки огия. И бойкие, и жгучие, сердитые и веселые.— Красиого петуха. Ха-ха-ха!

Вода. Фонтаны брызг. Огнениые радуги. Сверкающнй хрусталь реки. Дно камеиистое, чистое. И Чистая бежит, светлая от радостн. Целуется с солнцем. Искрится улыбками.

— Ха-ха-ха!

БОГОРОДИЦА, ДЕВА, РАДУЙСЯ

Воздух, горячий и иеподвижный, заколебался. Над селом — ровные, гудящие волны. Церковный сторож бил часы. Дериул за веревку двеиадцать раз, зевиул, перекрестился, почесал бороду и пошел спать. Дверь, ведущая на колокольию, скрнпнула, приоткрылась. Две темиые фнгуры вышлн иа паперть, огляиулись на удаляв-

шегося звонаря, скрылись в темноте. В селе сонно тявкнула собачонка. Замычала корова.

В темноте улица с высокими домами была похожа на длинную узкую лощину с цепью холмов по бокам. Медвежье спало.

Из широких прорезов колокольни, клубясь, потянулись серые столбы дыма, покачиваясь, поплыли вверх. Десяток галок с испуганным криком вылетели из-под крыши. За ними метнулись, хлопая крыльями, голуби. Стая птиц закружилась над селом, тревожа сонную тишину.

На колокольне и под крышей церкви огонь. Сухие балки и стропила потрескивали. Дым стал выкатываться наружу огромными крутящимися клубами. Пополз изо всех щелей и окон. Шнур догорел. Самодельный фугас взорвался. Огненный молот ухнул по селу, поднял всех на ноги. Колокольня затрещала, покосилась. Большой колокол оборвался, полетел вниз, ломая легкие деревянные лесенки. Широкая медная глотка крикнула с отчаянием. Последний раз. Предсмертный крик. Старый лжец судорожно захрипел и затих. Языки огня вылезли наружу, лизали крышу. Все село бросилось к церкви. Прискакала пожарная команда. Полуразрушенная колокольня — горящий факел, воткнутый в середину темной площади. На границе тьмы и огня — испуганное стоглазое лицо. Все в пятнах, полосах прыгающего, дрожащего света. Само дергающееся, мятущееся. Толпа. Никто никого не спрашивал, отчего и как загорелось. Были уверены, что подожгли коммунисты. Злоба, давно кипевшая, давила массу. Кричали открыто:

— Христопродавцы! Богоотступники!

Мефодий говорил Пахому Потапову и Ивану Беломестнову:

— Взявший меч от меча и погибнет. На бога руку подняли, но не его, всемогущего, а себя поразят они.

Коммунистическая ячейка была вся налицо. Черняков с Сопранковым старательно работали насосом. На них смотрели косо, враждебно.

— Глаза отводят. Сами подожгли, да сами и тушат.

Ветер стал класть дым на пожарную машину. Работающие задыхались в едкой гари. Но качали. Поспелов бегал мрачный, голос у него охрип. Подбадривал пожарных, кричал, ругался, проклинал поджигателей.

— Кощунство! Святотатство! Не простит бог им!

В геенну огненную их всех, варнаков, все жиганье это проклятое!

В толпе возражали.

— Чего там в геенну, в огонь их швырнуть, и дело с концом. Проучить надо разбойников. Спусти им раз, они полсела выжгут.

В церкви все рвалось, лопалось, трещало. В окна был виден иконостас, залитый слоем желтого пылающего золота. Издали можно было подумать, что там свадьба или торжественная служба с зажженными паникадилами. Коммунисты молча качали воду. Быстров встал рядом с Черняковым. Дергая за рукоятку, низко опускал голову, прятал смех. Гнев колыхал толпу. Но штыки красноармейцев холодны и бесстрастны. Блестят. Полк в полной боевой готовности. Медвежинцы уже знали силу железа. Еще раз попасть в неумолимые тиски не хотели. Беспомощные, беспокойно метались на площади. Машина работала скверно. Брандспойт был мал. Струя воды слабла. Пожар усиливался. Толпа волновалась.

— Сгорит церковь, где молиться будем? Бог нас за грехи, видно, наказывает.

Мефодий совершенно спокоен. Руки — крестом на груди. В глазах — затаенная мысль. Пахом Потапов и Иван Беломестнов забрались на крышу. Зеленое железо рвали баграми, сбрасывали. Потапов без шапки. Лысый, седая борода, глаза — два черных пятна. Серьезен, сосредоточен. Святой со старинной иконы. Беломестнов рыжий, бородка клинышком, юркий. По крыше — как по земле. От огня и дыма увертывается, швыряет лист за листом. У толпы внимательный, беспокойный, стоглазый взгляд. Следит за обоими. Работа шла бестолково. Все суетились, бегали. Все командовали, распоряжались.

— Качай, качай! Воды! Вали под крышу! На крышу, на крышу поливай. Не лезь все сразу. Легше! Жарь вовсю! Не слушай!

Насос защелкал. Качать перестали. Вода вышла вся. Пустые бочки гремели по селу. Напряженная тревога сковала лицо толпы. Церковь горела.

— А-а-а-х!— толпа вскрикнула, качнулась, на секунду замерла, бросилась вперед, со стоном отпрянула назад, обожженная жаром. Потолок с треском, шипением и ревом рухнул. В воздухе длинный багор Беломестнова. Широко раскинутые руки Потапова. Только мелькнули,

— Пахом! Ай-ай! — Потапиха завизжала, заколотилась на земле. Мефодий невозмутимо спокоен, перекрестился и негромко сказал:

— Господи, прими в царство твое небесное рабов твоих, Пахома и Ивана.

Сотни рук потянулись к шапкам. Мощный, стоустый шепот.

— Царство небесное, — толпа перекрестилась.

Черные занавески закрыли окна. Вся церковь — широкая труба. Дым облаками. Огонь стихал. Подвезли воду. Насос опять заработал. На площади потемнело. Но рассвет уже смотрел серыми бесцветными глазами. Факел почти потух. Дымил больше, чем горел. Мефодий торопливо пробирался через толпу. Ему нужно домой. А дом тут же, в ограде, уцелел.

Пожар кончился утром. От церкви остались закопченные стены с пустыми дырами окон. Мертвец. Мертвые, провалившиеся глаза. Усталое, задымленное, сумрачное лицо толпы молчало. На нем — безмолвный приговор. Мефодий опять здесь. Бледный, без шляпы. Белокурые волосы. Чистая, белая парусиновая ряса. Широко и уверенно шагая, вышел из толпы. На паперть. Левой рукой поддерживает, прижимает к груди крест. Скрылся в церкви.

— Куда это он? Неровен час, ногу сломает. В дыму задохнется.

Никто не ответил. Стояли и ждали. Что будет? Не так он пошел туда.

Мефодий с трудом пробрался внутрь по груде дымящихся обломков и мусора. От дыма отплевывался, закрывал глаза. Скрылся. Вытащил из-под рясы икону божьей матери. Ту самую — в золоте с камнями. Дома от учета прятал. Теперь выгоднее было извлечь ее из-под спуда. Ведь об этом никто не знал. Сгоревшую копию считали подлинником.

— Не имам иные помощи, не имам иные надежды, разве тебе, владычица.

Мефодий задыхается, но поет. Толпа еще ничего не знает. У нее только смутное предчувствие близости важного и необычайного. Затаила дыхание. Ждет. Медленно вышел Мефодий. Весь в саже. Глаза огромные. В них свет неподдельного возбуждения. В руках, высоко над головой, икона. Огни золота и драгоценных камней.

— Ты нам помози, на тебя надеемся и тобою хвалим-

ся, твои бо есть мы раби. Да не постыдимся,— священник тихо спускался с паперти. Смотрел выше толпы. Он знал, сейчас она станет его рабой. Он победитель. В толпе уже шепот.

— Чудо. Чудо. Икона чудотворная. Неопалимая.

Мефодий остановился у самой ограды, опустился иа колени. Икоиа все над головой. И крикнул исступленно:

— Радуйтесь, православные!

Крик звонкий, короткий. Хищная радость. Не человека. Хищной птицы. Вся площадь — на колени. Головы обнажены. И в них и в сердцах светло. Светлы, радостны, восторжеииы лица. Чудо. Чудо. В нем спасение. Оно и иеобъяснимое, но и понятное. Когда оно есть, то легко на душе, спокойно. На него можно надеяться. Оно спасет от всех бед. В нем виден он, всемогущий, вездесущий хозяин. Его, его нашли в нем. А с хозяином жить легче. Из века в век жили с ним, верили в него, молились ему. Привыкли. В плоть и кровь вошло. Иначе и нельзя. Разве можио без хозяиина? Страшно, страшно одним. Кто иаучит? Кто поддержит? Кто направит? Кто накажет? Рабы. Дети рабов. К цепям привыкли. Любят, чтобы звенели железные путы, мешали движенью. Без них беззвучный, широкий шаг пугает. Без них тишина. В тишине пустота. Не чувствуется его, господина. Тяжело рабам. Детям рабов. Но теперь оии счастливы. С восторгом тянут вслед за священником:

Богородица, дева, радуйся.

Вот и слова такие привычные, знакомые. Все ясно, понятно, просто. Ни страха, ни сомнения. Вера твердая, непоколебимая загорелась в душе толпы.

Богородица, дева, радуйся.

Михеевна на коленях поползла к иконе. Мефодий встал.

— Не допущу!— он грозен, иеумолим. Он уже не прежний, кроткий, с лицом Христа.

— Покайтесь сначала! Помолитесь! Тела и крови Христова вкусите!

В толпе горестный вздох.

— Не достойны. Не достойны.

Дуия побежала к Булатовой, схватила ее за руку, отвела в сториону, заплакала.

— Что вы, Дуня, что вы?— Булатова не понимает, не знает.

— Ольга Ивановна, ох, милая, простите меня, ох, ведь это я, это мы, это я с Петром церковь-то спалили.

Брови у учительницы приподнялись. Она удивилась. Но быстро овладела собой. Заговорила ласково, с ласковым укором.

— Дунюшка, зачем это вы? Что вы наделали. Видите, к чему это привело.

Дуня всхлипнула.

— Ой, не могу! Ох!

Мефодий пошел. Икона над головой. Вся толпа встала, толкаясь, бросилась за ним. Коммунисты растерялись. Топтались на месте. Дуня шла под руку с Булатовой. Плакала. Мефодий красив. Радость победы преобразила лицо. Легко, быстро, твердо шел он по селу. За ним — послушное громадное стадо.

Богородица, дева, радуйся.

Из домов выбегали старики и старухи, падали на колени, крестились, клали земные поклоны.

— Чудо! Чудо великое! Радуйтесь, православные!

Богородица, дева, радуйся.

Церковь еще дымилась.

РОМАН «ДВА МИРА» В. Я. ЗАЗУБРИНА

Владимир Яковлевич Зазубрин (1895—1938) живет в нашей памяти как автор романа «Два мира», как крупнейший организатор литературных сил Сибири, как активный участник литературного процесса 20—30-х годов, наконец, как соратник великого Горького в последние дни его жизни.

В ноябре 1921 года в Иркутске походная типография Политуправления 5-й Армии напечатала роман Владимира Зазубрина «Два мира». Роман сразу вызвал огромный интерес читателей — рабочих и крестьян, красноармейцев, командиров и политработников все еще сражавшейся в Сибири Красной Армии, многочисленных сибирских партизан.

Теперь можно сказать, что в этом не было ничего удивительного, так как роман касался самых животрепещущих событий и проблем времени: как решительно восставший против колчаковщины народ Сибири завоевывал власть Советов, почему он победил в борьбе с хорошо вооруженным Колчаком, которому усиленно помогали интервенты многих стран, в чем «секрет» успеха большевистской партии в ходе гражданской войны в России...

В 1922 году в основном положительные отклики на роман появились в периодической печати Иркутска, Новониколаевска, Москвы (в частности, в газете «Правда»).

Через несколько месяцев после выхода романа, то есть в том же 1922 году, А. В. Луначарский писал автору:

«Лично я считаю роман чрезвычайно удавшимся. Какие можно сделать замечания критического характера? Может быть, роман перегружен ужасами, но с другой стороны, как не перегрузить его, когда он отражает столь полные ужаса события... Мы, конечно, имеем полное право говорить всю правду. Вы это и делаете. Для душ сильных, революционных или склоняющихся к революции роман будет крепким призывом... В художественном отношении есть блестящие главы и страницы» [1].

[1] См. Литературное наследство Сибири. Т. 2. Новосибирск, 1972. С. 355.

Давая высокую оценку роману, А. В. Луначарский сообщил также, что он посоветовал В. И. Ленину прочитать «Два мира», «как очень любопытную эпопею». Владимир Ильич прочитал и, по словам Луначарского, так о нем отозвался: «Конечно, это не роман, но хорошая книга, нужная книга и страшная книга»[1].

Вероятно, в это же время заметил книгу и А. М. Горький, который позднее (в 1928 году) подтвердит отзыв В. И. Ленина и подчеркнет, что «социальная полезность книги этой значительна и совершенно неоспорима», что «написал ее человек весьма даровитый» и что она «заслуживает широкого распространения в крестьянской массе»[2].

Таким образом, вслед за горячей заинтересованностью многочисленных читателей, роман заметили и прочли три выдающихся деятеля Советской России.

Владимир Зазубрин в двадцать пять лет отлично начал свою литературную биографию произведением, о котором теперь справедливо говорят как о первом советском романе, сыгравшем заметную роль в развитии русской послереволюционной литературы. Его книга «надолго останется в истории советской литературы, как одно из первых реалистических произведений, пролагавших пути монументальному эпосу социалистического реализма»[3].

Эта причастность к «монументальному эпосу», порожденному революцией, и вызвала, вероятней всего, замечание В. И. Ленина — «конечно, не роман». Оно смутило даже автора. Второе, исправленное издание 1924 года «Двух миров» он назвал уже очерками, а в последующих вообще отказался от жанрового определения. Между тем, если попристальней вглядеться, в произведении налицо едва ли не все признаки романа. В нем есть четкий сюжет, связанный с судьбой определенных действующих лиц, например, партизанского вожака Жаркова и комиссара Молова, офицеров колчаковской армии Барановского и Мотовилова. Не во всех случаях характеры героев выписаны однолинейно, есть движение, есть процесс, как в случае с Барановским и Колпаковым, прослеживается история личности на фоне грандиозных исторических событий, личности во всех отношениях типической, являющейся результатом живых наблюдений автора. Вместе с тем В. И. Ленин был прав: «Два мира» — произведение, не похожее на обычный в рус-

[1] См. предисловие без подписи в кн. В. Зазубрина «Два мира». Четвертое издание. Новосибирск, 1928.

[2] См. кн. В. Зазубрина «Два мира». Пятое издание. Ленинград, 1929. Здесь впервые опубликовано «Предисловие» А. М. Горького.

[3] В. Щербина. Ленин и вопросы литературы. М., 1961. С. 370—371.

ской литературе роман, как не похожи на привычные повести «Падение Даира» А. Малышкина, «Перегной» Л. Сейфуллиной или «Партизанские повести» Вс. Иванова. И объясняется это, по-видимому, тем, что народ, поднявшийся на борьбу против власти буржуазии и помещиков, стал главным героем этих произведений. Новые задачи, вставшие перед писателями, характер и особенности центрального героя произведения определяли его жанровые и всякие другие свойства. Не отдельную судьбу человека стремились проследить авторы, а непременно запечатлеть ход революции, поступь истории.

Передвижение войск или отрядов, бои со всеми их перипетиями, митинги с подробным изложением речей, реплик, выкриков, сцены народного горя, прокатившегося по сибирским селам и деревням, массовые избиения колчаковцами ни в чем не повинных людей — все это происходит в романе В. Зазубрина из главы в главу, составляет его основное содержание. Создается впечатление, что в произведении, собственно, нет сюжета в обычном понимании, что это целый поток на первый взгляд разрозненных картин столкновения двух прямо противоположных социальных сил.

Так в «Двух мирах» довольно четко обозначились две жанровые тенденции. И подлинный талант автора обнаружился в том, что он почувствовал: не в отказе от романной формы ждет его успех, а в трудном сочетании новых требований с традиционными и испытанными достижениями русского романа, образцом которого был, конечно, роман Л. Толстого «Война и мир». Достичь гармоничного сочетания этих двух тенденций В. Зазубрин не сумел особенно в такой мере, в какой впоследствии это удалось осуществить, например, А. Толстому и М. Шолохову, но совершенно очевидно, что он первым прокладывал пути именно в этом направлении. Роман-эпопея в его теперь классическом виде рождался в советской литературе не вдруг и не сразу.

Что было самым характерным для лучших произведений первых лет Советской власти, изображавших гражданскую войну? Прежде всего воспроизведение народной массы как решающей силы в ходе революции, стремление запечатлеть коренной перелом в ее сознании, показать трудный процесс ее идейно-политического роста. Отсюда пристальное внимание к изображению народа, его чувств, мыслей, поступков во всей их непосредственности, отсюда тяготение к монументальным формам эпоса, к изображению целого и всеобщего, а не только частного и индивидуального, отсюда поиски таких жанров и таких средств выразительности, которые соответствовали бы грандиозности воспроизводимых событий и новизне, значительности идей.

В «Двух мирах» народ представлен в резко контрастных его качествах. Одни сражаются с красильниковцами деловито, умно и расчетливо. «Бойцы лежали сосредоточенно, спокойно. Глубокие складки залегли у каждого между бровей, и глаза, потемнев, резко чернели на напряженных, чуть побледневших лицах...» По приказу командира они подпустили белых близко, и — «неподвижная, твердая, как камень, темная линия красных ударила снова из сотен ружей». А вот целая дивизия рабочих-добровольцев, сражающихся с красным знаменем на стороне... Колчака. В чем дело? Что случилось? Объяснение ясное, смелое и по тому времени, так как указывало на реальное противоречие в сознании некоторой части общества, хлебнувшей власти, не успев до нее дорасти: «рабочие восстали против красных потому, что некоторые комиссары принялись насаждать социализм с револьвером и нагайкой в руках, а плоды земные распределяли так, что было заметно, как пухли от них комиссарские карманы... А тут еще эсеры подлили масла в огонь со своей агитацией за Учредилку». Объяснения такого рода дает белый офицер, разумеется, с издевкой, но оно, к сожалению, не лишено оснований. Действия названных комиссаров живо напомнили методы Брусенкова из романа «Соленая Падь» С. Залыгина, а трагическая судьба рабочей дивизии в армии Колчака вдруг заставляет задуматься о судьбе Григория Мелехова, который тоже ведь опасно заколебался не без влияния любителей насаждать социализм с револьвером в руках.

В романе изображены сибирские крестьяне, которые неистово негодуют и требуют уничтожения всех колчаковцев, нет у них ни колебаний, ни сомнений, есть одно — решимость отчаяния:

«— Бела власть! Грабеж! Убийство! Хуже старого режима! Где жить будем? Как жить? Уничтожить! Уничтожить гадов!..»

Это — исступление, взрыв ненависти, потому что дочку изнасиловали, жену прикололи, всю деревню перепороли, и с ними все согласны, даже честный поп Воскресенский взялся за оружие на стороне крестьян. Есть мужики, которые рассуждают спокойно и здраво, они знают, за что воюют. А рядом люди, потерявшие от страха человеческий облик. Живьем закапывают крестьяне раненного карателями односельчанина да еще уговаривают: «Пострадай за мир, Петра!» Сцена эта, конечно, относится к блестящим страницам романа. Переломный момент в настроении «серой, безглазой» толпы крестьян передан В. Зазубриным с редкой выразительностью и психологически точной наполненностью. И не поверить в происшедшее просто невозможно.

Но как бы ни были разнолики рабочие и крестьяне Сибири в изображении В. Зазубрина — во всех случаях он был далек от

идеализации народа — определяющее в них — осознанная необходимость сопротивления и колчаковцам и интервентам, борьбы за власть Советов.

Очевидец и участник развернувшихся в Сибири событий, В. Зазубрин первым в литературе рассказал о создании крестьянами Сибири в тылу у Колчака Таежной Социалистической Федеративной Советской республики. Исторический факт этот трудно переоценить. Он живое свидетельство созидательного участия огромных крестьянских масс в борьбе с колчаковщиной и их ориентации на Советы. Он лучше других каких-либо фактов свидетельствует об истинной роли большевиков в ходе гражданской войны, которые выступают в романе В. Зазубрина как неутомимые и самоотверженные организаторы крестьянского движения, поставившие своей основной задачей «влить в определенные формы разрастающиеся восстания против золотопогонных убийц и мародеров». Эти слова принадлежат большевику Суровцеву, бывшему политкаторжанину, вскоре ставшему признанным авторитетом среди партизан. Он призывает крестьян к организованности, настаивает на создании полков и дивизионов с твердой воинской дисциплиной, на немедленной подготовке оружия в специальных мастерских, на организации баз с продовольствием. Под влиянием Суровцева создается специальный «агитационный отдел», чтобы вести среди крестьян, в том числе и в тылу у противника, политическую работу. Суровцев появляется в самые сложные и ответственные моменты существования Таежной республики, и у читателя возникает совершенно определенное представление о месте и значении этого человека в ее борьбе, в ее судьбе.

Но наиболее полно представлен в романе Григорий Жарков, председатель армейского Совета Таежной республики. Он избран В. Зазубриным в требованиях господствовавшей тогда эстетики: революционер, тем более руководитель, не может ни на что другое, кроме революции, отвлекаться. Жарков — крестьянин с большим талантом полководца. Это в нем главное. Отсюда подчеркнутое бесстрашие, хладнокровие, четкость решений и команд, единственная портретная деталь: «энергичный изогнутый подбородок». Первый бой (в первой главе) он в сущности выигрывает, хотя и вынужден был отступить. Во втором случае он сразу схватывает слабину в настроении чехов, румын, итальянцев, окруживших с трех сторон село Пчелино: «Ну, на ишаках да в шляпах в бой заехали — много не навоюют... Вот что, Крейц,— Жарков повернулся к командиру конного дивизиона,— заехай-ка ты им в тыл да пугни как следует, посчитай шляпы у этой ишачьей команды». Это уже не митинговая речь, не команда на поле боя, а живой голос народного вожака с крестьянской сметливостью, с юмором, с внутренним мо-

ральным превосходством над врагом. В третьем, самом напряженном и драматичном бою (глава «Пили, пили») Жарков раскрывается во всем блеске его полководческого искусства.

Народ из своей среды выдвинул в ходе гражданской войны талантливых организаторов, талантливых полководцев. Чапаев, Мамонтов, Кожух — реальные прототипы Жаркова; Селезнева и Вершинина у Вс. Иванова.

В. Зазубрину посчастливилось первым рассказать о них с тем доступным тогда проникновением, какого они, безусловно, заслуживали. Писатели нащупывали самую суть характера нового человека, рожденного революцией и идущего в жизнь из толщи народных масс. Как показали дальнейшие события, это было принципиально важное завоевание молодых писателей и всей молодой тогда советской литературы.

В. Зазубрин стремится к объемному изображению событий эпохи, как должно быть в настоящем романе. Партизанскому движению в Сибири противостоит лагерь защитников буржуазно-помещичьего строя жизни. Кто они, эти люди «старого мира», что они с собою несут, какие идеи, какие моральные ценности? Гражданская война, по представлению В. Зазубрина, война социально-экономических систем, война идей, поэтому ужасы колчаковщины, продажность буржуазной интеллигенции, разложение армии Колчака явления не случайные. Все в конечном счете обусловлено характером русской буржуазии, бессильной захватить власть, и потому непомерно злобной в своем бессилии.

Полковник Орлов в романе В. Зазубрина утратил человеческий облик. Пьяница, циник, каратель-палач, он ослеплен ненавистью к восставшим крестьянам, к красным и жестокость его не знает границ.

Потрясающе опустошена и развращена офицерская молодежь, вчерашние юнкера. В лучшем случае они слепо верили в проповедуемые православие и самодержавие, но в большинстве своем не задумывались над такими «высокими материями».

Широко представлены в романе русские офицеры, так сказать последней послереволюционной формации — Мотовилов, Барановский, Колпаков, Капустин, Иванов, Брызгалов, Петин и другие. В тот момент эта среда была хорошо знакома В. Зазубрину, так как он сам учился в Иркутском юнкерском училище, окончил его в августе 1919 года и вместе со всеми был направлен в действующую колчаковскую армию. История жизни Мотовилова и Барановского не плод фантазии автора. В. Зазубрин отлично знал этих людей.

Не все из них выписаны как индивидуальные характеры, но почти все даны со своим более или менее сложившимся мировоз-

зрением, не укладывающимся в какой-то одии-едииствениый стандарт.

Подпоручик Иваиов — социалнст-революцноиер, он за свободную отчизиу с Учредительным собраннем, что не мешает ему жить и воевать вместе с откровеиными монархистами, утверждающнми, что «русскому ироду иагайку, а ие свободу иужио». Колпаков — либерал, но протнв коммуиизма. Ему бы только «воздвигнуть царство свободы, закоииостн н порядка», а что за этими красивымн словами кроется — отчета не отдает.

Мотовилов — наиболее разработаиный образ в романе. Он из потомствеиных офнцеров, здоровый, снльный молодой человек, не озверевшнй Орлов-каратель, не Жестнков, с удовольствием демонстрирующнй «таиец повешенного», Мотовилов — армейский офицер, старающийся «честно» воевать за велнкую едииую Россию во главе с моиархом, за свои отиятые иаследствеиные права. Он серьезиый противник большевизма, красиых, иарода: «Жаидармов побольше, да царя-батюшку».

Сначала кажется, что Мотовилов проходит через весь роман неизменным. На самом деле В. Зазубрин последовательно и тонко раскрывает неизбежный процесс разложения и этой, самой «здоровой», части колчаковской армии.

В главе «Мы обломки старого» дан по-своему точный психологический анализ состояния Мотовилова в самый канун его самоубийства.

Как и Мотовилов, Барановский — один из главных героев-интеллигентов рисуется подчас средствами публицистическими, разъяснительными, но многое в нем подлинное, живое, верно схваченное писателем. Барановский — типическая фигура офицера, начавшего постепенно прозревать под могучим воздействием революции и результатов гражданской войны.

В. Зазубрин подробно прослеживает, как через недоумения и сомнения созревают в душе Барановского новые настроения и мысли, как он ищет правду и, найдя, не находит в себе силы сделать свой решающий шаг.

Для В. Зазубрина открытие Барановского — существенный этап в осознании им своего реального положения в белой армии, подготовивший «бунт» Барановского в главе «Проспится — опять будет подпоручик Барановский». Здесь запечатлено начало перелома в душе офицера.

«Чем дольше Барановский служил в белой армии,— рассказывается в ней,— тем больше убеждался, что белые просто-напросто хотят залить кровью, закидать трупами ту громадную трещину, которая появилась на жирном чреве золотого истукана — идола старого, подлого мира лжи, насилий и угнетения...»

В. Зазубрин отлично понимал: не так-то просто Барановским самим решить свою судьбу, потому-то на их сомнениях и мучениях он и сосредоточивается как художник.

Зазубрин счастливо «угадал» самую природу Барановских. Она в российской действительности, десятилетиями вколачивавшей покорность «обстоятельствам» у людей всех сословий. Била она в основном по мужику, но ударяла, как видим, и по сынкам генералов. Длительная полоса безразличия, равнодушия и покорности, пережитая Барановским, не прошла для него даром. Уже взятый в плен, больной, лежа в лазарете на одной койке с красным комиссаром Моловым и споря с ним, он снова будет мучиться всякими сомнениями. На этот раз он будет сомневаться в праве красных определять ценность человеческой личности с классовых позиций. Барановский за немедленное прекращение кровопролития, борьбы. Молов за продолжение борьбы до тех пор, пока не будут «уничтожены» буржуазия и помещики вместе с их пособниками.

Последние страницы романа — это пламенная защита идей большевизма, выраженная Моловым, за спиной которого, безусловно, стоит сам автор с его чувствами и мыслями, с его горячим темпераментом. Не случайно у Молова в романе нет своего лица, он типичный рупор идей автора.

Таким образом, мы видим, что судьба русской буржуазной интеллигенции очень волновала В. Зазубрина. В романе «Два мира» наряду с крестьянством она, собственно, занимала первостепенное место. И это закономерно, так как слишком много у нас в России говорилось о роли интеллигенции, о ее месте в ходе исторических событий. В. Зазубрин убедительно показал, что буржуазная интеллигенция духовно, нравственно вырождается, что на смену ей идет новая — учитель-самоучка Суровцев, питерский рабочий Молов и те, кто «выламывается» из рядов пособников буржуазии под влиянием революции, как поп Воскресенский или сын генерала Барановский.

Роман В. Зазубрина «Два мира» написан по свежим следам событий — уже в этом его исключительная ценность. Роман В. Зазубрина демонстративно документален, намеренно агитационен и открыто лиричен — и это увеличивает его значение как по-своему неповторимого документа эпохи, в котором все важно — и достоверность фактов, и форма их подачи, и характер художественно-публицистических обобщений, и сама личность художника, так неожиданно и полно здесь отразившаяся!

Н. Н. ЯНОВСКИЙ.

СОДЕРЖАНИЕ

Два мира. *Роман* 7
Приложения 282
Послесловие. Роман «Два мира» В. Я. Зазубрина. *Н. Н. Яновский* 328

Зазубрин
Владимир Яковлевич

ДВА МИРА

Ответственный редактор *О. И. Мухина*
Оформление *Е. Ф. Зайцева*
Иллюстрации *И. Д. Шурица*
Художественный редактор *В. П. Минко*
Технический редактор *Л. А. Польщикова*
Корректоры *О. М. Кухно, М. Е. Фрицлер*

ИБ № 2239

Сдано в набор 26.06.87. Подписано в печать 13.01.88. Формат 84×108 1/32. Бум. кн.-журн. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64+0,21 вкл. Усл. кр.-отт. 18,48. Уч.-изд. л. 18,42+0,22 вкл. Тираж 150 000 экз. Заказ № 5937. Цена 1 р. 80 к.

Новосибирское книжное издательство, 630132, Новосибирск, Красноярская, 112. Типография изд-ва «Омская правда», 644056, Омск, проспект К. Маркса, 39.



